

**ДЕВОЧКА НА ШАРЕ,  
или  
Письма из детства**

сборник женской прозы

Москва  
Союз российских писателей  
2022

ББК 82 (2 Рос=Рус) 6-4  
Д25

*Издано при финансовой поддержке  
Министерства цифрового развития, связи  
и массовых коммуникаций Российской Федерации*

Д25 Девочка на шаре, или Письма из детства : сборник женской прозы / сост. Надежда Ажгихина. — Москва : Союз российских писателей, 2022. — 400 с.

ISBN 978-5-901511-59-6

Пережитое в детстве остается с нами навсегда.

Рассказы, представленные в сборнике «Девочка на шаре, или письма из детства», принадлежат писательницам несхожей личной и творческой судьбы, разных стилистических предпочтений, жительницам разных городов России и разных стран.

В них разворачиваются драмы и звучат отголоски исторических событий, пропущенные через призму семейной памяти, в деталях и ощущениях запечатлены события прошлого и настоящего, открывающие огромный неведомый мир...

ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

*В оформлении обложки  
использована фотография Лидии Григорьевой*

ISBN 978-5-901511-59-6

© Н. И. Ажгихина, составление, 2022  
© Екатерина Арт (Омельченко),  
обложка, 2022

## К читателю

Пережитое в детстве остается с нами навсегда. Даже если нам кажется, что мы его не помним, или не хотим вспоминать, или отмахиваемся. Радость и обида, мимолетное впечатление и горькая утрата, удивление, страх, печаль — все это застывает в глубине сознания и продолжает звучать, как муха в янтаре, запечатлевшая жужжание давних времен. Подсознательная память детства — связующая нить цивилизации, хранящая оттенки и полутона, жесты и обрывки разговоров, передающая память об опыте уходящих и исчезнувших поколений...

Бесценный материал для литературы, конечно. Книги о впечатлениях детства вполне могут составить внушительную библиотеку, и огромную ее часть составят тексты классиков, без них наследие великих неполно и не всегда понятно. Большинство этих прекрасных произведений написаны о мальчиках, их опыте, их познании мира взрослых и самого себя. Конечно, есть замечательные тексты о девочках тоже. В основном они написаны тоже мальчиками, которые выросли. О том, как сами девочки рассказывают о своих первых открытиях — в прозе совсем немного.

Женский нарратив, охватывающий все стадии жизни, точно фиксирующий повседневность «ломающих позвоночник» эпох, мощно представлен в мемуарах, дневниках, именно он помог восстановить многие зияния в континууме революционного и советского периодов, от будней гражданской войны и «военного коммунизма» до ГУЛАГа и эмиграции.

Правда ли, что женщинам не интересно писать о детстве рассказы? Или просто читатели и издатели обходят их своим вниманием? Есть ли в современной женской литературе что-то, расширяющее наше представление о мире детства, о понимании девочкой самой себя?

Составители сборника попытались ответить на эти вопросы. Тексты, в нем представленные, принадлежат авторам несхожей личной и писательской судьбы, разных стилистических предпочтений, жительницам разных городов России и разных стран. В них разворачиваются драмы и звучат отголоски исторических событий, пропущенные через призму семейной памяти, запечатлены события прошлого и современного, в деталях и ощущениях, и девочкам открывается огромный неведомый мир...

*Надежда Ажгихина*  
*Светлана Василенко*

## Город за колючей проволокой

В военном газике мы едем со съемочной группой в мой родной город снимать документальный фильм о моем детстве. По правую руку от нас серая, словно военная шинель, полынная степь, уходящая за горизонт, по левую — пойма реки Ахтубы. Ахтуба — рукав полноводной и величественной, царицы всех русских рек, Волги. То есть она как бы родня Волги, ее сестра или дочь, но характер у нее совершенно другой, она стремительная, своенравная, с бурным, словно она горная, а не степная речка, течением. Кажется, что именно из-за своего дурного характера и убежала она из царского дома, чтобы жить своей дикой и необузданной жизнью, но рядом, параллельно с Волгой-матушкой, так же, как та, впадая в Каспийское море.

— Ахтуба... — произносит режиссер название реки, будто пробует его на вкус, и спрашивает меня: — Откуда такое странное у речки имя? Какое-то совсем не русское.

— Не русское, — подтверждаю я. И рассказываю.

Когда-то, завоевав всю Азию, дикие орды монголов под предводительством Бату-хана, внука Чингиз-хана, остановились именно здесь, на берегу реки Ахтубы. Сердце Бату-хана поразила эта дикая коварная река, характером и нравом так похожая на необузданный характер и нрав его народа, и, очарованный раз и навсегда ее красотой и красотой этого места, он именно здесь, в пойме реки Ахтубы основал Западный улус монгольского государства, назвав Золотой Ордой, и построил столицу Золотой Орды — Сарай. Именно отсюда, из Золотой Орды, монголы совершали свои кровавые набеги на Русь, сжигая и вырезая на своем пути русские города и села. Отсюда они покоряли Русь, выключив ее как государство из исторического контекста на несколько столетий. Именно сюда, в Золотую Орду, стекалась дань с русских княжеств,

сюда, в Сарай, приходили к хану русские князья, выпрашивать ярлык на княжение.

Я, конечно, немного привираю, рассказывая. Хан Батый построил столицу Золотой Орды гораздо южнее этого места, в низовьях Волги, а уже потом, многие годы спустя, другим ханом она была перенесена сюда. Но для пущей убедительности рассказа не грех немного приврать.

— Однажды русский князь влюбился в ханскую дочку Тубу. Она, соответственно, в него. Потом князь уехал, пообещав ей вернуться через год и жениться, — рассказываю я съёмочной группе местную легенду. — Отец, узнав об этом, рассердился и решил поскорее выдать дочь за старого и некрасивого...

— Хрыча, — фыркает оператор Ира. (Она, между прочим, одна из лучших операторов России.)

— ...крымского хана, — говорю я.

— А она сама-то что? Туба эта, — спрашивает, заинтересовавшись, шофер газика, молодой румяный солдатик. — Пошла за него?

— Останови-ка машину вон у того камня, — прошу я его.

Машина останавливается около серого, из бетона, неуклюжего, будто его делал какой-то неумеха, монумента. Мы выходим. На бетонном боку следы от букв. Видимо, медные буквы с монумента скрутили местные алкаши и за бутылку водки сдали в утильсырьё как цветной металл. Режиссер пытается прочесть надпись. Ничего не получается. Он поднимает на меня глаза.

— Что тут написано?

— Что здесь была столица Золотой Орды — Сарай.

— Вот здесь?! — режиссер ошарашено обводит взглядом. Вокруг монумента вместо огромного цветущего города, растянувшегося на многие километры, с каменными зданиями, домами, дворцами, фонтанами, многолюдными базарами, толпами людей из разных стран, лошадьми, овцами и верблюдами, — а именно так описывали столицу Золотой Орды путешественники, — лишь голая серая степь и убогий памятник былому могуществу, жестокой Орде, покорившей полмира, памятник, который, как я поняла вдруг, оглянувшись на него, был похож на скифскую каменную бабу, только без головы.

Мы идем к машине, и я рассказываю режиссеру о том, что когда-то в детстве мы с друзьями приезжали сюда и рыли землю в степи. Перекопали все склоны оврагов лопатами. Искали золотого коня.

— Какого еще коня? — раздраженно переспрашивает меня режиссер. У нас с ним намечается творческий конфликт, причины которого еще нам и самим не ясны. Но эту наметившуюся пока еще трещинку в отношениях мы с ним старательно культивируем, чтобы в любой момент на любом этапе съемок можно было бы взорваться, не согласиться, отломиться недовольным куском от скалы, — и тогда эта трещина очень пригодится.

— Я ж говорю, золотого, — недовольно поясняю ему я. — Когда хан Батый умирал, он приказал расплавить все золото, которое у него было, и вылить из него статую своего любимого коня. Этого золотого коня он закопал в степи, но где, никто не знает. С тех пор все его ищут. А он, этот золотой конь, раз в год в самую лунную ночь выходит из-под земли и скачет по степи. Многие слышали звон его золотых копыт. Есть такая легенда.

— Легенда на легенде, — сокрушенно, но в то же время язвительно говорит режиссер. — Ничего не осталось. Только легенды.

— Для нас, кто здесь живет, это не легенды, — говорю я тихо.

— А что же?

— Как бы это лучше сказать... Для нас это реальность. Мы с этим родились здесь.

— Но только теперь уже никто не копает степь в поисках золотого коня, — говорит режиссер. — В сказки уже никто не верит.

— Ты же сам сказал, что легенды — это все, что остается от жизни, — не соглашаюсь я.

— Мы не будем снимать твои легенды, — говорит режиссер раздраженно. — Мы будем снимать фильм о жизни! Документальный фильм. Запомни!

Недовольные друг другом, мы с режиссером усаживаемся в машину. Румяный солдатик, заводя машину, вопросительно скашивает на меня свой детский любопытный глаз.

— А что дальше-то было? С Тубой, ханской дочкой? — нетерпеливо спрашивает он меня. — Вы не дорассказали...

— Убежала она от своего жениха, крымского хана, прямо со свадьбы. Побежала к реке и утопилась, — говорю я.

— Ах! — вскрикивает солдатик от неожиданности.

— Так же закричал хан, ее отец, подбежав к реке, когда узнал от слуг, что случилось: «Ах, Туба! Ах, Туба! Что же ты наделала!» С тех пор река и зовется — Ахтуба... — говорю я.

— А дальше что? — не унимается солдатик.

— А дальше она стала русалкой...

— Господи! Я с вами с ума сойду, — говорит режиссер страдальческим голосом, будто у него ноют зубы. — Поехали!

Машина трогается. От Сарая до моего родного города пятьдесят километров.

\* \* \*

Этот военный город долгие годы был окружен колючей проволокой. Пройти в него и выйти из него можно было только по спецпропускам через КПП — контрольно-пропускные пункты. Говорить и писать об этом городе было нельзя. Этого города долгие годы не было на карте. Карты этого города не существует до сих пор. Название города тоже было военной тайной. Нельзя было, покупая билет в кассе, сказать: «Дайте, пожалуйста, билет до города N». Враг мог услышать (плакаты, где был изображен этот подслушивающий тебя враг, висели в городе повсюду). Надо было сказать: «Мне нужен билет до 85 разъезда». Названий у города было много. В одно и то же время у него было несколько имен, видимо, для маскировки, чтобы запутать след, обмануть врага и шпиона, — его называли и Знаменском, и Десятой площадкой, или просто Десяткой, упоминаемым выше 85-м разъездом, Городком, и даже — Москвой-400... (Даже сейчас, перечисляя эти названия, суеверно по-детски думаю, а не выдаю ли я военную тайну?) Но сами жители называли свой город по названию близлежащего старинного астраханского села — Капустин Яр. Или сокращенно — Кап-Яр. Там мне в середине пятидесятых годов и суждено было родиться. Когда-то очень давно здесь было Каспийское море. Море отступило, образовалась впадина глубиной в двести метров ниже уровня моря, и вот там, на дне ушедшего моря, мы и жили, словно в банке, которую накрыли, словно крышкой, куполом синего без облачка неба. Ночью же с неба свисали, как с рождественской



елки, огромные яркие звезды. Собственно, именно из-за того, что небо там почти весь год чистое и безоблачное, и решили там сделать полигон.

Место, где я родилась, было ракетно-ядерным полигоном, где испытывали ракеты и новейшие виды ядерного оружия. А Капустин Яр был городом, где жили военные, работающие на полигоне, и их семьи: жены и дети. Полигон был основан в 1946 году, сразу после войны, когда из Германии вывезли ракеты ФАУ-2, над которыми усердно работали ученые Рейха и которыми, к счастью для человечества, Гитлер так и не успел воспользоваться. На основе этих ракет советские ученые разработали свои образцы. Кстати, из деталей этих же немецких ракет на другой стороне земного шара в это же время были созданы и первые американские ракеты. Как посаженные в землю зубы дракона, гитлеровские ракеты проросли в разных частях света. Началось долгое, растянувшееся на десятилетия, ядерное противостояние двух сверхдержав — СССР и Америки, началась «холодная война». Вот в таком городе нам предстояло снимать документальный фильм.

\* \* \*

Через КПП, проверив наши документы, временные пропуска, разрешения и другие сопроводительные бумаги из Министерства обороны и Генштаба, — нас не пропустили. Не помогали телефонные звонки и грозные предупреждения патрулям, нас не пропускавшим, что мы важные гости, что нас здесь ждут и что если они нас сейчас же не пропустят, их накажут. Патрули с непроницаемыми лицами стояли насмерть.

И это было странно.

Режим секретности в перестройку заметно ослаб. В городе уже давно жили посторонние люди, которые не имели никакого отношения к полигону. Но одно дело — жить в городе, совсем другое — снимать город на киноленту. Видимо, в нашем случае Город перестраховывался. Видимо, сработали сразу все виды защитной системы Города. Мы были неопознанными объектами для Города, чужаками, может быть, враждебно настроенными к нему, Городу, людьми, непонятно что замыслившими. И Он ощетинился, как еж. Он не хотел даваться в руки. Он не хотел открыться. Он не хотел впускать нас в себя.

Режиссер был в отчаянии. И тогда я решилась. Я повернулась и на глазах патрулей, которые бдительно продолжали наблюдать за любыми нашими действиями, пошла в сторону, туда, где росли кусты смородины, — вроде бы просто так, а может быть, в поисках места, где можно справить малую нужду. Патрули — а ими были молодые солдаты — целомудренно отвели глаза. Легкой походкой я вышла из зоны наблюдения и пошла по едва заметной, но знакомой мне тропинке, которая через короткое время привела меня к дыре в человеческий рост, пробитой в бетонной стене, которой теперь вместо колючей проволоки был окружен наш город. Через дыру можно было попасть в Город без пропуска. Так все и говорили: «Пойдем через дырку!» Я легко перешагнула через нее. Я столько раз это делала. Я же здесь раньше жила. Дыра была здесь всегда, даже тогда, когда здесь была колючая проволока. И все местные про нее знали. А я и была здесь своя, местная. Я попадаю на улицу Советской Армии, где среди одноэтажных однотипных финских домов стоит и наш с мамой домик, окруженный садом. Мама ждет меня, я звонила ей из Москвы, что приеду. Но я напрямиком, не заходя к себе домой, иду в штаб гарнизона. Надо выручать киногруппу.

\* \* \*

В штабе нас знакомят с генералом.

— Думаю, вы снимете фильм, достойный славы нашего знаменитого города и нашей замечательной землячки, — говорит он режиссеру мягко, но внушительно. Потом нас увозят к полковнику, в котором я вдруг узнаю сельского мальчика Юру Данилова, с которым мы в детстве катались с ледяных горок. Мы объясняем ему, что нам необходимо взять детей для съемки. Нам нужно найти мальчика и двух девочек. Одна из девочек должна быть похожа на меня в детстве. Она будет играть меня в детстве. Остальные дети — моих друзей. Фильм — документально-постановочный. Время — 1962 год, тема — Карибский кризис. Снимать будем в городе и селе. Нам объясняют, какие объекты можно снимать, какие нежелательно, только с письменного разрешения. Особо оговариваются секретные и режимные объекты (например, штаб, где мы сидим), которые снимать категорически нельзя.

— А запуск ракет снять можно? — спрашивает режиссер.

— У вас есть допуск? — спрашивает его полковник.

— Нет.

— Значит, нельзя.

Я с негодованием смотрю на режиссера. То, что у нас не получится снять ракеты «живьем», это его, режиссера, большой прокол. Он не пожелал взять в Минобороны допуск (форму секретности), чтобы не стать на несколько лет невыездным. Этому крестину за границу хочется, в Канны, на кинофестиваль!

— Но у нас есть киноархив. Там есть съемки запусков, — утешает нас полковник.

Бесплатно, на все дни съемок, нам дают военный автобус для киногруппы и техники и знакомят с майором, который нас должен сопровождать во все дни съемок, помогая нам их организовывать и в то же время не спуская с нас бдительных глаз. У майора красивое, как античная маска, серое непроницаемое лицо. Прощаясь, мы сказали, что детей для фильма найдем сами.

— Ну, как ты живешь? — спрашивает меня по-свойски полковник Юра после официальной части.

— Нормально. Вот фильмы снимаю. Романы пишу...

— Я читал, — говорит Юра. — Жизненно пишешь.

— А ты? — спрашиваю его я.

— И я нормально, — говорит Юра. — Вот до полковника дослужился. Через полгода — в отставку пойду...

Он вдруг подмигивает мне длинным конским глазом и заговорщицки улыбается. Я улыбаюсь тоже. Вот таким, с длинным конским глазом, я и запомнила его, когда мы, еще детьми, летели с ним с ледяной горки, и он, обхватив меня руками, целовал прямо в губы. И как я писала в одном из своих рассказов: «его слюна была чистой и пресной, как моя собственная слюна». Долетев до конца, мы вставали и, не глядя друг на друга, качаясь, как пьяные, снова шли вверх, в гору, чтобы все повторилось. Только мы одни с ним знаем про это.

\* \* \*

— Леша, смотри, это буква М, а это буква А. Пиши: МА-МА... — сводная сестра Леша Инна учит его писать. Леша выглядит как тринадцатилетний подросток, хотя ему уже пят-

надцать. Он коротко острижен, на нем грязная рубашка с чужого плеча, он ковыряет в носу и грызет ручку, — он не понимает, чего от него хочет Инна. Ему скучно. Небесно-голубые глаза его на тонком одухотворенном лице, уже покрывающемся легким пухом, ищут, чем бы отвлечься. И находят. Он засовывает ручку в клетку с крысой, которая стоит тут же на столе и громко хохочет.

— Тебе же говорят, пиши! — кричит на него красивая нарядная соседская девочка Катя. — Дурак!

— Сама дуя! — обиженно говорит Леша. Леша не выговаривает «р» и еще кучу других звуков он не выговаривает. Он вообще плохо говорит. Он не умеет писать и читать в свои пятнадцать лет. Он сирота, его мать умерла несколько лет назад. Он живет с пьяницей-отцом в убогой комнате. Он — умственно-отсталый ребенок. В народе таких называют ласково — дурачок.

Леша, Катя и Инна выбраны нами для съемок фильма. Все они живут на одной улице с моей мамой. Инна, чем-то неуловимо похожая на меня в детстве, утверждена на роль главной героини.

— Отличная сцена, — говорю я режиссеру. — Хоть сейчас снимай.

Режиссер смотрит на меня выразительными глазами, потом на майора, сопровождающего нас теперь повсюду. Майор сидит у окна с серым скучным лицом и смотрит на улицу. Кажется, что ему совсем нет дела до нас.

— Пойдем, выйдем, — говорит режиссер мне.

\* \* \*

— Ты понимаешь, что наш фильм накрывается медным тазом? — спрашивает меня режиссер, когда мы остаемся одни.

— Почему?

— Этот майор догадается обо всем сразу, как мы только включим камеру и начнем снимать.

— Ты уверен?

Режиссер горестно качает головой. Мы молча смотрим друг на друга. Дело в том, что мы никогда не собирались снимать фильм о детстве известной писательницы, которая прославила город своими книгами, — то бишь обо мне. Этот сю-

жет мы придумали для того, чтобы нам разрешили съемки в закрытом военном городе. С самого начала мы мечтали снять фильм вот об этом мальчике, который ковыряет пальцем в носу, который грызет ручку, который не знает ни одной буквы, плохо говорит, который неадекватен в поведении, который умственно-отсталый, дефективный, даун, дурак, идиот, — вот про него, про этого дурачка с небесно-голубыми глазами, с которым разговаривает Бог, современного юридивого, праведника, на котором и стоит этот строгий военный город, а значит, мир.

Но разве Город позволил бы нам снять такой фильм о себе? Фильм о Городе, увиденном глазами дурака? Мы сидим с режиссером, как два заговорщика, хитростью проникшие в чужой город, как два врага, задумавшие обмануть и опозорить честных и порядочных жителей этого города.

— Я нашла выход, — говорю я. — Мы будем снимать два фильма — и про меня, и про него. Камера начинает с меня, потом переходит на мальчика. Чтобы усыпить бдительность майора.

— Это трудно, — говорит режиссер.

— Ничего, справимся. Главное, чтобы пленки хватило, — говорю я.

— Тогда тебе придется написать очень жесткий сценарий...

Режиссер с надеждой смотрит на меня. Я киваю и улыбаюсь режиссеру обворожительной, но не совсем искренней улыбкой. Потому что я чувствую себя не просто предателем, а предателем вдвойне. Мало того, что я обманываю свой родной город, я обманываю и его, режиссера. Потому что я знаю, что мы будем снимать еще третий, невидимый, как град Китеж, фильм. О съемках которого режиссер даже не догадывается. Город хотел бы, чтобы про него сняли хороший документальный фильм, где были бы показаны как достижения его, Города, так и его, Города, недостатки, но в меру, — то есть нормальный правдивый фильм. Режиссеру же нужна художественная правда о человеке. Мне же нужна легенда о нашем времени. Потому что от времени остаются только легенды.

Я знаю одну военную тайну, которую мой режиссер не знает. Для него это просто обыкновенный военный городок:

с центральной улицей, обсаженной пыльными пирамидальными тополями и белой акацией, площадью с обязательным памятником Ленину, штабом, Домом офицеров, магазином, рестораном, баней и базаром, — городок, каких много.

Для меня же этот город, прикинувшийся обыкновенным сонным городком, — был и остается Городом Апокалипсиса. Именно здесь в 1962 году, во время Карибского кризиса, во время ядерного противостояния СССР и Америки, когда мир висел на волоске, я, шестилетним ребенком, видела, как начинается Конец Света.

\* \* \*

В тот вечер, 28 октября 1962 года, когда на весь город завывала сирена, мы, нашей круглосуточной группой в детском саду, сидели за столиками и ужинали. К сирене мы уже привыкли, она в тот месяц выла несколько раз по ночам, когда была учебная тревога. Но сегодня она выла как-то по особому. Словно то последний ангел вострубил в трубу над нашим Городом с неба, низко, безнадежно, не переставая. «У-у-у!» — вот как она выла.

— Война! — закричала истошным голосом нянечка, нас кормившая. — Война началась!

Она еще помнила, что так же началась и Великая Отечественная война, вот с таких воздушных тревог перед бомбежками, с воя сирен. Она не знала, что сегодня Америкой был объявлен ультиматум: если Советский Союз не уберет свои ракеты с острова Куба, то она совершит ракетно-ядерный удар по СССР. В эту ночь время ультиматума истекало, и должна была начаться ядерная война. В первую очередь американские ракеты, конечно, должны были уничтожить ракетно-ядерный потенциал нашей страны, а значит, наш полигон и наш Город, наших отцов, обслуживающих ракеты, и уже заодно, как говорится, до кучи, — наших матерей и нас, детей, — то есть всех, кто живет в Городе.

Поднялась суматоха. Нас быстро одевали в осенние пальтишки, выводили на улицу и строили по парам. Я стояла в паре со своей подружкой Наташей Березкиной, моей соседкой по улице, рассудительной рослой девочкой, с которой я дружила, или, лучше сказать, которую трепетно и ревниво любила. Мы стояли с ней в одинаковых пальтишках зеленого

цвета. Потому что мы были с ней как сестры, но я — маленькая, черненькая, она же — высокая, беленькая. Нас наряжали в одинаковые платья, дарили нам одинаковых кукол, завязывали на голове одинаковые банты. И то, что в такой час мы оказались с ней вместе, меня успокаивало. Когда мы были вместе, с нами не могло случиться ничего плохого. Мы весело побежали на улицу Победы, к 232-й школе, так же, как и раньше, во время учебной тревоги. Для нас это было развлечением. Мама рассказывала, что, так же детьми, они весело встретили сообщение о войне в 1941 году, бегая по деревне с радостными криками.

Уже стемнело, но фонари были выключены. Нам навстречу тоже бежали люди, в основном солдаты и офицеры. Они садились на грузовики и в автобусы и уезжали. На площади в темноте вокруг памятника Ленину металась «гражданские» — так презрительно называли в нашем Городе мужчин, не принадлежащих к военному сословию, женщины с грудными детьми, пожилые люди. Человек с мегафоном истошно призывал их не поддаваться панике и спокойно дожидаться автобусов, которые их вывезут в безопасное место. Хотя какое место на Земле могло быть в ту ночь безопасным?

Мы бежали по темным улицам, взявшись за руки по двое. Мы бежали сначала мимо Дома офицеров, куда мы ходили на елку и на похороны разбившихся летчиков, смотреть кино или на концерт. Потом по улице Советской Армии, мимо большого дома за голубым забором, где живет генерал Василий Иванович Вознюк, маленький, лысый и очень добрый, он построил наш Город, — сколько раз, сидя на заборе, мы рвали у него черешню, мимо просторного гостевого дома для «промышленников», приезжающих из Москвы и других городов с оборонных заводов доводить ракеты до ума, — здесь нас катал на машине «дядя Сережа», потом мы узнали его фамилию, — Королев, Главный конструктор ракет. Мимо финского домика под номером десять, где живет Наташа, мимо такого же дома под номером восемь, здесь живу я с мамой. Мой папа живет отдельно от нас, в каменном доме на улице Черняховского. Мы бежим по Артиллерийской набережной, где стоит фильтровальная станция, мама там берет на анализ воду, у нее такая профессия. По улице Авиационной, мимо «дежурки» — дежурного магазина, где мы брали

хлеб — черный хлеб по 14 копеек и белый хлеб — по 20 копеек за один килограмм, — к буханке белого часто давали довесок — корочку хлеба, которую мы, не доходя до дома, съедали. У «дежурки» выкопана огромная черная яма, в ней вечно чинят водопровод. Мы обходим ее по узенькой опасной тропке. Мимо улицы Ленина, по которой мы шли каждый год на парад. Мимо проспекта 9 Мая, где стояла баня. Мимо Солдатского парка, здесь стояла водонапорная башня, подпирающая небо, и с нее, если залезть, был виден весь городок, и село, и река Постёпка, протекающая через село, и бахчи с арбузами, и кусочек Ахтубы, и где-то, сливаясь с небом, — Волга.

Я бежала и прощалась с Городом. Нас построили во дворе школы, выдали нам кульки с сухим пайком и повели к автобусам. Мы с Наташей сели в автобус, и вдруг во дворе школы я увидела Надьку. Она жила на нашей улице. Она была девочкой-дауном, дурочкой, ее так и звали — Надя-дурочка. Лицо ее было тупое и бессмысленное. Ее распирало от не нужной никому плоти. Дети на улице и моя подруга Наташа смеялись над ней. Надя же была очень привязана ко мне, а я к ней. Я одна с ней играла и жалела ее. Она горячо и наивно мечтала вслух, сидя со мной на крыльце, и я, с удивлением глядя на ее бессмысленное лицо, понимала, что она умна и добра, что она как мы, только в ней все оставалось таким, как у нас в раннем детстве. Потом, много лет спустя, я буду писать о ней в своих рассказах, повестях и романах. Она была и остается в моей жизни самым значимым человеком.

Надька металась по двору школы с бессмысленным лицом, не зная, куда, в какой автобус ей сесть. Все ее отгоняли. Я позвала ее. Она увидела меня и обрадовалась. Она уже было запрыгнула в наш автобус, но бдительная воспитательница начала прогонять ее:

— Куда тебя несет? Не видишь, местов нету! И ты не из нашей группы...

Я встала в дверях и протянула ей руку. Надька уцепилась за меня. Воспитательница разгневалась:

— Ее нет в списках! Смотри, и тебя высажу.

Наташа больно дернула меня за другую руку.

— Садись быстрее, — сказала она. — А то, правда, выгонит из-за этой дуры.



Воспитательница толкнула Надьку от дверей так, что та упала и изумленно смотрела на меня с земли. А я молчала.

Много лет спустя моя учительница скажет мне: «Не понимаю, как ты пишешь такие сумасшедшие романы? Ты же всегда была такая тихая девочка!» Надька смотрела на меня, а я молчала. Я была тихая девочка.

В автобусе мальчишки разгоряченно переговаривались между собой: «Сначала от первого ракетного удара погибнут те, кто останется в городе. Мы погибнем от второго удара. Дальше ударят наши ракеты и уничтожат Америку...»

Нас привезли в степь. Фары высветили два засохших тополя. Я толкнула Наташу в бок.

— Узнаешь? Вторая площадка.

Весной мы с Наташей ездили сюда за тюльпанами. Мы приехали на велосипедах, увидели, что степь вся красная от тюльпанов, и опьянели. Мы рвали и рвали их, укладывая окровавленными охапками рядом с велосипедами. А потом там же, у велосипедов, легли отдохнуть и, сморенные весенним солнцем, уснули. Нас тогда искали по всей степи с вертолетов. В ней так же трудно найти заблудившегося человека, как и в лесу. Нашли нас под вечер и привезли на военном автобусе в Город. Тюльпаны мы положили к ногам памятника Ленину-маленькому. У нас в городе было два памятника Ленину, один огромный на площади, другой — маленький, с человеческий рост, в парке ГДО. Туда-то мы и положили свои охапки, и Ленин стоял будто в крови по колено. Было красиво. (Недавно Наташа, не звонившая мне много лет, вдруг позвонила поздравить с днем рождения и спросила: а ты помнишь наши с тобой красные тюльпаны? И мы с упоением вспомнили каждую подробность того путешествия, а подруга, приехавшая на мой день рождения из другого города, ревниво вслушиваясь в наш разговор, вдруг вскричала, когда я положила трубку: «В нашей дружбе тоже было много хорошего! Образно говоря, у нас с тобой тоже были красные тюльпаны!». — «Да, было много хорошего, — сказала я. — Но тюльпаны у нас были только с Наташей».)

Вся степь была усыпана детьми: их привезли из школ и детских садов. В темноте то тут, то там слышался смех, крик или разговор. Разжигать костер было нельзя, чтобы его не заметили со спутника американцы. В темноте я расстели-

ла свое пальтецо на земле. Мы легли с Наташей, укрывшись ее пальто и крепко обнявшись. Если нас ночью убьют, то вместе. Мы попрощались с ней, на всякий случай.

Мы долго не могли заснуть. Меня мучила мысль, где же Надька. То, что мы ее оставили, не давало мне покоя. «Ну, она же дурочка, — сказала Наташа рассудительно. — Даже если она умрет, то не так жалко будет». Я отодвинулась от Наташи. Потом заснула.

Ночью, проснувшись, я испытала тот «арзамасский ужас», ужас смерти, который испытал Лев Толстой, будучи уже взрослым человеком. Я помню, что я думала о смерти взрослыми словами, будто душа враз повзрослела. Та ужасная мысль о смерти, то, что я, может быть, уже умерла, чуть не свела меня с ума тогда. Даже волосы мои встали дыбом. Ведь вокруг меня была тьма. Я думала, что, может быть, это и есть Конец Света. Я лежала, дожидаясь рассвета, и не смыкала глаз. Я боялась умереть во сне. Я хотела умереть в полном знании, что это совершается со мной. Еще я представляла, что умрут все, умрет человечество, но эта мысль была абстрактной и не трогала меня. Конец света совершается с каждым человеком в отдельности.

Утром я начала искать Надьку, я все-таки верила, что она приехала другим автобусом, и, не найдя ее среди спящих в степи детей, поняла, что она, совершенно беспомощная, ничего не понимающая, осталась в городе одна, наедине со смертью. Что она делает там одна? «Я предала ее на смерть», — отчетливо подумала я. Меня начал бить колотун. Я тряслась, как ненормальная, пока не встало солнце и не сказали, что время, когда ждали удара, закончилось, и значит, войны не будет.

\* \* \*

Много позже я узнала от отца, что он в ту ночь так же, как и в предыдущие, был на площадке, и теоретически мог стать тем человеком, который нажал бы на кнопку, и мир полетел бы в тартарары. Я спросила его: «А что вы тогда делали, о чем думали, сидя перед этими кнопками, перед Концом Света?» Он подумал немного и сказал: «Мы играли в преферанс». Я ожидала чего-то невероятного, какого-то откровения ожидала я от человека, который мог уничтожить мир. Оказалось же так буднично.

Потом я поняла, что да, именно так и должно было быть: Апокалипсис и должен был наступить именно так, как у Чехова, — перед тем, как пустить пулю в лоб себе или миру, — люди играют в преферанс.

После Карибского кризиса мой отец, хохотун, красавец, душа всех компаний, делавший блестящую военную карьеру, дослужившись до майора в 33 года, вдруг неожиданно подал рапорт об отставке, бросил нас с матерью и уехал из города навсегда. Мать до сих пор думает, что он в ту ночь сошел с ума.

Я думаю, что мы тогда всем городом сошли с ума.

\* \* \*

Мы решаем с режиссером, что нужно снимать фильм о том, как выживает наш герой в таком вот странном городе. Он же из бедной семьи, сирота.

Первую сцену мы снимаем в парке Дома офицеров. Майор, как всегда, с нами. «Майор — друг человека», — шутит оператор Ира. Мы даже не пытаемся узнать, как его зовут. Я делаю отвлекающий маневр. Широким жестом я показываю на танцевальную площадку и бодро говорю:

— Вот здесь играл духовой оркестр... Здесь были танцы, где мои родители познакомились, — я начинаю повествование о своей жизни с часа зачатия.

Майор смотрит на часы и идет к телефонной будке. В это время режиссер незаметно выпускает Лешу-дурачка, который с привычной сноровкой начинает собирать в парке пустые бутылки, которые припрятал для него перед съемкой режиссер. Потом мы снимем, как он сдает их и покупает себе бутылку молока. Оператор Ира быстро, незаметным движением переводит камеру с меня на Лешку.

— Ну и секьюрити у нас! — презрительно говорит она, глянув в сторону майора, сняв сцену. — Совсем мышей не ловит.

\* \* \*

Мы ходим по Свиному займищу, где солдаты держат подсобное хозяйство, в том числе свиней. Режиссер ищет натуру. Ему нужно, чтобы Леша шел по тропе на фоне пустого неба. Я указываю ему на Змеиную горку.

— Почему Змеиная? — дергается он. — Опять легенда?

— Нет. Просто когда наступает весна, на южный склон сползаются змеи, чтобы погреться после зимней спячки, — говорю я.

— Б-р-р-р, — содрогается режиссер. — Ладно, давайте попробуем. Надеюсь, змеи поздней осенью уже ложатся спать?

Леша на фоне пустого неба идет по горке и тащит велосипедную раму.

Майор сидит в автобусе и безучастно смотрит в совершенно другую сторону. Даже обманывать его не надо. Режиссер делает отмашку, оператор снимает Лешку. Надо экономить пленку.

\* \* \*

Сегодня счастливый день. Снимали сцену, когда Лешка сидит с отцом на крыльце дома. Отец спросил Лешку:

— Что там на небе, Лешка?

— А что там?

— Звездочки. Повторяй за мной. Звездочки.

— Так. Зез-дочки, — говорит Лешка шепелявя.

— Солнце.

— Сон-це...

— Луна.

— Лу-а...

— А еще что? Лешка? — спрашивает отец, проспиртованные мозги его не помнят, какие планеты там, в небе, Марс или Венера. — Ну что там еще?

Лешка затихает, лицо его преображается, и он говорит вдруг отчетливо:

— БОГ...

Отец со страхом смотрит на Лешку, потом на небо. Ира снимает. Мы боимся помешать ей. Сняла.

Мы обнимаемся с режиссером.

— Фильм будет! — говорит он счастливо.

\* \* \*

Ира придумала сцену. Леша хоронит умершего накануне съемок кролика.

Уже выпал снег. Холодно. Мы идем в село на берег реки Постёпки. Леша долбит мерзлую землю лопатой. Мне холод-

но. Я отпрашиваюсь. Майор идет греться вместе со мной. Он даже не спрашивает, почему съемки фильма обо мне ведутся без меня. Он, видимо, ничего не понимает вообще. И слава богу! Через час режиссер приходит к нам в тепло и, радостно сверкнув очками, рассказывает майору:

— Получилось! Он знает, что сказал, когда закопал кролика? — майор тут же отворачивается от режиссера.

— Что? — вместо него спрашиваю я.

— Никогда не догадаетесь! Он положил на могилку камешки и сказал: «Эх, ты!»

\* \* \*

У режиссера плохое настроение.

— Ты написала плохой сценарий, — говорит он. — Мы низываем эпизод за эпизодом, и ничего не происходит.

— Но если действительно ничего не происходит? — защищаюсь я. Но сама понимаю, что режиссер прав.

— Значит, нужна провокация!

Мы сидим и, как два злодея, придумываем, чем спровоцировать нашего героя на какое-то действие, которого ни он, ни мы не можем предугадать. Режиссер смотрит на меня и улыбается.

— Я придумал одну гадость... — говорит он и смеется мерзким смехом.

\* \* \*

Леша, Инна и Катя играют в мяч. Они пролезли в дыру из города в село и стоят на той горке, с которой мы когда-то катались с Юрой. Я на всякий случай бодро произношу свой текст про горку для майора, а то мы слишком расслабились. Потом я подхожу к Кате и говорю ей:

— Ты должна его разозлить.

— Лешку? А как?

— Называй его дураком, идиотом, больным, дефективным...

— Это нехорошо, — говорит Катя, потупившись. — Он обидится.

— Так нужно по сценарию, — говорю я. — Ну?

— Хорошо... — тихо говорит Катя, глядя себе под ноги.

Потом кидается к Инне и что-то жарко шепчет ей на ухо. Та с довольным видом кивает ей. Они начинают игру. Леше нравится девочка Катя. Он кидает ей мяч. Она кидает его ему обратно. Мяч у Лешки выскользывает из рук, падает. Девочки смеются таким же мерзким смехом, каким смеялся режиссер вчера, придумав эту сцену. Катя и Инна закидывают мяч все дальше и дальше. Лешка сердится. Он понимает, что происходит что-то не то. Ведь так все хорошо начиналось. Он грозит Инне и Кате пальцем. Первая не выдерживает Инна:

— Дурак! — кричит она во все горло.

— Что? — Леша столбенеет. Его лицо начинает дергаться. Он шепелявит и вместо «ч» говорит «ц». — Что ты сказала?

— Идиот! — пискнула и Катя.

Леша обернулся к ней, как слепой, не веря тому, что услышал это от Кати, от девочки, которую он любит.

— Больной, дефективный! — орет Инна.

— Дурачок, — подхватывает Катя.

Леша вдруг берет с земли дрын и начинает крутиться на месте, будто отбиваясь от слов. Девочки визжат. Но уже в упоении, что можно безнаказанно унижать человека, они кричат страшные слова ему в лицо. И Леша сатанеет, он отбрасывает дрын, подхватывает резиновый старый шланг и, догнав Катю, валит ее одним ударом оземь и начинает избивать, дико, по-животному, вскрикивая.

Оператор Ира бросает камеру и закрывает глаза руками.

— Снимай, — кричит ей режиссер.

Ира машет головой. Режиссер подскакивает к камере и снимает сам. Я бегу к Леше, оттаскиваю его от Кати. Он падает на землю и долго, страшно, истерично хохочет. Катя, рыдая, бежит к дыре. Я бегу за ней. Я нахожу ее, забившуюся в угол, плачущую, в темном сарае. Я хочу ее приласкать. Она кричит мне:

— Не трогайте меня! Уйдите! Я вас ненавижу!

«Господи, — думаю я, — что мы наделали? Это же с ней останется на всю жизнь...»

Я возвращаюсь. Все еще на съемочной площадке. Собираем технику, не глядя друг другу в глаза. В автобусе режиссер говорит мне тихо и значительно:

— Получилось. Фильм получился. Я его уже вижу.

— Пошел ты знаешь куда со своим фильмом? — говорю я.

И я долго простыми, народными, доходчивыми словами говорю, куда он должен идти. И краем глаза вижу, что майор впервые взволнованно смотрит и с удовольствием слушает меня.

\* \* \*

Мы с режиссером идем в киноархив. Киномехаником там работает мой бывший сосед по улице Шурик Цаплин. В детстве я его обожала. Он возился со мной, как с младшей сестренкой. Он был старше меня на восемь лет. Шутливо нас просватали. Он ушел в армию, когда мне было десять лет. И я, чувствуя себя его невестой, ждала и даже писала письма. Он вернулся из армии уже женатым, напрочь забывшим обо мне. А я так и осталась его неудавшейся невестой.

Шурик крутит нам кинохронику с утра до вечера. Первый спутник. Собаки Белка и Стрелка в космосе. Первые запуски ракет. А вот уже пошли современные ракеты. Но все не то.

- Шурик, это все не то, — говорю я.
- А что надо? — спрашивает Шурик.
- Конец Света, — говорю я дурашливо.

Шурик остро взглядывает на меня и куда-то уходит. Возвращается он с фильмом о взрыве ракеты при запуске на космодроме Байконур, когда погиб генерал Неделин. Там же погибли и многие наши офицеры, так как Кап-Яр и Байконур были сообщающимися сосудами: наши офицеры ездили на запуски туда, их офицеры — сюда. Я до сих пор помню, какой стон, крик и плач стоял в Городе в те дни.

С первых же кадров мы затихаем. Оцепенев, мы смотрим на ужасные сцены ядерной катастрофы, запечатленные документально. На экране — Апокалипсис. Как ни кошунственно это звучит, это то, что нам нужно. Мы с режиссером собираемся уходить. Шурик останавливает меня. У него в руках коробка с пленкой.

- Посмотри еще вот это. Специально для тебя принес.

Режиссер уходит. Я остаюсь. Хроника пятнадцатилетней давности. Сюжет начала перестройки о том, как на капустиноярском полигоне уничтожали ракеты СС-20, одни из самых мощных советских ракет того времени. Ракета, как выброшенный на берег кит, лежит посреди степи. Вокруг нее суетятся люди. Офицеры готовят ракету к уничтожению. На трибунах, словно это футбольный матч или парад, сидят

в первых рядах иностранные наблюдатели и журналисты, за ними — расфуфыренные, как в театре, жены офицеров. На переднем плане — офицер с неподвижным лицом. Он трет мочку уха, чтобы понять, сон это или нет, и по этому движению я узнаю его. Это Саша Воронин, мой одноклассник. Офицер-доводчик. То есть тот, кто доводит ракету, привезенную с завода, до ума, до запуска. «Сашка ласкает тело ракеты, как будто это тело любимой девушки», — смеялся другой мой одноклассник, тоже ставший ракетчиком, Сергей Капъярский. И ракета отвечала ему взаимностью. Сашины ракеты всегда попадали в цель, они летели с какой-то особой осмысленностью и виртуозностью, они были полны трепетной жизни, словно живые существа. Они красиво летели!

Саша был гением, он был ракетным Моцартом, и так же, как Моцарт, он был «гулякой праздным». О, сколько упоительных и сумасшедших вечеров провели мы с ним в беседке моего сада, когда я приезжала домой из Москвы, и собиралась компания одноклассников! Как он играл на гитаре, как он шутил, как он смеялся! О, сколько вишневым бражкой выпивали мы из трехлитровых банок, неосторожно оставленных моей мамой в саду без присмотра! О, сколько ухи, сколько ведер раков мы сварили с ним на рыбалке на Ахтубе! О, сколько желаний мы с ним загадали однажды в августе во время звездопада! Мы не были с ним друзьями или любовниками, ничто постороннее нас не связывало и не сковывало. Я была ему только одноклассницей, но чтобы праздновать эту жизнь, он выбрал меня, как художник безошибочно выбирает художника.

Но сейчас я его не узнаю. Он двигается очень странно, словно что-то разладилось в его организме. То он поднимет руку невпопад, то повернется не ко времени. Он подходит к ракете и устанавливает взрывное устройство с таким траурным выражением лица, что, кажется, он подрывает собственную мать. Или хоронит ребенка. Все готово к подрыву. И тут в кадр влезает огромная лиловая туча. Таких туч не бывает в природе. Но она есть. Разражается гроза необычайной силы. Гремит гром, сверкают молнии, ливень стоит сплошной стеной. Журналистов на трибуне прячут в плащ-палатки. Прически жен офицеров становятся мокрой волосней.

Саша Воронин поднимает руку. Он командует подрывом. Взмахивает. Раздается то ли взрыв, то ли гром. Огромная



молния разрывает небо на две части, освещая страшным светом происходящее. На мгновение свет молнии освещает лиловое, будто у мертвеца, лицо Саши с огромными плачущими глазами. Я даже поднимаюсь навстречу с кресла, словно спешу ему на помощь. С такими лицами кончают самоубийством. Сюжет закончился.

— Он потом спился и повесился, — говорит Шурик, перематывая пленку.

— Кто? — спрашиваю я тупо.

— Да кто? Сашка Воронин... Не узнала?

— Когда это случилось? — сдавленным голосом спрашиваю я.

— Да с год уже будет.

— Мне никто не сказал.

— А чего говорить? У нас в городке сейчас один за другим... — Шурик выразительным жестом показывает, что они делают с собой. — Я Сашку понимаю. Работы нет. А главное, перспективы нет. Один-два запуска ракет в год, это нормально? Пошли, невеста! — говорит он, и я вздрагиваю. Неужели помнит?

— Что? Думаешь, не помню, как ты мне свои каракули в армию присылала? — спрашивает Шурик самодовольно. — До сих пор где-то валяются. Потом когда-нибудь продам на аукционе Сотбис...

\* \* \*

Режиссер снял свой фильм. А я еще нет. Я словно Бориска, колокольных дел мастер, из фильма Тарковского, еще не нашла своей глины, чтобы колокол зазвенел. Мне нужна еще одна сцена.

— Я тебя не понимаю, — говорит режиссер. — У нас столько материала...

— Нет, — говорю я. — Вот увидишь, без этой сцены фильм не получится. Лучше добавить: легенда про Конец Света не получится.

\* \* \*

Мы снимаем в развалинах купеческого дома. После революции он стал зданием НКВД. В перестройку его подожгли. Леша бродит по развалинам, посвистывая, разговаривает с птицами. Те откликаются на его свист.

— Ну что ты хочешь? — спрашивает меня режиссер. — Что он должен делать?

Я сама не знаю, чего я хочу. Лешка, собрав щепочки, поджигает их, греет над огнем озябшие руки. Красные, большие, они так похожи на руки Надьки-дурочки.

— Стоп, — говорю я, удерживая в себе сердце, — стоп. Я нашла. Вот что Надька делала в ту ночь, когда должен был наступить Конец Света. Когда мы бросили ее одну в Городе. Конечно же, она разожгла костер. Было холодно. Она же не знала, что костер зажигать нельзя, и грела большие озябшие красные руки.

— Снимаем, — говорю я.

Я сняла свою Легенду о нашем Городе. Теперь можно уезжать.

\* \* \*

Я иду в магазин за хлебом. Перед магазином — вечно разрытая яма. Опять прорвало водопроводную трубу, чинят. Я начинаю обходить яму по узкой опасной тропке, рискуя в нее свалиться. И вдруг уже в конце опасной тропы встречаю Надьку-дурочку. Под мышкой она несет буханку хлеба. Мы здороваемся с ней, стоя над глубокой ямой. Видно, что Надька рада мне. Я не знаю, о чем с ней говорить. Я не знаю, о чем с ней говорить вот уже как тридцать лет, поэтому всегда только здороваюсь. Но теперь я почему-то медлю. Я смотрю в ее улыбочивое бессмысленное лицо, бессмысленные, пустые глаза, и зачем-то задаю дежурный вопрос: «Надя, как ты живешь?», ожидая услышать от нее такой же дежурный ответ: «Нормально».

Но вдруг она глухо охает, будто я этим вопросом, словно обухом топора, ударила ее по голове, и у нее там, в голове, прояснело, разум блеснул в ее глазах, она остро и ясно взглядывает на меня и произносит слова, которые рвут мне сердце: «По-разному, Света. Иной раз мне так тошно, хоть в петлю лезь. А иногда — ничего, живу. Ничего...». «Господи, кто из нас даун?» — думаю я.

Мы стоим над ямой, у меня кружится голова, и я понимаю, что если мы сейчас немедленно не разойдемся, то я рухну вниз. «Давай отойдем от ямы, — говорю я Надьке, — а то упадем». Надька смотрит вниз, на дно, и говорит: «А я тогда здесь пряталась всю ночь, помнишь, когда нас американцы

бомбили?» Мое сердце начинает разрываться на части. «Где пряталась, — спрашиваю я глухо, — в этой яме?» «Ну да, — говорит Надька. — Меня в автобус не взяли, я побежала домой, было темно, и я в нее упала». «Ты просидела здесь всю ночь?» — спрашиваю я. «Сначала я кричала...» — говорит она и замолкает. «А потом? Что было потом?» — спрашиваю я. Но она упорно молчит. Ее опять замкнуло. Глаза ее завораживает пленкой. Она смотрит на меня бессмысленно и пусто. Меня бьет колотун. Я осторожно обхожу ее и быстро иду к магазину. Я иду и плачу сухим плачем. Зачем я приехала сюда? Зачем я снимаю этот фильм? «Господи, прости меня за Надьку», — прошу я. Я оглядываюсь.

Надька все так же неподвижно стоит над ямой и смотрит на меня бессмысленными глазами.

— Надя... — говорю я ей.

Что-то опять блеснуло в ее глазах. Она делает ко мне шаг, и я бросаюсь к ней навстречу. Я обнимаю ее, и она тычется своим лицом, враз ставшим от слез мокрым, в мое, как ребенок, не умеющий целоваться. Она целует меня не губами, а всем лицом: мокрыми щеками, лбом, подбородком...

— Мне было ТАК страшно там, — она скашивает свои глаза на яму. — Одной, без тебя...

Я смотрю в ее зарезанное лицо и потерянно говорю:

— Я знаю, Надя... Надя, прости меня...

А сама вдруг понимаю, что Бог тогда спасал Надьку, а не нас. Если бы действительно началась война, мы бы в открытой степи погибли сразу же от первой ударной волны. А Надька в этой глубокой яме спаслась бы. Может быть, одна из всего человечества.

\* \* \*

У режиссера перед отъездом нелады с сердцем. Сказалось перенапряжение последних дней. Я иду в штаб прощаться с полковником Юрой. Полковник сидит в комнате один. Он сидит за столом и что-то пишет. На мое приветствие, не поднимая головы, произносит что-то нечленораздельное.

— Вот, уезжаем, — говорю я. — Попрощаться пришла.

Юра, наконец, поворачивает ко мне свое хмурое лицо.

— Что? — говорит он, глядя на меня в упор. — Сняли кино про своего дурака?

Я теряюсь.

— Юра! Мы снимали фильм про мое детство, — осторожно говорю я.

— Не звезды! — вдруг говорит он угрюмо. — Интеллигенты гребанные! — дальше он матерится, как сапожник.

Я разворачиваюсь, чтобы уйти.

— Ты думаешь, мы тут бараны, да? С одной извилиной? У нас разведка еще пока работает. Я с первого кадра знал, про что вы снимаете... — говорит он мне в спину.

— Так что ж ты не заложил нас?! — свирепею я тоже.

Он молчит, и я оглядываюсь.

Он смотрит на меня несчастными глазами.

— Да снимайте, что хотите! — говорит он устало. — Города все равно уже нет. Все развалилось, — и добавляет горько и страстно: — Светка, ты что, не понимаешь?! Мы же страну просрали! Такую страну!..

Мы прощаемся с ним, примирившись. Он, кося своим конским глазом, вдруг смущенно спрашивает:

— Ты хоть про горку помнишь? Как мы с тобой неслись?

Здесь, в этом городе все помнят о своем детстве. И когда Бог призовет нас всех к себе, мы предстанем перед Ним малыми детьми, выстроившись в ряд, и будем рассказывать Ему о своем детстве, — как мы собирали в степи тюльпаны, как летели с ледяных горок и целовались, как лежали в степи и ждали смерти, — у нас есть что Ему рассказать, — но только о детстве, только о нем, потому что больше мы ни о чем не помним. И может быть, Он нас простит?

— Юра, я про нее, про эту горку, всю жизнь помню, — говорю я.

— Жизнь... — говорит Юра грустно. — Как быстро она прошла!

— От жизни останутся только легенды, — как эхо откликаюсь я. Эта фраза звучит во мне теперь всегда, как музыка.

— Если останутся, — говорит Юра.

— Я постараюсь, чтобы остались, — говорю я.

— Ты нас это... Не закапывай уж совсем, в фильме-то своем. Ты же местная, кап-ярская... Оставь людям надежду, — говорит он, заглядывая мне в глаза. И добавляет с уже совершенно другой интонацией, почти со стоном: — Эх, застареть бы быстрее, Светка, чтобы уже не видеть этот бардак...

\* \* \*

Я выхожу и иду. Я иду по мертвому городу. Я иду по мертвой земле. Я иду по мертвой стране.

\* \* \*

Мы возвращаемся в том же газике, и шофер у нас тот же румяный солдатик. Я сижу рядом с ним. За мной киногруппа, весело переговариваясь, чокается солдатскими кружками со спиртом. Я не пью. Заболела. У меня высокая температура.

Мы подъезжаем к памятнику Золотой Орде. Киногруппа хочет выйти и сфотографироваться на память. Я остаюсь в машине. Осенняя степь вокруг памятника распахана трактором. Чтобы подойти к нему, киногруппе приходится идти, проваливаясь в свежевспаханную землю.

У остановки стоит мужик и продает сушеную воблу. Киногруппа возвращается. Режиссер покупает у мужика воблу. Жалуется мужику:

— Не дойдешь до памятника... Озимые, что ли, сеют?

— Какие, на хрен, в степи озимые? — откликается мужик.

— А зачем же распахали?

— Так золотого коня ищут. Хан Батый где-то тут закопал, — словно несмышленишу, отвечает мужик режиссеру, не объясняя, как само собой разумеющееся. Как будто это было вчера.

## Про девочку Лялю

Развод — это, когда ты возвращаешься домой из школы и видишь, что у твоего подъезда стоит грузовик с открытым верхом, а в — во весь рост — зеркальный шкаф, тот самый из родительской спальни, который ты помнишь чуть ли не с первых дней жизни, и своё отражение год за годом.

Вот ты и доросла до школы, и пошла в первый класс, и отучилась уже несколько дней, погожих сентябрьских, и в твоём портфельчике лежат необходимые школьные принадлежности, и ты предвкушаешь, как придя домой, расположишься в кабинете за письменным столом, положишь перед собой тетрадку — сегодня велено исписать целый лист косыми палочками, перьевой ручкой, аккуратно, чтобы не допустить кляксу, обмакивая в чернильницу. И вдруг понимаешь, что ничего этого не будет, потому что во дворе стоит машина, гружёная всяким домашним скарбом, два незнакомых дядьки забрасывают в кузов последние тюки, несколько соседок с ребятами в сторонке наблюдают за происходящим, а навстречу бежит домработница с криками: «Быстрой, Ляля, быстрой! Садись к бабушке в кабину, я с грузчиками — к вещам, мать с сестрой и котом уже уехали. Да шевелись ты, не то отец подоспеет, скандал устроит!» И ты с портфельчиком в распахнутом пальтишке и в съехавшей с головы шёлковой маминой косынке второпях пытаешься залезть на высокую подножку, нога в туфельке на плоской подошве соскальзывает и железный край больно бьёт по коленке, из глаз брызжут слёзы, а двор оглашается рёвом. В ту же секунду водитель подхватывает тебя под мышки и передаёт с рук на руки бабушке, захлопывает дверцу, сам садится рядом, и машина трогается с места...

Ещё больнее было, когда я ударилась подбородком о канализационную трубу, соскользнув с высокого отвала глины

в канаву, вырытую возле нашего дома пленными немцами. Я захлебнулась бы холодной жёлтой жижей, если бы один из них не вытащил меня и не отнёс домой, под причитания не доглядевшей за дитём домработницы. И пока меня, дрожащую, орущую благим матом, отмывали от грязи и крови в тазу на кухне, я краем глаза видела, как мой спаситель жадно улетает из глубокой тарелки суп с плавающим огромным, по моим понятиям, куском мяса. К счастью, косточки мои оказались целы.

Тогда я была совсем маленькая, мне было всего пять лет, а вот сейчас «мы едем, едем, едем в далёкие края», но весёлую песенку про соседей, друзей и кота распевать во весь голос почему-то не хочется, правда, я больше не плачу, вытираю мокрое лицо концами косынки. Обласканная бабушкой, окончательно успокаиваюсь и смотрю в окошко. Едем мы не так уж и далеко: с одной окраины Москвы переезжаем на другую. Я знаю, что родители мои развелись, что мама вышла замуж во второй раз, что у нас со старшей сестрой теперь будет отчим. Но сестра, как говорят, может вскоре выйти замуж и устроить свою жизнь, «а вот Лялька... бедная Лялька!»

Сама я нисколько не чувствую себя бедной и несчастной, наоборот, будущая жизнь представляется мне интересной, а главное, свободной. Мне не надо будет больше слушаться папу, вспльщивого и неуравновешенного, так говорят. Достаточно одной мамы, никогда ни на кого не повышающей голос, к тому же появятся новые заботы, месяца через два, с рождением ребёночка, пока неизвестно — мальчика или девочки, я очень хочу, чтобы — мальчика. Домработница уже объявила, что съезжает от нас, не представляет себе, как это все мы, после отдельного жилья из нескольких комнат, будем ютиться в одной, и забирает кота. Это замечательно! — от его когтей у меня вечные царапины на руках и ногах. И как же здорово, что мы все теперь будем спать в одной комнате! Бабушка остаётся с нами, говорят, из-за меня — «жалко Ляльку», хотя могла бы жить с семьёй сына или другой дочери, да нет — меня она никогда не бросит, моя бабушка, самая необыкновенная бабушка на свете. Обо всём этом я думаю дорогой в машине, которая неожиданно останавливается перед одним из подъездов двухэтажного оштукатуренного, крашеного в жёлтый цвет дома, мало чем отличающегося от только

что покинутого нами. Водитель открывает дверцу и я, забыв о недавней травме, спрыгиваю с подножки и вижу разорванный чулок, намокший от крови и присохший к моей коленке. Зато не больно. Взрослые разгружают мебель и остальное. И точно так же, как в старом дворе, за происходящим наблюдают соседи и местные ребяташки.

Про меня забыли, я чувствую себя одинокой, неуклюжей, боязно сдвинуться с места. Стою, прислонившись к широкому шершавому стволу дерева, хочется вжаться в него и стать невидимой, но при этом самой видеть и прежде всего детей, ведь они станут моими новыми друзьями. Неплохо бы познакомиться с девочкой, такой же как я, она аппетитно ест сливы, доставая их одну за другой из железной кружки. Сливы большие, чёрные, наверное, сочные и сладкие, я облизываю пересохшие губы, она протягивает мне кружку: «На, ешь!» Положив в рот сразу две сливы, я так неловко выплёвываю обе косточки, что они прилипают к длинным концам моей косынки, да так и остаются висеть, что вызывает смех у двух карапузов рядом. От обиды и бессилия что-либо изменить глаза мои наполняются слезами, но к нашей стайке стремительно подходит высокий военный в полковничьей папахе — отец девочки со сливами, — и гладит меня по голове.

И вот тут я впервые горько расплакалась, поняла, наконец, что мой папа больше никогда не приласкает меня, не посадит к себе на колени, не скажет: «Умница ты, моя красавица, Хельга!» Настоящее имя — Ольга, которое сам для меня выбрал, — он произносил на немецкий манер. Маме это не нравилось, а бабушка говорила, что нашу Святую Равноапостольную Великую Княгиню Ольгу, в честь которой меня крестили, изначально звали Хельга. Возможно, во всём этом крылась какая-то давняя, неизвестная мне история. В обычной жизни для всех домашних я была — Ляля. Кое-кто из соседей, чтобы досадить маме, называл меня, бойкую девчонку с карими глазами и вьющимися тёмно-русыми волосами — «цыганка-Ляля», но я не обижалась, казалось лестным, что меня ставят рядом со знаменитой цыганской певицей — Лялей Чёрной. Мне нравились оба мои имени, но превыше — Ольга. Так я и назвалась новым своим друзьям.

Со следующего дня у меня началась другая жизнь, я призывала к ней не то, чтобы мучительно, но болезненно. Труд-



нее всего было смириться с тем, что я перестала быть центром внимания — все занялись своими делами, я чувствовала себя неприкаянной, но постепенно это прошло, и я снова обрела присущую мне уверенность. Новая жизнь набирала обороты.

Родился братишка, я пошла в новую школу, стала студенткой сестра, мама — врач-хирург, после короткого декретного отпуска вернулась на работу в Госпиталь, отчим по долгу службы часто выезжал в командировки во все концы Советского Союза, и мы всегда ждали его возвращения с большим чемоданом, набитым всякой всячиной. В его отсутствие приезжала гостить наша бывшая домработница, теперь — работница завода, получившая казённую жилплощадь. Время от времени появлялись в доме и сменяли друг друга няньки-помощницы, ими руководила бабушка, ей приходилось трудно, но я тогда этого не могла понять. Дом наш, несмотря на тесноту, привлекал к себе окружающих не только гостеприимством и дружелюбием, но некоторой бесшабашностью сиюминутного таборного существования — родственники, соседи, друзья по работе, по учёбе или по двору — кого не перебывает за день?!

Если мама возвращалась с работы не поздно, мы с бабушкой шли гулять по улочкам нашей Останкинской окраины, как раньше прогуливались по окрестностям Преображенки, и однажды встретили такую же пару — бабушку с внучкой. Познакомились. Оказалось, что девочку зовут — Ляля, и более того — она тоже — Ольга! Родители назвали дочь — Ляля, так и записали в свидетельстве о рождении, но в церкви этим именем Батюшка младенца крестить не стал, а предложил на выбор несколько других, и в их числе — Ольга.

Мы узнали, что живут они здесь недавно — построились, переехав из другого города, что мы с Лялей — одногодки, только учимся в разных школах, что отец девочки — офицер в чине майора, а мама — медицинская сестра, и что в их семье произошло пополнение: месяц назад у Ляли появился младший братик. Мы распрощались возле их дома, частного одноэтажного за таким низеньким забором, что даже мне не составило бы труда открыть щёлочку на внутренней стороне калитки. Именно это я и делала буквально со следующего дня много-много раз, получив приглашение приходить

играть к Ляле. С первого взгляда я влюбилась в эту девочку — голубоглазую и светловолосую с открытым, ничем не примечательным личиком, но подсвеченным какой-то внутренней улыбкой, и отсвет этой улыбки падал на окружающих. Что-то подобное высказала моя бабушка, обладающая сильной интуицией, она как бы благословила нашу дружбу.

В доме Ляли мне нравилось — уклад, немного похожий на тот, которого я сама не так давно лишилась, приветливые, всегда ровные отношения между членами семьи, уютная мама, не разрывающаяся между детьми и работой, и конечно — папа, большой, добрый, всегда готовый принять участие в наших с Лялей играх. Как-то, в праздничный день, наверное, он вышел на улицу в парадном кителе с орденами и медалями, и тогда мне показалось, что это мой папа. Правда, у моего отца — лётчика-испытателя, парадным был белый китель, тоже со всеми наградами и знаками отличия, на прогулках он всегда крепко держал меня за руку, и я гордо шагивала рядом, но так было раньше. Теперь чужой папа держал за руку свою дочку, а мне оставалось только любоваться этой замечательной парой. Я и любовалась, но при этом завидовала. Да, завидовала моей любимой подружке Ляле, у неё было то, чего у меня не было. Знала, что завидовать — плохо, но ничего не могла с собой поделать.

Детское сердце открыто для любви и закрыто для ненависти, но в нём может поселиться зависть, и тогда оно разрывается от боли. Ляля ни о чём не догадывалась, а я старалась изо всех сил подавлять в себе это недостойное чувство, стала реже бывать у неё и чаще вызывала к себе поиграть с нашими дворовыми ребятами в «штандер», «казаки-разбойники» или в «разрывные цепи».

Потом наступило лето, и подрастающее поколение нашей большой родни, сопровождаемое бабками-няньками, вывезли в Подмосковье на очередную съёмную дачу, где была своя, не похожая на городскую, дачная жизнь, продолжающаяся до сентября. А когда начался новый учебный год, и я уже подумывала наведаться к Ляле, к нам пришла бабушка и сообщила, что сын получил назначение в военный гарнизон, расположенный на территории Германской Демократической Республики, и молодые с детьми отбыли туда на пять лет, но следующее лето, Бог даст, Ляля проведёт с ней, и вот уж тог-

да обе Ляли-Ольги наговорятся, нагуляются и наиграются... Значит, придётся ждать целый год, чтобы встретиться...

У нас в семье произошли изменения — сестра, как и предполагали, вышла замуж и переехала к мужу, живая очередь, состоящая из временных няnek, иссякла — брат подрос, его определили в младшую группу детского садика, с хозяйством справлялась бабушка, я — всегда на подхвате. Ушла излишняя суета, но в доме по-прежнему скучать не приходилось, кто-нибудь да гостил с утра до вечера, а там и с вечера до утра. Я занялась танцами и всерьёз подумывала о поступлении в балетную школу при Большом театре, а пока отплясывала «Чешскую польку» в составе детского школьного ансамбля на сценах заводских клубов и домов культуры нашего района, куда нас привозили на специальном автобусе вместе с настоящими артистами. Больше я получала положительных эмоций от той жизни, которая у меня была в настоящий момент, в середине пятидесятых годов XX века. Сожалеть о старом не было времени, а задумываться о будущем я не умела.

Будущее сводилось к предстоящей встрече с Лялей, и я, после майских праздников отправилась в знакомый, почти родной дом. Ничего не изменилось — та же калитка, та же щеколда, посыпанная песком дорожка, ведущая к ступенькам крылечка, крашеная белилами дверь. Меня вдруг охватило волнение. Постучать или потянуть за ручку? Я выбрала второе. Внутри было темно, тихо и жутко. Возникло желание убежать, но я заставила себя пойти на свет, проникающий из полуоткрытой двери комнаты. За столом на стуле, подперев голову руками, спиной ко мне сидела бабушка. Не изменив позы, она спросила: «Кто здесь?» Неожиданно громко для себя, я сказала: «Это я, Ляля!». Бабушка вздрогнула, резко поднялась и сделала шаг навстречу: «Здравствуй, Лялечка! Как ты выросла. Спасибо, что зашла... Тебе не надо приходить сюда больше, наша Ляля умерла».

— У м е р л а ?.. Едва слышно выдохнула я и бросилась вон из дома.

Весь остаток дня я рыдала. У меня опухло лицо и шея, пропал голос, я не могла повернуть голову. Бабушка была в отчаянии, видя меня в таком состоянии, мама дала успокоительное и обернула шею компрессом. Лицо за ночь вернулось в норму, и на следующее утро я пошла в школу.

Позднее стали известны некоторые обстоятельства смерти Ляли. Она погибла от пули бывшего немецкого солдата, просто за то, что была дочерью советского военнослужащего. Трагедия произошла в саду дома, предоставленного семье для проживания.

Долго я испытывала чувство вины за случившееся. Как могла я завидовать этой девочке, которой так мало было отмерено в жизни?! Позже чувство вины сменило жгучее чувство стыда, а позднее пришло глубокое осознание того, что каждый проживает свою жизнь, и никому нельзя словом или делом, или помыслом затрагивать чужую, какие бы испытания не выпадали на его долю.

Марина Анашкевич

*Посвящается моим родным*

## Лоскутное одеяло

У Саши Пушкина была няня, Арина Родионовна. А у меня — белорусская бабушка Оля, тоже неродная, вторая жена дедушки и мачеха папе. Сказок она не сказывала, только раз заговорила меня, когда, напуганная ночью крысой, я стала было заикаться. Бабушка поставила меня в таз с водой, хлопнула по спине веничком из трав и что-то шепнула. Что именно, не помню, но заикание прошло сразу и без следа. Каждое утро она приносила мне горсть земляники из леса и ещё пекла оладьи из картошки — драники, а я, уплетая их за обе щёки и запивая молоком, обещала — когда вырасту — помогать ей доить корову, рубить свекольную ботву свиньям (храпки) и полоть злющие колючки в огороде. И с опаской поглядывала на её босые ноги с выпирающими косточками возле больших пальцев. Бабушка не мешала помогать ей помоему, когда я рвала георгины в палисаднике и плела венки из золотых шаров для телёнка, вешая ему на шею. Телёнок не возражал, рожки его едва пробились — твёрдые, тёплые...

Укрывалась я лоскутным одеялом, сшитым бабой Олей. Я обнаружила там всего понемножку, в пестрой картине одеяльного мира таились яркие, светлые и тёмные краски. Каждый лоскут выделялся по цвету, плотности, форме и размеру, но все вместе слагались в праздничное салютование. Жизнь была из одеяла ключом. Ещё бабушка вязала из лоскутков круглые плотные коврики-солнышки. Мои ступни до сих пор помнят их домотканое тепло. Одеяло же было целой Вселенной: я помню цветы, зверей, геометрические фигуры и странные узоры, в которых проглядывали морды страшилищ... Оно казалось живым. Помню и чёрный, абсолютно чёрный квадрат, который всегда оказывался в ногах. Одни картинки притягивали больше — к примеру, олени на водопое, другие меньше, но читать одеяло стало любимым занятием, таким

же, как чтение луга и леса за домом, живности в прудике у бани, августовского звёздного неба... Звёзды подмигивали в щели сарая, доверху забитого сеном, заготовленным дедушкой Звёздочке — да, да, именно так звали корову-маму. Так что спали на сеновале под самой крышей. И Ковш, который только и был знаком мне тогда, всегда находился с левой стороны дома — что он «вертится», выяснилось позже. Под открытым небом звёзд было так много, невыносимо, до того много, что от их света хотелось плакать... казалось, они проникали во все поры тела, и оно изливало ответные лучи...

За бабушкиным огородом простирался луг — цветастый и звонкий, весь в бабочках. Там я изловила невиданную саранчу — в красно-белую крапинку. Сидела, зажав ладонью в траве, на солнцепёке, битый час, пока не вернулся с озера папа, с белым полотенцем на плече. Пальцы разжать я боялась. С помощью папы страшилище оказалась в жестяной банке из-под леденцов, при этом мне было сказано: «Поиграй и отпусти, доча». Саранча билась о крышку, потом затихла, но я не решалась даже заглянуть внутрь — боялась своей пленницы, а потом забыла про неё. Банка вернулась в Москву, и время спустя была-таки приоткрыта... Вот ты каков, тлен...

Под иконой у бабушки висел календарь, каждый день от него отрывали листок и ближе к осени он худел. С тех пор одна дата в календаре смущает мою душу: 30 августа, когда мама с папой укладывали вещи, багажник заполнялся банками с грибами, вареньем, отборными яблоками, а бабушка с бабушкой, во владениях которых было это несметное богатство, скромно стояли возле машины, не противясь желанию отца сфотографироваться на прощанье — мы возвращались в город... Вот я стою — там — с двумя рыжими котятками на руках — тощая, загорелая... Один из котят, царапаясь, вырывается из моих рук, не желая смотреть, как «вылетит птичка». На лице грусть, будто знаю, что в тот год умрёт бабушка, и папа, схоронив его, больше не повезёт нас в Орехово, и что вернусь сюда лишь через тридцать с лишком лет, одна, и не смогу сдержать слёз, увидев наш Дом в самом конце деревни — стоит, как всегда, только сменил цвет: с зелёного на жёлтый...

Увижу, что на могильных памятниках бабушке и бабушке пустые овалы под фотографии, а самих фотографий — лиц —

нет... Как же так?.. Последний из сыновей бабушки с дедушкой, самый младший, а мне дядя Коля (родившийся, когда дедушке было под шестьдесят) достанет семейный альбом, и время побегит вспять... Мы отберём фотографии, где бабушка с дедушкой помоложе. Я попрошу его показать мне те две огромные сосны, к которым папа привязывал гамак, а мы с сестрой Людой качались в нём, с хохотом перекручиваясь в верёвочной сетке... Сосны стоят на месте, правда, не такие большие почему-то. Коля любит сосенки: мы с ним ступаем как раз по тому месту, где был когда-то бабушкин огород, но теперь нет и следа его, зато есть маленькие сосны, посаженные дядей, — бор стал ближе к нашему дому, стоящему неподалёку от леса и песчаного карьера, испещрённого дырочками ласточкиных гнёзд. И вот я стою там, наверху, на изготовку — одно из звеньев в цепочке пацанов и девах, — колёнки ободраны до крови, две растрёпанные косички... Сцепившись руками, мы вот-вот сиганём вниз, в тёплый песок, который везде — на зубах, в трусах, в волосах... «Даже в бровях...» — укоряет мама, следя, как умываюсь, а бабушка защищает: «Нехай девка балуется...» Дедушка молча отбивает косу, привычное для него занятие. Так и помню его с той косой, в неизменной серой кепке; сбегав с лестницы, приставленной к душистой копне, выпаливаю скороговоркой: «Доброутродеда!». Деда Сафрон кивает, не отрываясь от дела — сенокос... Так же молчаливо он сидит в лодке с удочкой — дедуля, а помнишь того огроомного леща, которого ты с гордостью нёс по деревне? Он один перевешивал твой улов за неделю. Тогда же я напоролась на гвоздь и прыгала на одной ножке, не столько от боли, сколько демонстрируя «смертельную» рану... Помню даже, какую карамель ты любил и каждый раз заказывал, когда твой средний сын Саша, мой отец, навещался в районный центр (а старшего сына, Павла, убили на войне, и почти сразу, сгорев от горя, умерла твоя первая жена Пелагея, родная моя бабушка. Всё, что осталось мне — лица на фотокарточках). Ах да, конфеты... Мне же довелось лишь положить те конфеты на твою, дедуля, могилу — надо же, их до сих пор выпускают для сластен. А папе... в папину могилу положила землицу, что копнул для меня Коля, возле Дома солнечного цвета... А ещё... помнишь, деда?.. Когда я сказала, смеясь: «Дед, да ты такой старый... из

тебя песок сыплется, вот ткну тебя пальцем, ты и развалишься!» Ты же молча взялся за притолоку и подтянулся на руках раз, два, пять...

Я беру свои слова назад, дедушка. Бабушка, обними за меня тёплую Звёздочку. А рыжего Дзикуна — так звали того цап-царапыча — больше не стану подстерегать и вылавливать, чтобы приручить: нехай балуется... Да, и банка — та, жестяная, куда не проникал ни воздух, ни свет... она не пуста, а полна леденцов-самоцветов. Кузнечик в красно-белую крапинку пасётся на бабушкином одеяле — интересно, а чувствует ли саранча, что глажу по нагретой солнцем спинке?



## Тишина

К громким голосам над ухом, топоту, свисту, разнообразным стучалкам, трещалкам и другим шумам я привыкла с раннего детства. Все были едины в порыве оглушить ребенка внезапным звуком. Объяснение простое и серьезное, даже более чем: боялись, почти уверены были, что родился глухой ребенок, — мои бабушка и дедушка, папины родители, были глухонемые. В бедной многодетной семье деда из шести детей только один был говорящий, а бабушка безвозвратно потеряла слух в раннем детстве, переболев тяжелым менингитом. Не стоит говорить о том, что мамина мама категорически возражала против кандидатуры моего отца. Она так и говорила: «Ваша кандидатура нам не подходит. Вы свободны».

Бабушка много брала на себя, но речь шла о счастье ее единственной дочери, она подняла ее сама, без какой-либо подмоги со стороны. Все, все — сама, она и лошадь, она и бык. В переносном смысле, конечно, в контексте городского быта — все тяжести на своих плечах тянула, ниву жизни сама пахала. Никто не рвался ей помогать, побаивались крутого характера и категорических суждений — она всех учила уму-разуму, не принимала никаких возражений, и чуть что не по ней — порывала отношения, безжалостно и непоправимо. «Дело сделано — назад не воротишь. Все!». Короткий взмах руки, сжатой в кулак. Сколько раз это было сказано, она не считала и назад не оглядывалась. Счастливое будущее дочери — главная цель, все остальное постольку поскольку, ни с чем и ни с кем не считалась. Безоговорочное послушание дочери было гарантией бабушкиного успеха.

Она так привыкла к этому, что почти не замечала дочь, только фиксировала главные вехи: родилась живая, доношенная, без отклонений от нормы — плюс; рано начала ходить и читать — плюс; лучшей ученицей в классе была по всем

предметам и по прилежанию — плюс; одна на два класса окончила школу с золотой медалью — плюс; в университет поступила на биофак по собственному призванию, при одобрении матери — плюс; в аспирантуру пригласили сразу по окончании — плюс... кандидатом станет, затем доктором — плюс; замуж выйдет не за молодого подающего надежды ученого, мало что как сложится, а за умудренного жизнью профессора — плюс; родит со временем здорового доношенного мальчика, потом девочку, они рано начнут читать, в школе будут отличниками — плюс... плюс... плюс... Увлекаясь, она мысленно ставила плюсы в своем кондуите и была вполне довольна.

Все ее понятия о жизни были старомодными и ветхими, чтобы не сказать — замшелыми. Но ее это ничуть не смущало. Все современные веяния встречала в штыки — в поведении, моде, политике, не принимала новую музыку, театр, книги. Любимая певица — Русланова: «Валенки, валенки...»; любимая артистка — Алла Тарасова: МХАТ, «Анна Каренина»; любимая книга — «Как закалялась сталь» Николая Островского: «жизнь дается человеку один раз...». Ей этого вполне хватало. Ни шагу вперед. Главное — прожить жизнь так, чтобы не было мучительно стыдно! А что стыдно, что не стыдно — свои представления имела. И дочке внушала, и, казалось ей, на благодатную почву семена ее просвещения падали. Так и жила в согласии с собой и в будущее заглядывала без опаски.

Крах наступил ее внезапно. Это был гром среди ясного неба — мама вышла замуж за папу. Буквально переступила через бабушку — та легла на пороге квартиры, твердо сказала: «Только через мой труп!». Смертельный номер — последний убийственный аргумент, без преувеличений — убийственный. Такое унижение она испытала впервые в жизни, но, закрыв глаза и стиснув зубы до боли в скулах и нестерпимой ломоты в висках, ждала — сработает... Дверь закрылась с оглушительным стуком, показалось, лопнули барабанные перепонки, и она оглохла. Окутанная ватной непроницаемой тишиной с трудом поднялась, почти в беспамятстве обошла всю квартиру, в каждый уголок заглянула, за шторой поискала, под столом, в узкой щели между буфетом и стенкой, и в чулане под полками, везде, где дочка пряталась в детстве. Искала долго и шептала с натужной улыбкой «я иду искать... кто не спрятался...». Никого не нашла. Осталась совсем одна,

и когда «скорая» повезла ее в больницу с подозрением на инфаркт, некому было сопровождать ее. «Печальный конец», — подумала она и закрыла глаза.

Нет, не конец. Продолжение следовало.

Мама умерла родами. Врожденный порок сердца. Бабушка его пропустила, он не вписывался в ее положительную программу — в кондуйте должны стоять только плюсы.

Прощаться пришли многие — родственники, школьные подруги, однокурсники, соседи, сослуживцы. Шептали, отводя глаза от гроба: «На себя не похожа... будто подменили...». Маму, правда, трудно было узнать — бледная, губы сиреневосиние, волосы некрасиво убраны со лба назад на прямой пробор, она так никогда не носила, лицо сделалось отчужденным и строгим, как у бабушки. Отъединилась от всех — не прощала, не просила прощения, не прощалась. Не до того ей было.

Пока врачи пытались запустить сердце, душа легко отлетела, будто сбросила тяжкие путы, и поплыла в глубь и в даль бесконечного космоса. Так уже бывало с ней в сновидениях — блаженство без берегов и границ. Это мгновение ее утасоющая память выделила последней вспышкой — она обернулась на слабый зов: ма-ма! ма-ма! — и увидела маленький сморщенный комочек в руках акушерки. Мальчик? Девочка? У врачей сомнения были и отсюда издали не разобрать. Рванулась назад из невесомости — в поле земного притяжения. Сплющилась, попыталась вернуться в тело, распластанное на столе, не получилось, будто оно мало ей стало, руки-ноги не поместились. «Время смерти ноль часов тринадцать минут» — сказал чей-то усталый голос. И ребенок всхлипнул: ма-ма...

Плакали все, даже мужчины. Не плакала только бабушка. Стояла поодаль от всех, обособленно, низко-низко склонив повинную голову, шептала: «не остерегла я тебя, не уберегла... не уберегла, не остерегла...». Руками развела в бессилии, колени подогнулись, ноги заскользинее тоже не было. Так я ее и не увидела.

Я и маму свою не видела.

Мама умерла родами — это я знала с детства, не понимая смысла. А что родила меня и умерла — поняла потом и ужаснулась: это я, я убила мою маму. Я виновата! Если бы не я, она бы жила с папой, защитила бы диссертацию — кандидатскую,

докторскую, бабушка обвела бы кружочком два плюса в своем кондудите, они бы помирились и жили-поживали, все как-то притираются худо-бедно. Это я в юности так рассуждала, казалось, по-взрослому, набралась кое-чего из книг, кое-чего — там, сям, при детях обо всем говорят, не стесняясь, умишком, думают, не доросли, не поймут. Я вслушивалась, вникала, пыталась смириться. А внутри все кипело и рвалось наружу.

Ничего уже нельзя изменить, непоправимое случилось до моего появления на свет.

Только я одна знаю, как все было. Мы двести семьдесят один день с мамой неразлучны были, почти тридцать девять недель, все общее, все на двоих — ни я без нее, ни она без меня. Она и разговаривала со мной, и пела, и танцевали вместе под тягучую долгую музыку. И гуляли вместе, и витаминны ели, и взвешивались на весах раз в неделю. И плакали вместе. Я сразу знала, когда она плачет — мне холодно делалось, вертелась, кувыркалась, чтобы согреться, она живот обеими руками обхватит и покачивается из стороны в сторону, будто баюкает меня. Я и засыпала. А она продолжала плакать. Все плачет и плачет, уже все извелись рядом, терпение полопалось. А она все плачет, бедная мама моя. Папа избегать ее начал, даже спать с ней рядом перестал и понапрасну — она, прижавшись к нему, утешалась на короткое время, и мы ненадолго проваливались в чудесный сон. Поводырем во сне была я, мама послушная, тихая, нежная плыла за мной легко, весело, свободно, все радужно светилось, играло и пело под тягучую, долгую, знакомую музыку.

Во сне я расту, неделю за неделей мы прибавляем в весе, врач-гинеколог делает какие-то пометки в карте, стараясь за улыбкой спрятать тревогу. Плод развивается нормально, беременность протекает спокойно, все анализы хорошие, а тревога нарастает по мере приближения к сроку — девочка решила рожать, несмотря на категорические запреты врачей. Губы порозовели, щеки округлились, живот ей очень к лицу и обнимает его осторожно, бережно. А прогнозы самые неблагоприятные, две жизни приближаются к переломному рубежу, начало и конец сблизилась на опасное расстояние. «Помоги им, Господи! — проговорила про себя умудренная долгим профессиональным и жизненным опытом врач, законченная материалистка и безбожница. — Помоги!».

Мама плохо спит, и я веду себя беспокойно — мне из моего укромного места все видно. И слышу каждый звук.

Папа стал кричать на маму, просто так, без всякого повода. Даже когда она не плакала. Мамин голос я не слышала, наверное, она перестала с ним разговаривать. А он остановиться не может: все, кричит, у меня было хорошо, пока не женился на тебе, права, кричит, твоя мать — я не твоя кандидатура. Не твоя, кричит, кандидатура. Четко артикулирует, словно с глухонемой разговаривает, у него с родителями такая привычная манера была с детства. И кончик носа подергивается. Раньше такого не было. Все изменилось. Я еще помню, как папа поглаживал мамин живот, ласкал его губами и прикивал ухом, замирал. Слышу! — вскрикивал, и радостный такой, счастливый. И оба смеялись, потому что им хорошо вместе. И мне с ними хорошо, хоть еще не умею смеяться.

Теперь нас отправили на неопределенное время к глухонемым родителям отца, моим бабушке и дедушке, в город Харьков. Маленький домик на окраине, оштукатурен и белой известью крашен, крыша новая, красная черепичная, внутри чисто и тихо, ни звука не слышно. А вокруг большой вишневый сад, и вишня как раз поспела, и варенье сварено, и компоты накручены. Бабушка Соня бесшумно хлопочет, дедушка Даня читает газету, мама сидит в гамаке под вишней, на коленях миска, полная спелых ягод, она ест одну за одной, слизывает сок с пальцев и улыбается — вкусно... Глухонемые бабушка и дедушка тоже улыбаются.

Мама чувствует себя хорошо и не плачет.

Лето кончается, задули холодные ветры, падают листья, по ночам идут дожди, день быстро убывает. Дедушка стал подтапливать печь. Вечера коротают в доме, тепло, уютно, пьют чай с вишневым вареньем, мама научилась беззвучно разговаривать с глухонемыми. Тишина, только потрескивают дрова в печи. Неожиданно приехал папа, привез маме теплый длинный мохеровый жакет, бабушке и дедушке деньги. Бабушка хотела его поцеловать, он уклонился, дедушка отвел ее за руку в сторону. Они больше не улыбаются, бабушка со страхом и обожанием смотрит на папу, дедушка тревожно и ласково на нее. Папа своим вторжением нарушил мир и покой вокруг нас. Расколос тишину. Может быть, без злого умысла — кто возьмется судить?

Мама сидит в гамаке, кутается в бабушкино старое байковое одеяло и, кажется мне, вот-вот заплачет. Лучше бы нам здесь остаться.

В Москве маму положили в больницу на сохранение, в палату тяжелых патологий. В палате еще три женщины, у каждой своя тревожная история болезни и за больничным порогом — свои беды, проблемы и радости. Наперебой рассказывают, преимущественно жалуются, так, на всякий случай, чтобы не взглянуть, что есть хорошего, — кто больше на свекровь, кто на мужа, кто на жизнь в целом, по полной программе, о детях плохо не говорит никто, дети — святое, за них и жизнь отдать можно. От безделья и чтобы заглушить тревогу, языки точат с утра до ночи без отрыва от уколов, еды и других мероприятий по распорядку дня. И упоенно рассматривают фотографии, сами не налюбуются и нарочито посмеиваясь, показывают: «Мой-то, мой, смотри — пузатый... лысый... красавец» (у кого какой). Посмеиваются, поругивают, но: «Мой-то, мой...». Оно понятно — пусть плохонький да свой. Однако же главная тема — дети, у кого есть уже, у кого, помощи Господи, первенец будет. Перед сном — только об этом, и вслух, и про себя, как молитву, каждый своими словами. Мама молчит, чужие фотографии не смотрит, свои не показывает, в палатной жизни никакого участия не принимает, обнимает меня обеими руками и молчит, хорошо не плачет, успокоительные уколы сдерживают. На нее поглядывают косо, не пришлось ко двору, не своя, хоть тоже беременная, с угрозой для жизни.

Мужья приходят ко всем, к кому чаще, к кому реже, го-стинцев приносят на всю палату, так заведено. Папа появляется редко, с недолгим «докторским» визитом, целует маму в лоб, коротко спрашивает, как дела, ставит на тумбочку банку вишневого варенья, три апельсина и уходит, ни на кого не взглянув. Тоже не свой.

Чужим не свой и маме не родной, так повернулась их любовь. Или они ошиблись, приняв за нее юношеский порыв к самостоятельности, к самоутверждению. Я часто об этом думаю, хочу понять, реконструирую прошедшее, со мной и без меня. И отчетливо все вижу, слышу, осязаю — так, так все и было, мне такое не придумать.

Мама: Я — сама!

Папа: Я — сам!

Оба рвались.

Он: от своих глухонемых родителей, жалел их и стыдился, домой, когда вместе жили, никого не водил с детства, в школу ни мать, ни отец сами не ходили — глухие и сказать ничего не могут. От гулкой тишины в доме ему порой начинало казаться, что он сам глухой. Как сирота проучился десять лет, с отличием окончил школу и уехал в большой город, стремглав, без оглядки.

Она: от своей непреклонной и строгой мамы — ни шагу влево, ни шагу вправо, только вперед по шпалам, дорога давно проложена.левой, правой, шаг держать и лучше с песней — «нам песня строить и жить помогает...». А она любила совсем другую музыку, внутри себя ее слышала и, запрокинув голову кружилась медленно, плавно, раскинув руки, как птица в поднебесье.

Устали оба, прилипли друг к другу, как противоположные полюса магнита, свобода пригрезилась и что-то еще, смутно сознаваемое на пороге большой жизни. Они о ней толком ничего не знали, каждый имел свой ограниченный начальный опыт. И тот оказался не по силам.

На один поступок у обоих хватило духа — пожениться.

Он рвался назло судьбе, которая такую злую шутку сыграла с ним — нормальным родился у глухих родителей с генетическим отягощением со стороны отца. Эту мину замедленного действия он нес в себе. Он хотел быть как все, но не мог избавиться от комплекса своей неполноценности, ни успехи в учебе и науке, ни красный диплом и авторские свидетельства на новейшие разработки в области биохимии — ничего не меняли, внутренний, ничем не заглушаемый страх не покидал его никогда. Беременность жены окончательно выбила его из колеи, чека сорвана — если ребенок родится глухим, он не сможет жить. А женился зачем? — никто у него не спросил, никто не призвал к ответу. У него и не было ответа, только вопросом на вопрос: «За что мне такое испытание?». А ни за что. Как всем на этой земле, ни больше, ни меньше, тут своя система счета. Счетовод все знает.

Она рвалась наперекор матери, с одной целью — стать как все, ошибаться, падать, расшибать лоб, и пусть коленки будут перемазаны зеленкой, а колготки с дырками, она их сама заштопает, ходить в походы и на экскурсии, с классом, а не

с мамой за ручку-под ручку, почти до окончания школы. Это все уже позади, не вернуть. Ей семнадцать лет, она на пороге взрослой жизни, а ничего о ней не знает, ничего. А вот уже институт закончила, ей двадцать два. Училась взахлеб, знаний прибавилось по всем предметам, диплом с отличием — считай уже в кармане. А почти ничего не изменилось: раньше маршрут был пеший — в школу и обратно, время фиксировалось неукоснительно; теперь — на метро с одной пересадкой на Парке культуры, кольцевой, в МГУ на Ленгорах, и обратно. Ни в гости к однокурсникам в общежитие, просто так, почаевничать с конфетами и тортом, ни на предвыпускную вечеринку с танцами и вином. Время по-прежнему на строгом учете. Невыносимо!

Разбежалась, оттолкнулась, зависла в стремительном прыжке, и в мозгах заклинило: все что угодно, хоть замуж за первого встречного. Только бы переступить через свои комплексы. А переступить пришлось через мать, точнее сказать — перешагнуть, не иносказательно, а именно, именно — пере-шаг-нуть. Она этого не хотела, оттого глаза все время были на мокром месте. А когда забеременела и услышала суровый приговор, поняла — ничего исправить нельзя. Все уже случилось. Можно ставить точку. И помощи ждать неоткуда.

Или все же?.. Эй, вы там, наверху! Помогите, милости ради!

Сны у нас с мамой всегда были радужные. А однажды приснилось плохое — зависли на краю бездны, на самом краю и будто кто-то нас в разные стороны тащит, цепляемся друг за друга, а силы уходят... И что странно — мама взлетела, а я упала, выскользнула из нее и упала, больно, страшно, кричу-надрываюсь — я без мамы ничего не умею!.. Ма-ма!!! Кто-то подставил руки.

Долетела мамина мольба до тех высот, где вершатся судьбы, долетела. Я родилась — живая доношенная девочка. Родилась и живу без мамы, с которой мы были неразлучны двести семьдесят один день, почти тридцать девять недель, все общее, все на двоих — ни я без нее, ни она без меня.

Живу без мамы уже двадцать два года.

Трудное было у меня детство. Без мамы дитя сирота, я это по себе знаю, не умом, а горьким опытом и тоской одиноче-



ства, что пришла в этот мир вместе со мной. С первых дней губами маму искала, тыкалась во все стороны, знакомый сладкий запах ловила, ждала прикосновения ее рук, я их запомнила на всю жизнь, ни с какими другими не спутаю. В одиннадцать месяцев заговорила и пошла в одно время. То к одному подойду, то к другому: ма-ма? ма-ма?

Ох, и жалели меня, ох, и жалели! Все — свои, родные, соседские, совсем малознакомые. Наперебой. По рукам ходила. Бывало, предлагали папе — отдай девочку, хоть на время отдай. На что она тебе?

А и правда — на что? Он меня не любил и что со мной делать, не знал. А пока я не заговорила, весь извелся. Топали, хлопали у меня над ухом, свистели, стучали ложками по подносу, ногами в пол, кто во что горазд — проверяли: не глухая ли. Я ни на что не реагировала, ни на какие «агу-агушеньки» не отвечала, и он обмирал от ужаса.

Глухого ребенка надо глухим бабке и деду отдать, сам Бог велел, — опережая события, советовали доброхоты. Тебе, говорили отцу, свою жизнь устраивать надо, молод еще — женись, здоровых детей нарожаешь, в одну и ту же воронку снаряд дважды не падает. Мать не от рождения глухая, есть шанс. Не отзывалась его душа на эти уговоры, надежда не встrepенулась. И крест свой — в моем лице — нести был не готов.

Не знаю, до чего бы он себя довел — до психушки пожизненной или до суицида подручными средствами, но я заговорила. Он глубоко вздохнул всей грудью, с хрустом распрямил спину, будто сбросил горб, выдохнул с протяжным стоном облегчения всю свою муку и два судьбоносных поступка совершил поспешно, одним за другим. Первый: уволил мою няню, только к ней на руки пошла, ни к кому больше, свернулась клубочком у нее на груди и впервые от рождения спокойно уснула, она меня выкормила и на ноги поставила, жалела и баловала, как могла, всего одиннадцать счастливых месяцев выпало мне в детстве с моей няней. И снова осиротела — отец женился. Поступок номер два.

Мачеху звали Люсьен, Люся, Люська.

Для меня — только Люсьен и на вы. «Не тыкай мне, я тебе никто, — сказала. — Я мать свою всю жизнь на вы звала вслух, про себя — по-всякому. Но ты и про себя обо мне дурного

слова не скажешь. Я все слышу, а если услышу...». Мне только исполнилось два года, я ее никак не называла, но на ты. Так закладывалась основа наших отношений.

Люсьен, бой-баба, стихия разрушительной силы: ураган, землетрясение и извержение вулкана одновременно. Ей было тесно в доме, стены мешали, а тут еще я путалась у нее под ногами, не давая размахнуться, разойтись на всю катушку. Она затыкала уши ватными тампонами, чтобы не слышать не к ней обращенное «ма-ма... ма-ма», я ее не замечала, только полные босые ноги с заскорузлыми грязными пятками, ребенком я избегала столкновения с ними, а когда подросла, старалась не попадаться ей на глаза. Стычки всегда заканчивались одинаково — сощурив глаза в щелочки, Люська замахивалась на меня скрученным в жгут полотенцем и шипела, чтобы отец не услышал: «Надоела ты мне, мочи нет терпеть, осточертела, отправлю бандеролью глухим бабке-деду, бесценный подарочек наложенным платежом». Бить никогда не била, пальцем не тронула, отец запретил раз и навсегда, перехватив в воздухе ее руку со скрученным полотенцем: не смей, никогда, сказал, будто гвоздь вбил в Люсьену башку. Подействовало.

Она пугала меня, а я помнила бабушку Соню, дедушку Даню, вишневый сад, белый домишко под красной крышей, их добрые улыбки и благостную тишину вокруг. Зря старалась Люсьен, мне было нисколечко не страшно.

Женившись на Люсьен, отец стал веселым, говорливым, необузданно шумным. Они с Люсьен спелись на два голоса без долгих репетиций — в прямом и переносном смысле. То разухабисто, то слезливо пели, а то и танцы устраивали поздно, за полночь, когда все соседи в доме давно спать улеглись по распорядку, общему для трудящихся масс. Отцу тоже с утра на работу к восьми часам, завлабом в свой НИИ, никогда не опаздывал, работал с упоением, забывая обо всем на свете, даже о своей драгоценной Люсьен. Кто бы подумал, что из него такой разнохарактерный артист получится.

Скандал в их семье был частым гостем, да и не гостем вовсе — постояльцем. Примостился где-то в закутке узкой кладовки или в кухне за шторой и выползал всегда неслышно, исподтишка, когда его никто не ждал. Незванный гость. Хуже

татарина. Ой, хуже! Как ругались, какие жуткие слова говорили, орали как, не по-людски, не по-человечески, то есть.

Маленькая, я забивалась в дальний темный угол, зажимала ладошками уши, зажмуривала глаза и замирала; повзрослев, убегала из дома, на ходу натягивая одежду по сезону. Сердце мое разлеталось на куски и бешено колотилось в каждой клетке. Всякий раз мне казалось — пережить такое невозможно.

А они жили. И любили друг друга. Вот именно — любили. Два сапога — пара. Наорутся, оттопчутся друг на друге, осколки битой посуды в мусорное ведро скинут, одним полотенцем мокрые всклокоченные головы вытрут, над одной раковиной холодной водой умоются, и усядутся чай с вишневым вареньем пить, из гостевых синих с золотом фарфоровых чашек. Люсьен всегда из блюдечка, с присвистом, и отец приучился, пьют, локтями стучаются и улыбаются, того гляди — запоют. В доме светло, уютно. Отлегло, отпустило. До следующего раза.

Я так жить не умею. И мама бы не смогла, я точно знаю. Я чувствую ее рядом и поступаю, как она поступала в предьявленных обстоятельствах. Я их не выстраиваю, они сами складываются так, будто я за мамой шаг в шаг иду.

Родилась живая, доношенная, без отклонений от нормы, рано начала ходить, говорить и читать, лучшей ученицей была по всем предметам и по прилежанию, одна на два класса окончила школу с золотой медалью, хоть и в чужом городе Харькове, в университет поступила на биофак, не только потому, что мама его окончила, но и по собственному призванию... Не подкачала перед строгой моей бабушкой — могла бы и на моей страничке плюсы ставить в своем кондуите.

Один только раз резко отклонилась в сторону — получила паспорт и сразу ушла из отцовского дома. Записку оставила и ушла, когда ни отца, ни Люсьен не было, с одной дорожной сумкой, собранной заранее. Не хотела прощаться. Никто не стал бы меня удерживать, ложиться на пороге, как когда-то бабушка, — ни отец, ни, тем более, Люсьен, нам с мамой не было места в их доме. Вздохнут с облегчением.

Я годы ждала этого дня, крестики в календаре ставила. И он настал — мой День независимости, с большой буквы, как настоящий праздник.

Поехала, конечно, в Харьков, больше некуда. У меня кроме бабушки Сони и дедушки Дани никого не было, ни одной родной души. Всю ночь, лежа на верхней полке плацкартного вагона, смотрела в окно: огни полустанков, свет в окнах домов, почти не видных во тьме, дремучие в ночи леса, поля и перелески, звездное небо — все в моей жизни впервые. В поезде дальнего следования еду впервые, одна, навстречу взрослой жизни. Как там что сложится — неведомо, но первый шаг сделан.

Бабушка и дедушка меня ждали, я с ними все годы тайную переписку вела, письма писала, поздравительные открытки и телеграммы, а они на адрес моего школьного друга отвечали, его мама разрешила, писали редко и коротко — «ждем, дорогая внучечка, приезжай скорее, а то — мало ли что...». Узнал бы отец, убил меня на месте, не раздумывая, что под руку попало, тем бы и убил. «Не заикайся об этом! Нечего тебе там делать! Нет, нет и нет!». Из года в год один ответ на все мои просьбы со слезами и мольбой. Я так хотела в гамак под раскидистой вишней, где мы сидели с мамой. Как в райском саду — мир, покой и любовь. И ангел-хранитель где-то рядом, неслышимый, невидимый, надежный, в любой момент — наготове. Не надо было уезжать.

Может, и приезжать не стоило?

Возвращаться туда, где был счастлив когда-то, — плохая примета. Ничто не повторяется на этом свете. И вернулась я одна, без мамы. И дом, будто в землю врос, маленький, грязный, почти черный. И сад вишневый на сад не похож — несколько чахлах вишневых деревьев без вишен, урожай не собрать, не сварить варенье, да и некому. Они очень постарели. Бабушка Соня почти ничего не видит — запущенная катаракта, а она и не лечилась вовсе, дед водит ее за руку, кормит, моет, по дому делает, что надо, как-никак справляется. Подходит к ней близко-близко и прямо перед лицом пальцами разговаривает. А она его и так понимает, даже если у нее за спиной руками машет, такая между ними связь необъяснимая, неразрывная, не просто сроднились за жизнь — проросли друг в друга.

Все переменялось здесь. Одно по-прежнему, как раньше, — тишина.

Моему приезду обрадовались. Я азбуку глухонемых еще в детстве выучила. Дед меня хорошо понимает, а бабушке переводит по-своему. Два года у них пожила, пока школу окончила с отличием, хоть и на новом месте. Трудно было — учеба, глухонемые дедушка и бабушка, хозяйство. Люсьен меня дома ни к чему не подпускала, не то что берегла или баловала, просто терпеть не могла, когда я рядом, гнала с глаз долой — уйди, уйди!

Здесь все по-деревенски, без удобств, непривычно, а все же как-то управлялась, легка на руку оказалась. Дед был доволен, бабушка Соня улыбалась, разгоняя по лицу добрые морщинки, и одобрительно покачивала головой. Видеть не видела, слышать не слышала, а была рада мне, я это чувствовала. Перед сном заходили ко мне оба, она ладошку шершавую на лоб положит и мычит что-то тихое, умиротворяющее, какую-то свою молитву без слов. Богу слова не нужны, Он и без слов все понимает.

Так жили мы, не тужили. И вечерний чай с вишневым вареньем не пропускали каждый вечер дома под абажуром, запасов варенья на долгие годы хватит. Бабушка Соня из года в год старалась — а вдруг сын с внучкой погостить придет, в уме всегда держала. Надежда угасла, а варенье осталось.

Тут я и приехала, сама, на свои, заработанные деньги. По выходным курьером работала, за няню мою Оляшу, чтобы ей стаж в трудовую книжку шел к пенсии, а то она ходить совсем не могла, ноги распухли и болели. Деньги пополам делили, няня настояла: тебе пригодится, пусть будут, сказала, мало что как сложится, пусть будут, не перечь мне. Я не перечила — и вот пригодились.

Приехала я к бабушке и дедушке — с новым паспортом в кармане, взрослая и независимая. Кому, казалось бы, какое дело. Не тут-то было. Соседка, что справа живет и, под предлогом помощи, старикам забор их, покосившийся, потихоньку двигает, откусывая от них пядь за пядью, по чуть-чуть, чтоб не заметили, они ж глухие, а не слепые — соседка эта добросердечная написала жалобу в жилком поселка: «Внучка, мол, самоуправно вселилась в дом стариков без прописки, а где документ, что внучка? А если самозванка и сжить со свету хочет? Проверить через милицию надо». Как-то так приблизительно. И началось!

Из-за меня на них столько неприятностей свалилось — проверки, проверки, из жилкома, из милиции, по одному и группами, зачем-то обмеряли дом, участок, документы сначала — и все записывали. Жили тихо, никого не трогали, никому не мешали, на чужое не зарились, своим готовы были поделиться до последнего, кому чем могли, помогали — два одиноких глухонемых старика. Но не обошло их зло стороной, не обошло.

Я уехала, конечно, чтоб не мелькать перед глазами злопыхателей, не возбуждать новый вал активных действий. Поселилась в общежитии университета, только в выходные и на каникулы приезжала к ним. Вина моя перед ними не давала покоя, а все же первая любовь захлестнула, как летний ливень, обрушилась внезапно и сокрушительно. Не устояла.

Старшекурсник, генетик, отличник, все девчонки влюблены безответно, и даже кое-кто из преподавательниц и лаборанток. Я и не смотрела в его сторону, мамина история жила во мне, я шаг за шагом прошла ее от начала до конца, не раз и не два. Вот они передо мной идут за руки по Нескучному саду, мама и папа, темнеет, ветер подул холодный, зябкий, она к нему прижалась, чтобы согреться. На лавочку сели, целуются, мама первый раз, и у отца опыт небогатый. Очнулись от протяжной трели милицейского свистка: «по домам, ребята, ночь уже, сад закрывается». Ласковый, пожилой, улыбается, свою молодость, видно, вспомнил под августовским звездопадом — довез на милицейской машине до метро, едва на последний поезд успели. А дальше — бабушка лежит на пороге квартиры, мама и папа в чем в институт ходили, в том и в загс пошли, расписались без цветов, гостей и шампанского, комнату шестиметровую в общежитии получили вне очереди. Молодоженам, как лучшим студентам, на встречу пошли. Комната нежилая, единственное узкое оконце в стену соседнего дома уткнулось, не сразу поймешь — день, ночь, зима, лето. И кровать шаткая, узкая, чужими запахами пропитанная. Тут я и зародилась от неопытности и недомыслия, дитя маминой первой любви. Дальше вспоминать не хочется, сто раз все пересмотрено, передумано, в мельчайших деталях разобрано, а все ворошу и ворошу, будто жду чего-то.

И иду — шаг в шаг, словно боюсь сбиться со следа.

У меня тоже все примерно так случилось: первая любовь, в омут с головой, с закрытыми глазами — первый поцелуй в Карповском саду на берегу харьковской Лопани, регистрация в районном загсе недалеко от университета, без цветов, гостей и шампанского, беременность от неопытности и недомыслия. С той разницей, что за мной никто не следил, никто в угол не загонял, требуя безоговорочного послушания.

Я сама намеренно сделала то, чего делать не следовало: привезла своего любимого к бабушке и дедушке знакомиться. Ни ума, ни дальновидения не хватило понять, какой бедой это может обернуться.

Бабушка Соня была совсем плоха, не выдержала свалившихся на них неприятностей, понять не смогла, смотрела на деда Даню и глазами спрашивала: что это? что? А он и не знал, что ей ответить и как защитить, тоже не знал. Только страдал вдвойне, за нее больше, чем за себя. Они меня не ждали, впервые не обрадовались никак. И к чужому человеку отнеслись настороженно, не поняли, кто и зачем он здесь.

Не состоялось знакомство. И дом не тот, и сад не сад, и тишину заглушает шум строительных работ на соседнем участке. Любимый смотрел на меня недоуменно и укоризненно. Ни слова не произнес, только пожимал плечами и глазами показывал — пойдем отсюда, пойдем. И мне впервые захотелось уйти от них, я даже не поцеловала их на прощанье.

Бабушка Соня вскоре умерла. Следом дед, неделю без нее не прожил.

Отец за неделю два раза на похороны приехал. Глаза бы его ни на что тут не смотрели — всем видом своим показывал. Один только раз увидела я, как он стоит, прижавшись лбом к грязной стене дома, там, где его никто не должен видеть. С дедушкой Даней на похоронах матери словом не обмолвился и в дом не зашел. Майские дни, теплые, ясные — гроб во дворе под старой вишней поставили, а она вдруг зацвела, будто с хозяйкой проститься хотела во всей былой красе. Дедушка Даня смотрел на нее и кулаком вытирал слезы. Не видит Соня, горько думал, как хороша ее любимица и никогда не увидит, а мне без нее — тоже ни к чему. Он мне потом так и сказал, когда сидели вдвоем всю ночь под абажуром без чая и варенья в тишине осиротевшего дома. И что умрет скоро, тоже сказал. Мне бы остаться с ним, а я уехала — замуж вы-

хожу через восемь дней. Почти день в день совпало. Теперь навсегда, не разделить. Да и нерадостным оказалось мое замужество, в самое короткое время выяснилось.

А я и отцу успела сказать, когда с дедом прощались: «Замуж выхожу через неделю». Он внимательно и долго смотрел на меня, потом коротко бросил: «Через мой труп!». И отвернулся. Со смеху можно было умереть от таких слов, если бы не горе. Как в кривом зеркале картинка отразилась.

И получается в этом странном ракурсе, что моя строгая бабушка была права, когда сказала отцу: «Ваша кандидатура нам не подходит». С его кандидатуры начались наши с мамой беды. Мне, по счастью, глухонемота бабушки и дедушки не передалась, но я — проводник опасности, мина замедленного действия теперь сидит во мне.

Это очень убедительно и спокойно разъяснил мне мой муж-генетик с привлечением специальной терминологии и конкретных случаев из практики многолетних наблюдений, даже монографию какую-то показал с таблицами и графиками. Я поверила ему и почувствовала, как страх юркой змеей вползает в меня, скручивается и холодным тяжелым комом замирает в груди — ни вдохнуть, ни выдохнуть, ни слово сказать. Закончив научную часть, он заявил, что я обманула его, не поставив в известность о глухонемых родственниках со стороны отца, поэтому он считает себя вправе подать заявление на расторжение нашего брака и надеется, что я буду вести себя благоразумно. И еще несколько слов на человеческом языке добавил: «Ты должна понимать — мне не нужен глухонемой ребенок». Все сказал, вытер платком взмокшие ладони и лоб. И улыбнулся, будто очередной экзамен на отлично сдал.

Его высокопарные нотации я выслушала молча. Возразить было нечего. Только вопрос на языке крутился: «Вы кто? Я вас не знаю и знать не хочу».

А на другой день узнала, что беременна.

Шаг в шаг, след в след.

Мамины руки обнимают меня, я обнимаю руками свой едва подросший живот, она все видит, моя девочка, и все слышит. Мы дружной вереницей идем за синей птицей...

Маленький домик на окраине Харькова, оштукатурен и белой известью крашен, крыша новая, красная черепичная, внутри чисто и тихо, ни звука не слышно. А вокруг большой



вишневый сад, и вишня как раз поспела — июль...

Бабушка Соня бесшумно хлопочет, дедушка Даня читает газету, мама сидит в гамаке под вишней, на коленях миска, полная спелых ягод, она ест одну за одной, слизывает сок с пальцев и улыбается... Глухонемые бабушка и дедушка тоже улыбаются.

И мы с моей девочкой улыбаемся им. Дом открыт, чисто, уютно, как было всегда. На столе записка от отца: «Прости, дочь...»

Сижу в гамаке, ем вишню, слизываю сок с пальцев... Перечитываю записку отца, всего из двух слов, написанных крупно, по-женски округлым почерком, выдающим характер слабый, истеричный, ранимый... Оглядываюсь по сторонам — не сон ли? Девочка моя услышала мою затаенную тревогу, подала знак — не сон.

И будто в подтверждение — соседка явилась, не запылилась, та, из-за которой вся недавняя буча с проверками завалилась, что подстегнула исход бабушки Сони и дедушки Дани. Заискивающе улыбается и мелко-мелко кланяется: «Ты что ль теперь с нами жить-то будешь? Отец тут марафет навел по полной, как прежде было. То-то же старики породовались бы...». Перехватила мой недоуменный взгляд и попятилась: «Пойду я, пойду, а ты завсегда на меня рассчитывай...». Засеменила к своей калитке, зачем-то сорвала по ходу несколько спелых вишен и в карман фартука попрятала.

Ну что тут скажешь? Каждому за свои грехи мучиться, искупать по мере сил — у кого как получится.

Вернула меня на грешную землю, в текущий момент моей жизни, на порог маленького дома на окраине Харькова. Скоро рожать, а нам жить негде. Решать, не перерешать все проблемы. Хоть и круглая отличница, не знаю, с чего начинать, чтобы в ответе все сошлось как надо. А отвечаю за все я, рядом никого. Все ушли, кто куда, в разное время, в разных направлениях.

Все, что есть у меня, — этот дом и этот вишневый сад. Сад в цвету и старого Фирса в доме не забыли, дверь открыта. И я помню, с детства помню, опять же из литературы, из облитой слезами «Синей птицы»: страшно не остаться в доме умерших бабушки и дедушки, страшно покинуть его, забыть его запахи, вещи, заветные приметы.

Они еще здесь, я слышу тишину вокруг них.

И девочка моя будет слышать.

## Стена

Конец второй, самой короткой и, пожалуй, самой любимой детьми четверти, ведь скоро Новый год и такие яркие зимние каникулы.

Старшая, десятиклассница Маруся, второй день сидит дома. Ольге позвонила на работу классная и попросила забрать дочь, у ребенка кружилась голова, в медпункте померили давление, оказалось низкое. Накануне пару бессонных ночей у компьютера. Ольга уже давно прекратила убеждать, договариваться, не слышали они друг друга. Совсем не слышали. Будто кричат обе прямо в стену, а звук отражается и летит в другую сторону. И дело не только в компьютере...

Стену эту они сами, кирпичик за кирпичиком, вдвоем с Марусей воздвигают ежедневно, каждую минуту, непрерывно кладут кирпичики, каждая со своей стороны. Скоро лиц друг друга не увидят — и забудут, какие они были. Но Ольга помнит, вот фотография Маруси стоит на журнальном столике. Здесь ей шесть лет, русые волосы и курносый нос, улыбается и одного зуба сверху не хватает, последний год в садике перед школой. А сейчас другая улыбка, совсем другая, особенно когда в школу собирается, будто надевает на себя чужую одежду, и она на ней плохо сидит.

— Мам, ты Иру в школу во сколько повезешь? Мне надо однокласснице в подарок книгу купить. Я с вами, можно?

— Можно, о чем речь. В двенадцать выезжаем.

Младшая училась во вторую смену. Мороз почти двадцать градусов, накинула сапоги на босу ногу, куртку прямо на халат (прелести жизни в своем доме), выскочила завести машину, чтобы прогрелась. Пару лет назад переехали в частный сектор и ездили в школу на машине, автобусы здесь пока не ходили. Ольга работала удаленно программистом, поэтому была возможность возить детей. Яркое солнце, за домами серебрится

снег, действительно, чудесный день. Машина прогрелась, Маруся села рядом с Ольгой, младшая Иришка сзади.

— Маш, а что планируешь в подарок купить? Ты вкусы её знаешь?

— Она говорит, что ничего кроме Ремарка и «Колобка» не читала. Раз Ремарка, значит, надо какого-то еще английского автора и желательно классика.

— Немецкого. Я только Томаса Манна могу предложить, хотя это не для вашего возраста чтение. Да и опыт читательский надо иметь.

— А у нас, значит, его нет? Я, конечно, понимаю, что ты считаешь меня невежей и...

— Маша, прекрати! Я ничего такого не говорила! Если твоя подруга читала только Ремарка, тогда вообще не важно, что ей дарить. Да хотя бы того же Карнеги! Говорю первое, что в голову пришло.

— Знаешь, мама, после Ницше я вообще не могу смотреть на подобную литературу.

— Господи, что за глупости! При чем тут Ницше! Ощущение, что ты его читаешь, чтобы покрасоваться просто.

— Мама, я вообще считаю, что художественная литература не такая полезная, как познавательная!

— То есть как? Как это вообще можно сравнивать?!

— Художественная литература не несет мне столько полезной информации, как, например, научная.

— Господи, Маша, прости, но это просто ересь!

— Мама, отстань от меня! Что ты вообще от меня хочешь?!

— Ничего не хочу. Ты невыносима просто!

Ольга резко затормозила на обочине рядом с остановкой. Маша выскочила, громко хлопнув дверью.

— Мам, а Маруся без шапки опять!

— Вижу, Ириш, вылезай давай. И сменку не забудь в машине.

\* \* \*

Проводила Иришку и застыла перед школьным крыльцом. Много лет назад сама заканчивала эту школу, а потом, после института, пару лет поработала учителем информатики — дольше не выдержала.

Вот громадная ель заснеженными лапами упирается прямо в школьное окно. Когда Ольга пошла в первый класс, эту ель только посадили. Чтобы школьники ее не затоптали, учитель труда сколотил вокруг неё деревянное ограждение.

Как холодно, поёжилась, а может, это чувство вины льдом внутри покалывает. Господи, зачем я ей сказала, что она невыносима... Сколько злости, непонимания, раздражения с обеих сторон, отличный раствор, чтобы крепко держался очередной кирпич. Ольга сняла шапку, звонок еще видимо не прозвенел, дети ручейками стекались по порожкам к главному входу, неподъёмные яркие ранцы, маски на подбородках — примета нашего времени.

— Женщина, вы бы шапку надели! Мороз двадцать градусов всё-таки...

Повернулась на голос, бабушка Иришкиного одноклассника торопится, тащит второклашку за руку, ранец несёт на своей спине.

Ольга сунула шапку в карман и зашагала к машине. Надо успеть до шести вечера закончить очередную часть программы, скоро сдавать проект, потом быстро приготовить ужин, муж должен забрать Иришку и Машу, та обещала подъехать к школе к концу уроков.

\* \* \*

Дом без детей наполнялся тишиной и на время их отсутствия его звуки становились главными. Скрипнула дверь, это кошка вышла встретить Ольгу. Котёл монотонно забурчал на кухне. Требовательно засвистел чайник.

Села к ноутбуку и поняла, что ничего уже не сможет сегодня. Налила кофе и достала альбомы с фотографиями десятилетней давности. Тогда ещё распечатывали снимки, покупали альбомы и наполняли их отражением своей жизни. Сделала глоток и открыла самый первый их семейный альбом. Пропустила свадебные фотографии, а вот снимок у ворот роддома, где появилась в ноябре шестнадцать лет назад Маруся. Ольга стоит со свёртком и в маминых сапогах, муж впопыхах забыл дома её ботинки, а мама в больничных тапках ждала их в машине, долго потом смеялись.

Первый ребёнок и самое большое в жизни чудо, золотистая головushка, курносый нос, маленькая кроватка на колё-

сиках в палате, в те годы только начинали вводить совместное пребывание с детьми. Четыре мамы и четыре маленькие кровати, к умывальнику протискивались боком, ведь раньше палата была рассчитана только на мам. Первые бессонные ночи, малыши кричали беспрестанно друг за другом. Утром небольшая передышка. Младенцев забирали в детское отделение светить ультрафиолетом от желтушки. Укладывали четверых на одну тележку и увозили. Первые дни Ольга жадно всматривалась в Марусины черты, боялась, что перепутают. И было острое чувство счастья и ещё более острое чувство страха. Весь внешний мир в одно мгновение стал сложным, угрожающим: сквозняки в палате, неумелые руки самой Ольги и даже грудное молоко, которым Маруся постоянно захлёбывалась, и надо было ставить ее столбиком, а потом снова пытаться кормить.

А вот фотография с крестин, сделанная мужем в храме. Ольга в бирюзовом длинном платье, платок в тон покрывает голову. Держит свёрток с Марусей, а слева и справа руки мамы и свекрови, тянутся к малышке, сами они в кадр не вошли. Тоже потом смеялись, первая внучка, большой ажиотаж, недоверие со стороны бабушек родителям. Горячие споры о вреде памперсов, свекровь нашла из марли тот самый правильный вариант подгузников. Надевали Марусе, когда она приходила, чтобы не расстраивать. И много всяких бытовых тонкостей, которыми отличалась жизнь одного поколения малышей от другого: тугое или свободное пеленание, питание из баночек или протёртое своё, кормление по требованию или по часам — такие принципиальные вопросы для мам разных поколений.

И, конечно, фотографии с отдыха на море, тогда Иришки ещё не было. Маруся по пояс в воде, в ярко жёлтом жилете, хохочет и протягивает ладошки с медузой вперед, такое синее небо, и слышится запах морской пены и нагретой солнцем гальки.

А вот первая в жизни школьная линейка, Маша пошла в первый класс, а Ольга снова со свёртком.

Она продолжала листать страницы альбомов, а память нитью непрерывно соединяла кружево их жизни от одной фотографии к другой. Листала и пыталась понять, найти ту самую точку невозврата, тот момент, когда Ольга и Маруся

оказались по разные стороны разделяющей их стены. Может с началом подросткового периода, а может с появлением у Маруси гаджетов, или ещё раньше, когда родилась Иришка. Почему-то с ней Ольга всегда чувствовала себя хорошей матерью, а с Марусей наоборот... наверное, обратная связь была не той, что она ожидала. А может, с первым ребенком ты кажешься себе всемогущим. Но это лишь кажется так...

\* \* \*

В комнате стало темно, короткий зимний световой день. Пора готовить ужин, скоро вернутся девчонки и муж. Жареная картошка с луком, Машина любимая, и борщ. На подоконнике задрезжал телефон, пропущенный звонок от мужа, перезвонила.

— Вить, не успела, ужин готовлю! Вы едете уже?

— Оль, Машу ждем, Иришка в машине. Она точно к школе должна подойти?

— Вроде бы да... Позвони ей!

— Уже. Не берёт. Ладно, ждём ещё.

Ольга набрала дочери, телефон вне зоны доступа. Вдруг лёгкое волнение... ерунда, мало ли что может быть! Сейчас наверняка позвонит Витя и скажет, что Маруся подошла. Выключила плиту и поставила чайник, надо свежий заварить с травами. Поймала себя на том, что смотрит на настенные часы каждые пару минут.

— Вить, ну что?

— Нет её, телефон недоступен. Мы едем домой, Иришка ноет, хочет есть. Куда она вообще поехала?

— В центр, за подарком для подруги. Вить, я что-то волнуюсь сильно! Мы повздорили в машине...

— Господи, Оля! Первый раз что ли?! Перестань накручивать себя, сейчас объявится.

Глубоко вдохнула несколько раз и снова набрала, абонент вне зоны доступа. Такое впервые, обычно она всегда писала смс, если задерживалась где-то. Время почти семь вечера. Сердце заколотилось. Мысли, словно стая напуганных птиц в клетке, сталкивались и били друг друга крыльями. Надо взять себя в руки, позвонить, кому-то позвонить. Может, её подругам? В классе она почти ни с кем близко не сошлась.

Вина обжигала ледяными потоками, будто плотина прорвалась — и Ольгу понесло, закружило. Это всё из-за переезда, старые подруги остались далеко, Маруся с ними виделась всё реже и реже. А новых друзей не смогла найти. Или маме позвонить? Может она к ней поехала, обиделась на меня и поехала к бабушке. Эта мысль как воздуха глоток, словно Ольга вынырнула и даже смогла вскинуть руки вверх, вдруг кто-то увидит, что она тонет.

— Мам, ты дома?

— Оль, дома, конечно. А что случилось? Что с голосом?

— Мамуль, да Маруси что-то долго нет! Поехала в центр и трубку не берёт теперь.

— Мало ли... Ты подругам звонила?

— Она давно с ними не общается... Мам, мы поругались.

— Оль, подожди, кто-то в домофон позвонил! Может она! Я перезвоню!

Сердце снова затрепетало и снова глоток воздуха, и даже появилось немного сил. Весь мир будто сжался, и сейчас произойдет взрыв, а потом появится новый мир и новая вселенная. И только экран телефона, а больше ничего не существует.

— Оль, соседка ключи забыла. Я выйду и пройду до остановки, вдруг правда ко мне едет, встречу её! А вообще, знаешь, ты сама виновата!

Ольга присела на корточки, спиной к стене в прихожей, экран телефона погас. И если бы не эта стена, то она, наверное, бы упала. Эта стена нужна, чтобы держался их общий дом, о котором они так мечтали с мужем. А их стена с Марусей для чего нужна? Чтобы отгородиться друг от друга и разделить когда-то общее пространство. И если бы сейчас загорелся экран и на нем высветилось «Маруся», то Ольга ничего бы в жизни уже не просила. Залаяла собака во дворе, значит кто-то приехал. Ольга выскочила, не одеваясь, на порог. Из машины вышел муж и выскочила Иришка.

— Не звонила?

— Нет, Вить.

— Набери классную, пусть даст телефоны одноклассников, начинай обзванивать. Я поехал на остановку, встречать её, вдруг просто что-то с телефоном — и она не может позвонить. Или вообще потеряла его.

\* \* \*

Машинально налила Иришке борщ и начала набирать всех подряд из окружения дочки, и если бы неизвестность не порождала страх, то одним законом мироздания стало бы меньше. И чем больше пустых звонков, тем тяжелее дышать. Вдыхаем кислород, а выдыхаем углекислый газ, недавно зубрили с Иришкой параграф из окружающего мира. К чему это? Мысли что-то путаются, вот Иришка выбежала из кухни:

— Мам, бабушка! Говорит, тебе не дозвониться!

— Мама?!

— Оль, нет её. Боже мой, сколько раз я тебе говорила! К ней нужен особый подход, у неё же непростой период сейчас! Только с тобой — как со стеной разговаривать! Если через час не появится, надо в полицию! Время почти девять!

Последний глоток — и в глазах темно, так бывает, когда наступает кислородное голодание. Только услышала, как хлопнула входная дверь.

— Оль, ты что? Тебе плохо?! Привез я её! Сидит рыдает в машине, представляешь, перепутала маршрутки, а там давка, час пик ведь, выйти не смогла и уехала в другой конец города. Телефон разрядился, в общем приключение... сама расскажет, когда успокоится. Маленькая она совсем ещё, когда плачет, хоть и большая. Оль, ну не реви! Беги к ней!

Выскочила прямо в халате, в машине сгребла Марусю в охапку, та уткнулась в Ольгу, как когда-то давно, когда ей было страшно или больно. В машине тепло. От Марусиных волос всё ещё пахло детством. В лобовое стекло бились снежные хлопья, начался снегопад. Выходить не хотелось, пусть на миг, на несколько минут ещё продлить, почувствовать то, что было когда-то отгорожено самым первым кирпичиком в стене...



## Баба Феня

Спит еще маленький провинциальный город, погруженный в прозрачные пласты тишины и редкий окраинный глухой собачий лай. Лишь кое-где косыми поясками уже тянутся к небу печные дымы, да пронзительно вскрикивает голубоватый снег под чьими-то ранними шагами.

### Старый дом

С пяти часов утра зимой начиналась жизнь в нашем доме. Отец растапливал печь, ходил за водой к ближайшей колонке, потом кормил собаку — кавказскую овчарку Бульку — и кошку Мурку. Расчищал дорожки от снега во дворе и на улице перед домом. Мама готовила еду на завтрак и на обед. Наспех поев, оба уходили на работу, и ждать их теперь надо было только к темному вечеру. Бабу Феню не будили так рано. Жалели. Она просыпалась около семи утра, «причипуривалась», по ее выражению, молилась коротко у себя в комнате, а потом начинала уборку в доме. Больше всего она любила мыть полы и ухаживать за комнатными цветами. Работая, всегда пела. Длинные листья фикуса до блеска натирала маслом, а с геранью и китайской розой разговаривала как с детьми — со всякими прибаутками.

Потом просыпались мы, дети. Быстро умывались и одевались. Перед завтраком баба Феня подводила нас к иконе Христа, что висела в углу ее комнаты, и говорила: «Нельзя быть нехристями. Скажите Богу: «Господи, помилуй, спаси и сохрани». А потом — «Слава Богу». Перекреститесь и поклонитесь. Да не торопитесь!»

Я ее часто спрашивала: «А от чего Боженька должен нас спасти и сохранить?» Она всегда отвечала одно и то же: «От худого».

Если среди дня мне самой случилось зайти в бабушкину комнату, то почему-то мимо иконы я всегда проходила на цыпочках.

Баба Феня обожала читать. Время для этого улучала она больше по вечерам. Единственным источником света в ее комнате была лампочка под шелковым абажуром на потолке. Помню, как бабушка взбиралась на табуретку, поднимала книжку вверх, поднося ее к самому абажуру. В такой неудобной позе могла она находиться часами, полностью погрузившись в тот мир, о котором читала.

## Зимний день

Зимы в моем детстве стояли суровые. Спрессованный морозом воздух трудно цедился сквозь слипшиеся ноздри, а потом легкими белыми комочками пара выходил наружу, цеплялся за губы. Мы — я и сестра Оля, на четыре года старше меня — радостно катались на санях с высокой крутой горки, с удовольствием купались в белой пене сугробов, тайком лакомились леденцами-сосульками, катали снежных баб. И только когда на варежках нарастали льдинки, а валенки становились тяжелыми от налипшего на них снега, мы возвращались с улицы домой.

Баба Феня стаскивала с нас влажную одежду, докрасна растирала старым шерстяным шарфом холодные руки и ноги. Кормила наваристым и густым борщом, в котором, как и полагается, могла стоймя стоять ложка, и самыми вкусными на свете котлетами. Потом мы пили чай солнечного цвета из веселых разноцветных чашек, на дне которых хороводом кружились пчелки-чаинки. Пили чай с мёдом, а чаще — с бабушкиным любимым крыжовниковым вареньем.

У бабы Фени была своя особенная чашка. Передняя поверхность ее была выпуклой и изображала черное личико забавного мальчика с крупными губами, круглыми озорными глазами и растрепанными густыми кудрявыми волосами, напоминающими туго заверченные столярные стружки. У этой чашки было имя: «Арапчик». Она была подарена молоденькой Фене ее будущим мужем — Павлом. Нам брать в руки Арапчика категорически запрещалось. «Не дай Бог, разобьете», — говорила бабушка.

Сидя после обеда у опрятной беленной печи, мы слушали рассказы из бабиной Фениной жизни. Не было у нее других слушателей, все тайны доверялись нам. Особо запомнилась мне одна из таких историй.

## Рассказ Бабы Фени

— Родители во мне и моем старшем брате Феде души не чаяли. Уж какой певуньей я была! Хожу по травушке-муравушке, а сама все пою, пою... Отец подойдет, поцелует в лоб, вытащит из кармана брюк то конфетку, то ленту для волос, и скажет: «Птичка ты моя певчая».

А в шестнадцать лет, совсем юной девочкой, я вышла замуж. Павел приехал на станцию Тихорецкую из Ставрополя и работал на железной дороге под началом моего отца, путейского мастера. Влюбилась я в него с первого взгляда и навсегда. И Павел меня полюбил. И расцвела наша любовь пышным весенним цветом, как пион в саду.

Отец Павла хвалил: «Руки золотые, а голова умная, — добрый парень». Но когда через месяц после первой нашей встречи Павел пришел свататься, отец благословения на брак не дал. Отговаривал жениха: «Ты сам подумай — ну что за жена тебе Фенечка? Ребенок малый: поет да в куклы играет». «Со мной дорастет», — уверял его Павел...

Я плакала, просила отца. Ничто не помогало. И тогда я сказала: «Не отдашь замуж — под поезд брошусь». Так дело и решилось: вышла я замуж за своего любимого. И родила ему четырех сыновей.

— И нашего папу! — вставляем мы.

— И вашего папу, он был третьеньким. После свадьбы мы жили в Ставрополе, вот в этом самом доме, купленном для нас, молодых, отцом Павла. Дружно жили.

В Первую мировую войну был взят Павел в ополчение, направлен в школу прапорщиков, а как закончил ее — на фронт. Потом — революция, а за революцией — Гражданская война... Оказался Павел в Добровольческой армии. На Кубани заболел тифом, неделю пролежал в бреду. Когда очнулся, выяснилось, что белые отступили, и местность ту уже взяли

красные. Павла много раз допрашивали, а потом мобилизовали в Красную армию: потребовались, видно, его технические умения...

Неспешно говорит баба Феня. Нет-нет да и задумается, упрется взглядом в окно, словно видит в нем что-то особенное, важное. И глуховатым голосом продолжает.

— Трудно мне жилось с детишками. Спасибо свекру — помогал чем мог: то молока пришлет, то муки. Ну и выручали огород и сад при доме. Работали мы, не покладая рук. Выжили.

Наконец вернулся Павел с Гражданской войны. Счастье-то какое — только жить-не тужить! Но что-то с ним после возвращения было не так. Наверно, слишком много повидал он всего за военные годы, трудно ему было вернуться к обыденной жизни в родном городе. Томился он, все хотел переехать куда-то и заниматься радиотехникой. Верил, что в этом будет его новое призвание. Я переживала, ревновала, но поделать ничего не смогла: собрал он однажды вещи и уехал в Ленинград.

Осталась я вдовой при живом муже. Письма, впрочем, Павел иногда писал, и детям помогал. Взяли его в Ленинграде лаборантом в какой-то серьезный научный институт, работой он был доволен. Но я все верила: в один день вернется он к нам... А потом письма стали приходить все реже и реже.

В последнем письме муж без всяких объяснений просил срочно дать развод. Что тут поделать — насильно мил не будешь... Развод я дала. Но свет для меня померк. От сильных переживаний слегла я в постель, долго была в бреду. В то время приснился мне странный и страшный сон.

— Какой, какой сон? — снова встречаем мы от нетерпения в бабушкин рассказ.

— Сидела днем вся семья за столом, пили чай, — продолжает она, — и вдруг все посерело в комнате. Смотрю на мужа, а вижу другое лицо, да и не лицо вовсе: кривое, глазки узкие, черные, как угли в печи. Так и горят, так и жгут сердце. А из-под стола торчат вроде и ноги, но с копытами. Тут-то уразумела я, что не муж это, а сам «черненький» — черт, значит. Вскочила я, схватила кочергу, стоявшую в углу, и со всей силы ударила его по лбу. Черта ударила — чтобы оставил он Павла... Посветлело в комнате. Вижу, стоит передо мной Павел, бледный, изможденный. А на лбу у него рана, из которой стекает кровь, капли падают на пол и начинают гореть. Он

смотрит на меня, что-то шепчет, а я слов не разберу... Хочу подбежать к нему, обнять, но не могу — словно мороз всю сковал меня.

Проснулась в горячке, едва очапалась. Сколько уж лет прошло, а я все думаю: «Где он, мой Павлуша, что сказать мне тогда хотел? И свидимся ли мы с ним еще на этом свете?»

— Бабушка, бабушка, а откуда взялся черт? А тебе было страшно?

— А как вы думаете?.. Знамение, видно, то было — к художнику для Павла.

Мы тербим ее, хотим побольше узнать о черте. Но теперь она молчит и только тяжело вздыхает.

## О судьбе Павла

Феня больше не вышла замуж, хотя сватали ее не раз. А она все ждала, что к ней вернется Павел. Перед смертью вспоминала только его и своего брата Федю.

Так и не узнала она, что худое действительно случилось с Павлом. Весной 1938-го года он был арестован в Ленинграде, где работал в Научно-исследовательском институте прикладной физики, и через два месяца расстрелян как враг народа.

Только мы, внуки, узнаем об этой трагедии — уже спустя много лет после реабилитации деда. Узнаем и место, где покоится его прах — общая могила на Левашовском кладбище под Петербургом. И сдается мне, что Павел предчувствовал свой арест и порвал связи с семьей для того, чтобы спасти родных от репрессий. Так и получилось.

Детей Феня вырастила и воспитала. Все четверо ее сыновей защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны.

## Цветы на оконном стекле

Детская память спонтанно выхватывает из жизни самые яркие эпизоды — или просто искорки впечатлений, которые не смываются никакими бурными и холодными реками уxo-

дящего времени. Эти детские воспоминания, как подземные родники, пробиваются к нам, чтобы напоить нас живой водой.

Вижу как сейчас бабу Феню, стоящую на табурете, близко поднеся книгу к тусклой лампочке на потолке под оранжевым, с кистями, абажуром; вижу уголки ее губ, слегкадвигающиеся при чтении, вижу ее влажные подслеповатые глаза и бусинки слез на ее щеках. Я боюсь спугнуть ее и время — потому что знаю, что она читает про любовь и вспоминает своего Павла, моего дедушку.

А еще я вижу, как на оконном стекле нашего старого дома, остуженном крепчающим январским морозом и подсвеченным синевой низкого неба, расцветают все новые и новые, искрящиеся как звезды, ослепительно белые цветы.

## Детство. Дорога. Сны

Тени на стене приходят в движение, это ветки дерева шевелит ветер, раскачивается фонарь, и над моей кроваткой кружатся причудливые линии и знаки, наползающие друг на друга и меняющие очертания, так что никак не успеваю угадать, на что они похожи — то ли это косматая еловая ветка над входом в пещеру Михеля-Великана, то ли зонтик Оле Лукойе, то ли волшебные сани, которые унесут меня в чудесную страну, оставив позади только взвихренные снежные искры... Ковер-самолет? Нет, точно, сани, они приостановились и ждут, когда я прыгну... Сердце колотится, мне страшно, и в то же время я понимаю, что не могу не прыгнуть, даже если меня увлекут неведомо куда, даже мама меня не найдет... А вдруг все же найдет? Тогда не страшно. Я уже не вижу теней, я слышу, как белые кони цокают копытами, как завывает ветер, готовый поднять меня в взвихренное пространство и унести, я понимаю, что точно не вернусь, и в последний момент я хватаюсь за прутья кровати и кричу изо всех сил: «Мама!» Кажется, у меня нет голоса, по крайней мере я слышу только слабое хлюпанье, горло раздирает боль, из носа течет, я обливаюсь потом и трясу что есть мочи кроватьку, отталкиваясь от стенки. За дверью голоса, и звонкий мамин, низкий папин, бабушкин, дедушкин, чей-то еще. В ноздри, из которых вытекли уже все сопли, вдруг ударяет острый запах хвои, как будто прокалывает и нос, и небо, застревает под язычком. Елка! Там поставили елку! А как же шары? Почему я тут лежу? Я пытаюсь выбраться из кровати, упираюсь в стену коленями и пытаюсь отодвинуть, чтобы пролезть в образовавшуюся щель, мне почти удается расширить путь к побегу... Запах елки заполняет всю комнату, высушивает слезы, успокаивает боль в горле, от него по спине ползут щекотные мурашки, хочется пить и бежать, бежать туда, где она стоит...

Меня застигают уже под кроватью, переодевают, удивляются, что жар прошел, и в виде исключения и под влиянием моих воплей водворяют в большую комнату за стол, где дымятся пельмени, сочится квашеная капуста, торжествуют мандарины, но все эти исключительно приятные и ароматные вещи, которые я бы, несомненно, оценила в другой момент, не имеют значения: у окна стоит елка и оглушает меня хвойным и смолистым великолепием. Матовые бусы и сказочные фигурки из папье-маше, яркий серпантин и мерцающий «дождь» с мишурой, и круглые шары отражаются в соседних пузатых собратях...

Я боюсь пошевелиться, я впитываю ее запах всеми ноздрями, глазами, ушами, каждой клеточкой, смолистый терпкий субстрат разливается по кровеносным сосудам, я вся — в ней, с ней, и напиваюсь ее силой и влагой, и понимаю, что в ее игольчатых ветвях, здесь и есть самое чудесное и захватывающее, не в холодном белом вихре, который едва не унес меня, но в темноте ее недр, отороченном бликами стеклянных сфер, бумажных флажков и выхваченными из разных эпох и исчезнувших жизней волчков, пингвинов, мельниц с мельниками и царевен... Застолье гудит, я незаметно сползаю со стула и пробираюсь, стараясь не задеть ничьих ног, к елке, притуляюсь у деревянной крестовины, обняв плюшевого медведя и пластмассовую Снегурочку, и затихаю...

Наутро все радуются, что я поправилась, наряжают меня в белые чулки и синее платье, повязывают бант, и ведут к елке. На том месте, где я заснула, меня ожидает красивая коробка, в ней — настоящая немецкая кукла с хлопающими голубыми глазами, и книжка с картинками, «Остров сокровищ» Стивенсона. По этой книжке скоро я буду сама учиться читать.

В последние дни ковида, между явью и сном, когда граница между бредом и реальным безумием практически неуловима, и сознание, измученное ежедневным соитием с монстрами, и убийственным соучастием в повседневных злодеяниях современного мира, почти отказывается возвращаться в осажденный вирусом организм, кажется, день на двадцатый (самый критический, как считают медики), я вдруг неожиданно почувствовала острый и пряный запах



хвои, который буквально обжег ноздри. Сначала подумала, что это очередной глюк, — обоняние покинуло меня давно и прочно. Но запах не проходил. Я с трудом встала, набросила халат, держась за мебель, прошла на кухню. В нос ударил запах лекарств и хлорки. Открыла холодильник, из него немедленно вытек и распространился в кухне острый дух бельгийского сыра, который я привезла из последней командировки, меня чуть не стошнило. Нюх вернулся! И в то же время запах елки не исчезал. Пошатываясь, я вышла на балкон. В предрассветном сумраке светились башни Москва-сити, реклама Samsung и ВТБ, цвета российского флага и бегущая строка риэлтерского агентства. Я нашла сигарету, попыталась закурить, закашлялась от едкого дыма, как в первый раз, когда пробовала курить с одноклассниками здесь неподалеку, на Малой Дорогомиловской, в школьном садике. Сломала сигарету. На зубах стоял вкус смолы, в ноздри отчетливо бил великолепный и живительный хвойный запах. Впервые за многие дни глубоко вдохнула осенний воздух, отдающий смолой. Я жива! И жизнь, которую мы клянем и бесконечно испытываем, восхитительно прекрасна... И подумала: как было бы хорошо рассказать об этом маме...

Первое, что я помню — это поезд, стук колес, я потею во влажных простынях на верхней полке, хочу в туалет и боюсь об этом сказать, кажется, у меня уже поднялась температура. Мне два года, мы едем в Москву из Сибири. Хотя, возможно, я все это придумала (точнее, увидела, как будто наяву) уже позже, когда слышала от бабушки и мамы о нашем концептуальном семейном перемещении — многократно, пока они готовили мне чай с вареньем, микстуру или травяной настой от кашля. Болела я все время, везде, зимой и летом — была в кровь коленки и локти, ушибалась, падала в обморок, страдала мигренью (была позже горда, узнав, что это такое), отравлялась, но чаще всего простывала. Даже в клинике, куда меня привезли удалить наконец зловредные гланды (такая мода была тогда), умудрилась простудиться в первый же день на прогулке, и неделю провела в боксе. Запах лекарств был привычный, как запах сена для деревенских детей (как пахло сено, я, кстати не помню, хотя в поселке, где я росла, на соседней улице старьевщик и его жена держали корову и точ-

но косили траву, мы брали у них молоко). Про сено и полевое раздолье я читала в книжке «Родные поэты». Она до сих пор где-то в книжном шкафу, сохранившемся также с того самого времени.

Точно помню момент, когда отступает болезнь. Сначала робкие предвестники облегчения — перестают слезиться и болеть глаза, горло еще першит и нос не дышит, но в запястье где-то уже пульсирует предчувствие, сквозь муть, тошноту, отвращение к жалкому собственному телу и его отправлениям. Предметы в комнате обретают цвет и объем, проступают запахи — капель, нашатыря, хлорки, и внезапно все сметает неожиданно ворвавшийся в комнату великолепный аромат свежего куриного бульона...

Мне снится, что я неловко села, и у меня из-под платья высовываются не прикрытые чулками голые ляжки. Тянувший ужас стыда. Колготки появились потом, какое-то время ходила в чулках с пажами, зимой на все это натягивала рейтузы, все некрасивое, неуютное. Чувство скованности, неправильно подобранного размера (впрочем, мой объем, несмотря на рост, всегда был недостаточным, несколько лет в классе была не только самая высокая, но и самая тощая, и когда поняла, что у меня не растет, как у других девочек, грудь, окончательно уверилась в собственной физической неполноценности). Все, что связано с телом, его впечатлениями и проявлениями, — мучительно и нежеланно, некрасиво, не обустроено, не гармонично, это устойчивое убеждение иногда опрокидывает спонтанный восторг от простой ходьбы по земле, свежего утра, солнца...

Первые сведения о сексуальном опыте, почерпнутые из медицинских журналов, краткой информации дедушки о физиологическом строении человеческих особей и косноязычных рассказов одноклассников поселковой школы никакого впечатления не произвели, равно как и нестандартный эксперимент, к которому меня, кажется, в первом классе привлекли как хорошего товарища двое мальчишек — они сняли штаны и травинкой щекотали свои незрелые пенисы. Я в мероприятии участия не принимала (благоразумно отказалась присоединиться и пощекотать свой член), но не высказала

никакого удивления, хотя видела до того только крошечный орган новорожденного двоюродного брата. Я была умнее, и знала, что у некоторых детей пенисов нет. Женщиной, тем не менее, я совершенно не хотела становиться. Менструация, грязная вата, боль в животе — это совершенно не привлекало, я лет в десять фантазировала, что у меня вообще такого не будет, обойдусь. И во сне не раз видела себя сразу с двумя членами, они торчали в разные стороны, как колокольчики.

Общество мальчиков, тем не менее, меня интересовало, но своеобразно: мне нравилось играть с ними в футбол (за что была ругана неоднократно бабушкой), бегать, кататься на велосипеде, больше, чем с девчонками. И, хотя к куклам у меня было свое (покровительственное) отношение, и я придумывала их жизнь в различных вариациях, девчоночьи игры мне были не так интересны. Впрочем, в детский сад я не ходила, по причине его отсутствия в поселке, со сверстниками до школы общалась мало, а в школе слишком часто болела, чтобы быть душой компании. А главное — рядом был другой, куда более интересный, чем наш поселковый, мир.

«Остров сокровищ» родители по очереди мне читали вслух почему-то в лесу. Уже после смерти мамы догадалась: им просто негде было поговорить о своем, без посторонних. Они постоянно отвлекались, а я требовала продолжать, они сердились, и я никак не могла дождаться новой главы... В нетерпении, обливаясь слезами от муки непривычного труда и обиды, прочитала недослушанную главу сама...

Слова отделялись от страницы, обретали собственную судьбу, превращались в образы, сменяющие друг друга, им совершенно не тесно было всем вместе в просторной комнате подмосковного дома, они увлекали в таинственные путешествия, открывали глубины и высоты, о которых, кажется, и не слышали наши соседи или поселковые сверстники. Продолжения приключений я видела во сне. Иногда так и засыпала за столом — сидя, положив голову на раскрытую книгу...

«Сапоги снятся к этапу». Услышала через закрытую дверь, когда среди ночи пробиралась в туалет, разговор отца и бабушки. Они запирались в дальней комнате, когда отец

приезжал к нам на выходные, иногда громко спорили, мама тогда заходила к ним и просила «приглушить звук». Трещал и хрипел радиоприемник «Спидола», сквозь треск и свист прорывались мужские и женские голоса, тревожные, обрывки фраз и названий: Сектор Газа, Тайвань, Вьетконг, Фишер, Солженицын... Утром я спросила маму, что такое этап, она перевела разговор на что-то другое и увела меня гулять. Только в десятом классе я узнала, что отец с первого курса педагогического попал на шесть лет в ГУЛАГ. Именно там, в лазарете, он познакомился с австрийским врачом, который взял его к себе санитаром и после смерти Сталина и амнистии убедил поступать в медицинский, а не возвращаться в педагогический. В лагере папе поставили пломбу, которая держалась до самой его смерти.

Дом в поселке, дедушка болеет, бабушка, парторг местной ячейки проводит политинформации, выписывает цитаты из журнала «Коммунист», мы вообще выписываем множество изданий, научно-популярных, литературных, педагогических, родители в Москве, куда меня не часто вывозят, там комната в коммуналке на окраине, и до шестого класса я учусь здесь. К нам приезжают родственники, те, которые из Сибири, их новые и бывшие родственники со своими друзьями — кататься на лыжах, выпить и закусить, послушать магнитофон — у нас модный «Днипро», его дядя привез из Якутии, и пленки Окуджавы, Кукина, Клячкина. «У Геркулесовых столбов», «Пилигримы»... Приезжает московский двоюродный дедушка Иосиф, фронтовик, герой еще гражданской войны, и его жена — тетя Таля, всегда модная и томная, и их дочь Галина, тоже фронтовичка. На самом деле Галя приемная дочь, ее отец и бывший муж тети Тали — белый офицер, бросил жену с новорожденным ребенком, когда наступали красные, и двадцатилетний мой двоюродный дедушка влюбился и удочерил девочку... Девочка дошла до Берлина зенитчицей, и вышла замуж за студента после войны, на десять лет моложе, тогда это была редкость, теперь он министр в Белоруссии...

Бездомные собаки в поселке, особенно в парке, через который я хожу на уроки фортепьяно, кооперативная лавка, где продавали керосин в розлив, продуктовый, масло и мясо за-

ворачивали в толстую бумагу, макароны засыпали прямо в матерчатые сумки, сосед продавал украденные в военной части краны и гайки для водопровода, который наконец протянули в каждый дом, потом протянули газ... Вода шла рыхая...

Записка, которую мне написал мальчик из параллельного класса на совместном уроке, он из военного городка, приехал из Исландии, есть такая страна, его фамилия Русаков... Почему я его помню? Я забыла многих близких когда-то людей, а с ним не виделась больше никогда, но помню его вязаный свитер, его пшеничную челку...

Мама вырезала репродукцию из журнала «Огонек» и положила на тумбочку у зеркала. И рассказывала мне о том, как художник в детстве был заморожен бродячими циркачами, наблюдал за ними, как приехал из родной Испании в Париж, познакомился с цирковыми артистами, хотел писать семью циркачей, и мальчика-акробата. А потом мальчик в воображении художника превратился в девочку, и именно эта девочка стала символом легкости и творчества. После работы раз в неделю она ходила на лекции в Пушкинский музей, рассказывала мне о картинах, которые обязательно хотела мне показать. Бабушка сердилась, когда она задерживалась, не понимала, почему она не спешит из своего конструкторского бюро сразу на электричку к нам, а едет куда-то еще. Живопись она понимала только классическую, и привезла из Сибири репродукцию в тяжелой раме под бронзу, Шишкин, «Мишки в лесу». А мама любила импрессионистов. И мечтала побывать в Париже. «Увидеть Париж и умереть». Когда она заболела, я думала — вот поправится, и мы непременно купим туристическую путевку, их уже начали тогда продавать свободно...

Когда мамы не стало, я перестала спать. Я глотала таблетки, запивала коньяком, в тяжелом забытьи я бежала к маме, но она исчезала, а холодные снежные потоки закручивали меня в черную воронку, и я просыпалась в ужасе, понимая, что мир раскололся, и я никак не могу собрать его осколки...

Дорога — это не просто перемещение в пространстве, это настоящая жизнь! Я долгие недели ждала, пока мы с родите-

лями поедем вместе в Москву, в общежитие, где жил вместе с настоящим негром отец, потом в нашу коммуналку, в гости к дяде Иосифу, в Парк Горького, в детский театр, и, конечно, на Красную площадь в День Победы. Отпуск — это было настоящее путешествие, поезд, самолет, горный «серпантин» или катер, это расширение пространства, это неведомые миры...

Моя немощ приносит родителям массу неудобств. Каждый раз, когда им удастся вместе со мной куда-то уехать — в Севастополь к папиному бывшему однокласснику, капитану военного корабля, на Волгу или в Пятигорск к его коллегам, в Кишинев или Юрмалу, я всегда заболеваю, в машине меня непременно вырвет, в гостях начинается мигрень, колики в животе или неожиданное сердцебиение, вокруг меня хлопочут, укладывают, заматывают голову полотенцем, поят лекарствами, и бедная мама вместо того, чтобы наконец радоваться дружескому застолью, часами сидит у моей кровати.

— Ты совершенно не приспособлена к бивуачной жизни, — сказала она, когда мне было лет двенадцать и у меня не к месту начались месячные. — Не создана для нее.

В первую командировку она провожала меня в аэропорт. У меня начиналась простуда, которую я тщательно пыталась скрыть.

...Шестилетний сын наряжает елку в бабушкином доме. В комнату проникает жар от кухонной духовки, все отчетливее запах пирогов, мандаринов, извлеченных из подполья солений, бабушка накрывает лист с только что подоспевшими пирогами полотенцем и ставит в печку рулет с черемухой, фирменный, сибирский, черемуху присылают из Анжеро-Судженска, где она родилась и проработала 25 лет на шахте главным геологом. С 1938 года, когда родилась моя мама и после «чисток» не осталось никого из старых специалистов, девочка из рабочей семьи подпольщиков и участников гражданской войны по направлению партии заняла огромный кабинет репрессированного. Первым делом она запретила участникам совещаний использовать крепкие выражения. И при ней не матерились...

Сын аккуратно выстраивает дедов морозов по росту, их поддюжины, разного возраста, от привезенных еще из дале-

кого Анжеро-Судженска до недавно подаренных, берет в руки шар и замирает, как будто видит в нем что-то чрезвычайно значительное.

— Что ты хочешь попросить у этих дедов, — спрашивает его отец.

Сын бережно водружает шар на колючую ветку.

— Чтобы он оживил всех тех, кто умер. Даже тех, кого сожгли на костре.

— И кого же в первую очередь? — интересуется отец.

— Пушкина и его няню. Лермонтова и его няню. Еще Марину Цветаеву. И Анну Ахматову. А потом подумаю.

Сон и явь. Проникающие друг в друга, как краски и воздух на картинах импрессионистов. Сон продолжается после пробуждения, не исчезает... Потом я читала об этом у Павича. Сон в руку?

О том, что умрет бабушка, я поняла во сне. Он шел на правку, лежал в соседней комнате, а я, наоборот, мучилась корью, и ко мне каждый день приходила медсестра делать уколы... Я проснулась и долго лежала, обливаясь потом, в оцепенении, не понимая, что происходит. Бабушка ушел на следующий день. Это была первая смерть, с которой я столкнулась близко. Мне было десять.

Сны всегда цветные. Страшные и не очень, и продолжение жизни героев из только что прочитанных книг. Фильмы, которые разворачиваются во сне. Я знаю, что это кино, но я тут и режиссер, и персонаж, и зритель, а сюжет развивается независимо от меня, и жанры меняются, незаметно перетекая друг в друга...

Говорят, Менделееву приснилась его таблица. Мне снились Айвенго, Ассоль и маленькая балеринка, танцующая в вихрях метели на тонкой невидимой проволоке из протянувшихся между влюбленными мыслей друг о друге, она соединяет мир волшебства и мир обычный, и приносит счастье...

Иногда мне кажется, что сны намного более реальны, чем настоящие события. Вспоминаю очертания площадей и улиц, аэропортов, вокзалов, городов, стран, где я ходила, куда

я приезжала и прилетала, и все это кажется если не сном, то по крайней мере продукцией кинематографа. Лица великих и самых обычных людей, с которыми встречалась в разные годы, и фантастически прекрасные лица вокруг Белого дома в последний день путча, — там не было ни одного некрасивого! — и огненный закат, заливший одуряющим светом Москву. Дым над расстрелянным Белым домом, который я видела из окна палаты клиники Склифосовского, где лежал мой коллега, раненный при обстреле Останкино, и на соседних койках — раненые парни, которые приехали его убивать... Ужас понимания того, что свершилось непоправимое, что после этого уже невозможно то, о чем мечтали, к чему стремились... Лица польской официантки, литовского сотрудника «Аэрофлота» и украинского таксиста, которые старались помочь мне поскорее прилететь из Варшавы в Москву этим февральским утром... Прокрученная, как киноплёнка в ускоренном темпе, огромная всеобщая жизнь страны и крошечная частная моя, превратившаяся вдруг в смывую плёнку, как смывали не понравившиеся худсовету фильмы на советских студиях...

Миры разлетелись в разные стороны. Утратили связь. Явь стала сном. Сон перестал быть вещим. Ковид повредил когнитивный аппарат не только тех, кто болел, но и тех, кто сидел в изоляции, и всех, всех. Универсальный эксцюз. Вы стали ненавидеть тех, кого любили вчера? Думаете, как их лучше придушить / прирезать / отравить / прибить? Это же постковидный синдром! Таблеточку, сейчас все принимают. Не спите? Тройную дозу, не думайте ни о чем... Не нервничайте... Пусть все летит в тартарары... Если бы ковида не было, его надо было бы выдумать...

...Разбираю книги и мелочи из трех квартир и бумаги с трех работ, в огромных коробках, пакетах, мешках и ящиках, в пристройке бабушкиного дома. Теперь моего. Нахожу вещи, о которых давно забыла, письма, о которых никогда не знала, фотографии близких и дальних, любимых и случайных, брошки, значки, поздравительные открытки, хранящие почерк давно ушедших. Замираю надолго над некоторыми. Стараюсь не плакать. Цепенею.



Прозрачные пластиковые контейнеры помогают преобразовать хаос в подобие архива. Все это медленно. Иногда прошу помочь соседку, скорее от малодушия. Соседка побуждает меня «избавиться от хлама», мы препираемся, я в ужасе закрываю своим телом хрупкие листки и предметы. Спасла тронутую мышами коробку, из которой высыпались вырезки разных лет — выкройки из «Работницы», страницы отрывного календаря с рецептами, репродукции импрессионистов из «Огонька», и — «Девочка на шаре»...

Спасла и пакет со старыми елочными игрушками, которые добрая душа уже вытащила для утилизации, и аккуратно упаковала в очередной пластиковый контейнер, — выцветшие флажки, бусы, деды морозы разного калибра. И, конечно, шары, каждый осторожно протирая и оборачивая мягкой салфеткой. Закатный луч внезапно пробился через окно, и отразился в сферической поверхности одного из них, и почудилось, что шары по-прежнему хранят тайну, и возможно чудо...

Мне очень важно все их сохранить. Несмотря ни на что. Хотя бы потому, что еще не все сказано. И чудо возможно.

...Сны о детстве. Ожидание и оглушительное предчувствие счастья. Отчаяние от невозможности высказать застрявшее в горле слово. Дорога. Миры. Я — всегда в промежутке.

## Кильвэй — праздник рождения телят

С каждым днем солнце все сильнее пригревало. Большая часть тундры очистилась от снега. Под пригорком, в небольших углублениях скопилась талая вода. Весело журчали ручейки. Мы уже не таскали лед с озера, так как при колке он уже крошился. Да и поверх льда, под снегом уже была вода.

Заканчивался отел. Телята, родившиеся первыми и пережившие пурги, ночные морозы, окрепли. Отелившиеся важенки сбросили рога.

Когда маточное стадо пастухи толкнули в сторону яранг, и оно приблизилось к стойбищу, нам — Зауру, Самиру и мне — разрешили сходить посмотреть телят.

Мы с Самиром были одеты в меховые комбинезоны — қалгекер. А Зауру бабушка из выделанных пыжиков, окрашенных в красный цвет ольховой корой, сшила кухлянку и настоящие мужские штаны. Хоть он и был старше нас всего-то на два с половиной года, но в настоящей кухлянке сразу почувствовал себя взрослым, сложил аркан, как обычно складывают пастухи, и перекинул через плечо.

Бабушка в небольшую котомку положила немного провизии, погрузила на легкую ездовую нарту и перевязала веревкой, чтобы мы по пути не потеряли груз.

Стадо хорошо видно.

— Вон, видите, голубой дымок еле заметный, вверх к небу поднимается? Это Андрей и дядя Тнескин разожгли костер. Подойдете к стаду, не шумите, телят распугаете. Заур, ты старший, отвечаешь за Самира и Самиру, — сказала бабушка, передавая ему рьарқы.

Заур взял рьарқы, перекинул через левое плечо и пошел впереди, таща за собой нарту.

Сначала мы шли за старшим братом молча. Потом Самир явно заскучал. На пригорке свистнула евражка, и он побежал туда.

А я продолжала идти за нартой. Мы стали переходить на другую сопку и поэтому пошли по снегу. Он был уже рыхлый, идти было тяжело, через каждые два-три шага я проваливалась. Нарта легко скользила, поэтому мне казалось, что Зауру идти намного легче. Я тихонечко села на нарту. А он даже не почувствовал тяжести, шел себе как ни в чем не бывало. Прибежал Самир и заорал:

— Ничего себе, евражка столько ходов нарыла.

Заур обернулся и только заметил, что я сижу на нарте.

— Ну, ты наглая! — возмутился он.

Я виновато улыbnулась и стала подниматься с нарты. Тут вмешался Самир.

— А я даже вас двоих могу до стада дотащить, — потянул руку к рьарқы.

— Я сам. Можешь тоже сесть, — обиженно буркнул Заур.

— Нет. Я помогу тебе. Буду подталкивать нарту сзади, — предложил свою помощь Самир.

— Я сказал сам. Ты будешь только мешать. Самира, садись удобней, ноги на полозья положи, а то по снегу волочатся, тормозят, — приказал Заур.

Где-то среди кочек закудахтала куропатка. Самир тут же повернул в ту сторону голову.

— Не беги туда, там могут находиться важенки с телятами. Распугаешь, — буркнул на ходу брату Заур.

Самир послушно пошел рядом. Снежная полоса оборвалась, и братья уже вместе тащили нарту по кочкам. Немного еще посидев, я соскочила на землю.

Важенки настороженно таращили на нас свои огромные глаза. Нагнув свои безрогие головы, расставив широко передние ноги, они в любую минуту готовы были броситься на защиту своих чад. А телята стояли на длинных, тоненьких ножках недалеко от мам и с любопытством смотрели на нас.

Мы старались не делать резких движений, осторожно, не спеша, шли к запаху костра.

Наконец нам стало видно место, где расположились дежурные. Дядя, улыбаясь, шел нам на встречу. Взял рьарқы у Заура и вместо приветствия сказал:

— Ого, сколько помощников! Даже нэвээнқэй пришла.

Подошли к костру. Чайник, подвешенный за цепь к треноге, уже закипел. Дядя снял его с крюка и поставил к краю костра:

— Ну, присаживайтесь поближе к огню, будем пить чай, — пригласил он нас.

Самир подошел к нарте, где спал Андрей и стал его тормошить.

— Пусть спит. Устал. Ночь не спали, ходили вокруг стада. Лисы вокруг оленей крутились. Так и норовят стащить новорожденного теленка. Да и похоже воронье гнездо где-то рядом. Несколько раз ворона видели. Вот гад, все-таки одного теленка утащил, прямо перед нашим носом, — разливая чай по кружкам, рассказывал дядя.

Мы с Самиром заглянули в свои кружки. Чай был до того черный, что дна не было видно. Самир отхлебнул немного, сморщился и поставил кружку на землю. Наблюдая за братом, я даже пробовать такой чай не стала. А Заур мужественно выпил свою кружку.

Дядя опять улыбнулся:

— Мы с Андреем вчера гуся подстрелили, общипали. Сегодня утром сварили. Бульон попейте, гусятины отведайте, — сказал дядя и указал на кастрюлю, находящуюся у костра.

Мы подвинули поближе к себе кастрюлю и прямо из нее стали пить бульон.

Заур присоединился к нам. Отхлебнув бульон, поставил кастрюлю на землю и вытирая тыльной стороной ладони губы, сказал, обращаясь к дяде:

— Мне бабушка сшила настоящую кухлянку. Поэтому я могу уже ходить в стадо как взрослый.

Хитрец. Впрочем, это мечта любого мальчишки, с взрослыми ходить на дежурство в стадо. Ведь в яранге остаются только женщины, немощные старики и малые дети. А настоящий чаучу должен находиться возле оленей. Ведь слово «чаучу» происходит от слова «кчавычытатк», что в переводе на русский язык означает «бежать».

— Вот перекочем на летнюю стоянку после Кильвэя. Соединим рэквйт и пээчвак. С озер и рек уйдет лед, пойдешь с нами на малую летовку, — пообещал Зауру дядя.

Видно было, что ответ дяди не очень-то удовлетворил Заура, но он промолчал, потому что настоящий чаучу должен быть сдержанным. Так нам бабушка говорила.

В стаде мы были целый день. Помогали Андрею и дяде. Ну, чуть-чуть, в основном бегали по сопочкам. Ходили по

чьей-то старой стоянке, старались угадать, сколько в стойбище было яранг, в какое время года они здесь были.

К вечеру дядя нас отправил в ярангу.

— Ну что ж, а теперь вам пора возвращаться. Повезете в ярангу рога и тушки телят, — перевязывая на нарте груз, сказал он нам.

— А от чего они умерли? — спросили мы, разглядывая телят.

— Да нерадивые мамыши бросили своих телят, вот и затоптали их взрослые олени, — вздохнул дядя.

Идти назад нам было намного легче, солнце вот-вот должно было скрыться за горизонтом, лужицы покрылись тонким льдом, нарты легко катились по подмерзшему снегу.

В яранге еще никто не ложился спать. Бабушка вышла на улицу поправить вход в жилище. Просунула длинную палку между остовом яранги и рэтэмом, потом подперла палкой порочечу вход с подветренной стороны. С яранги повалил дым.

Перед тем как зайти, бабушка оглянулась по сторонам и заметила нас. Она встретила нас подбадривающими, ласковыми словами:

— Кынэ кынэцэгти, нэнэнэцэйымкын. Тымңэквыңанэн пастоңымкын.

Мы с Самиром побежали к бабушке. Заур сначала шел серьезный, а потом не выдержал, заулыбался и прибавил шагу. Подойдя к яранге, подтянул нарту. На северо-восточной стороне яранги лежала кучка рогов, ранее собранная и привезенная дядей и Андреем. Там же мы сложили привезенные нами рога.

— Заур, поставь нарту с восточной стороны. Передней частью поверни на юго-восточную сторону. На западной стороне и передней частью полозий на север ставят нарты мертвых, — сказала бабушка ему.

— Почему? — спросили мы.

— Потому что для умершего земной путь уже закончился и ему уже не зачем спешить. А с юго-восточной стороны поднимается солнце, начинается новый день. Чаучу всегда должен идти только вперед, навстречу новому дню, — ответила бабушка.

— А почему тогда вновь построенную ярангу, мы закрываем сначала с запада, только потом с востока? — спросил Заур.

— Потому что, если мы закроем сначала восточную сторону, а потом западную подует сильный восточный ветер и дует ярангу, — объяснила бабушка.

— А почему вход в ярангу только с юго-восточной стороны? — не унимались мы.

— Ну, во-первых, с юго-восточной стороны редко дует ветер, а во-вторых оттуда поднимается солнце. Откуда поднимается солнце, оттуда начинается жизнь, — терпеливо объяснила бабушка.

— А бывает, что с западной стороны делают вход в ярангу, например, когда сильный восточный ветер? — опять спросили мы бабушку.

— Нет. С западной стороны лишь тогда открывают вход, когда надо вынести покойного. Ведь запад, это закат солнца. На западе горизонта находится долина усопших, — видно предвидя наш следующий вопрос, сказала бабушка.

— А теперь давайте я вам отряхну торбаза, қалғэжэртэ. Тебе Заур, воротник кухлянки. Поужинаем и спать. Завтра рано вставать, будем проводить праздник Кильвэй — рождение телят, — сказала бабушка, взяв небольшой тивичгын из рога оленя.

Она сначала стряхнула иней с одежды мальчиков, потом с моей.

Мы зашли в ярангу. Прошли к пологу, сели на длинный, продолговатый мешок из шкуры оленя весеннего забоя, набитый выделанными камусами и служивший подушкой — чотчот. Весело горел огонь в очаге, на длинной цепи, на крючке висел чайник. Очаг был тщательно вычищен от пепла и обложен вокруг камнями. Обычно на зимних стоянках очаг камнями не обкладывают, только перед праздником Кильвэй и на летней стоянке.

Мама закончила дробить кости в большом тазу из толстой моржовой кожи. Она вытащила из-под груды толченых костей круглый камень — элгыквын, счистила с него налипший костный жир ножом.

Я так и не поняла, почему этот круглый тяжелый черный камень, хоть и небольшой по форме, назвали элгыквын — белый камень.

Большой кожаный таз понятно, почему называют тақаманъёлгын — посуда для приготовления пищи, потому что там не только кости дробили, но также тщательно измель-

чали, растирали почти в порошок, мякоть мяса, сваренного вкрутую. Потом этот мясной порошок взбивали с костным жиром — таялпалгын. Из этой смеси лепили небольшие мясные котлеты — прэрэм, выкладывали на большой қэмэңы — длинное деревянное блюдо.

А когда мужчины, дядя Гнескин, дядя Тымнеквын и наш отец уезжали на поиски отбившихся оленей, мама укладывала в котомку эти прэрэм, с сушёным мясом осеннего забоя. Мы их тоже пробовали, бабушка давала, и скажу вам, такой вкуснятины больше никогда не ела. Мы обычно молча сосредоточенно грызли прэрэм, а когда съедали, выжидающе смотрели на бабушку. Но она нам говорила:

— Много нельзя, сильно жирный. Вредно.

А еще на этом аманьёлгын дробили мерзлое мясо — мякоть с зелеными сушеными листьями ивы, собранными летом, кислой кровью, печенью. Потом все это выкладывали на қэмэңы, а сверху — мелко нарезанные кусочки нерпичьего жира — мытқымыт.

Мама подняла на нарту для перевозки посуды — тақаманьёлгын и положила на дроблёные кости веточку ивы, чтобы злой дух — кэлы не понюхал. У нас поверх любой пищи: кастрюли с бульоном, кашей, на разделанные куски мяса — кладут ветки ивы. Ива — сильное растение. Когда зимой снежные сугробы заваливают кусты, ива под тяжестью снега не ломается. Наверное, поэтому она считается символом оленьей удачи.

Чайник вскипел, бабушка сняла его с крюка. Повесила под огнем другой, поменьше, подложила в очаг дров и разлила по термосам кипяток.

После чая мы залезли в полог. В пологе горел жирник, и поэтому было тепло. Жирник стоял на небольшом деревянном ящичке из-под инструментов. Бабушка называла этот ящичек аакатваёлгын. Между аакатваёлгын и задней стенкой лежал большой қэмэңы. Его вытаскивали только перед праздниками. На қэмэңы лежала целая, не разрезанная грудинка, снятая с туши важенки зимой, в праздник Солнца — Тиркынивет. Там же лежали мешочек с кашицей из зелени и тушка куропатки.

Все это должно было растаять до утра, чтобы можно было приготовить жертвенную пищу на Кильвэй.

Мальчишки быстро заснули, устали за целый день разворачивать важенок с окрепшими телятами, которые так и норовили разбежаться по освободившейся от снега тундре, за пушицей.

А я постелила пытвайкол — шкуру прошлогоднего теленка на место, где мы спали с бабушкой. Села у жирника и стала ждать, когда бабушка и мама залезут в полог. И все-таки не заметила, как уснула.

Проснулась, в пологе мамы и бабушки уже не было, слышно было, как они тихо переговаривались в чоттагине. Слышны были шаги и треск огня в очаге.

Я выглянула из полога. Мама снимала с крюка бак, из которого поднимался пар. Она поставила бак на землю и черунэнэтэ переворачивала грудинку. Бабушка травой чистила энанэнтыткоолгыт — небольшие деревянные мисочки для жертвоприношений. К камням вокруг очага были прислонены милгыт — священные доски для добывания жертвенного огня.

Бабушка обернулась к пологу и увидела меня:

— Ок! Тнátваль, дочка проснулась, — сказала она маме.

Мама повесила над огнём бак. Подошла к пологу, подняла меня, сунула в свой керкер, плечи прикрыла широким рукавом и вынесла на улицу. Солнце уже поднялось над горизонтом. Мама повернула меня к нему. После сумрачного полога солнце, казалось, светит ярко. Я сощурилась от яркого света. Постояв немного, мама зашла в ярангу и передала меня бабушке. Она сидела на чотчоте и держала мой алгэкер.

Заур в кухлянке и чижах вышел на улицу. А Самир по пояс вылез из полога и протянул маме руки:

— Мама, мама! Я тоже уже проснулся.

Мама подошла к нему и распахнула ворот своего керкера, улыбнулась и сказала:

— Ну, прыгай.

Самир залез в ее керкер, прикрыл голову и плечи широким рукавом. Мама вышла с ним на улицу, повернула его лицом к солнцу. Самир радостно засмеялся. Он всегда смеялся, когда мама выносила его в своем керкере на улицу. Мама смеялась с ним.

Мы оделись. Мама открыла занавес полога и затушила жирник — ээк. Бабушка поднесла к пологу чаёолгын — столик для чаепития.



На улице слышались шаги, мы выбежали посмотреть, кто пришел?

А это Андрей и дядя, принесли охапки ивовых веток, перевязанные арканом. За ярангой они развязали арканы и стали складывать аккуратно в ряд ветки. Один ряд сложили, поверх веток сложили рога важенок, потом опять — ивовые ветки, и так, чередуя то ивовые ветки, то рога, получилась небольшая куча.

Зашли в ярангу, дядя спросил у бабушки:

— Где посуда для чистой воды?

Бабушка из мешка, где хранились всевозможные обрядовые вещи, вытащила небольшую кастрюлю и рог барана, сделанный под сосуд. Мама возле очага разминала руками пюре из листьев ивы и щавеля.

Дядя взял посуду и сосуд из рога барана. Возле входа в ярангу из-под нарты взял топор и вышел на улицу. Там он отдал топор Андрею, и они направились к пригорку, где блестели лужицы. Мы побежали вслед за ними.

— А мы что грязную воду пьем? Почему ты сказал бабушке: «Дай посуду для чистой воды?» — спросил Самир у дяди.

— Эта вода особенная, она пойдет на приготовление жертвенной пищи. Нужна талая вода, к которой не прикасался ни человек, ни какое-либо животное, — ответил дядя.

Недалеко от сухого пригорка дядя набрал из лужи воды, сорвал травинку и бросил в кастрюлю. Потом передал сосуд и посуду с водой Андрею, взял с его рук топор и пошел туда, где были видны кочки. Выбрал самую большую и лохматую, срубил ее.

— А это зачем? — удивленно спросили мы.

— Говорят, дикие животные называют нас, людей, кочкаголовыми. Вот и мы приглашаем на свой Кильвэй тундрового кочкаголового, — объяснил нам дядя.

— А! Это как бы понарошку, — сделали мы вывод.

Дядя засмеялся. Мы стали возвращаться к яранге. И тут Заур сказал:

— Смотрите, кто-то приехал.

— Гости из пээчвака, к нам на Кильвэй приехали, — сказал дядя.

Мы подошли к яранге, Андрей занес посуду с «чистой» водой, а дядя отнес за ярангу кочку и положил ее возле куч-

ки рогов. Мы зашли в ярангу, дядя поздоровался с гостями. Бабушка в миску с пюре из зелени налила из сосуда «чистой» воды и стала взбивать в кашу зелень. На большом қэмэңы лежала, дымилась грудинка важенки. Ее сварили целиком, не разделанную, с паховой мякотью тыргылпынит. На грудинке лежали тушка вареной куропатки и миска с взбитым костным жиром — таляпалгын. Куропатка — неразлучный и верный друг оленя. Даже в сильный мороз она летает вслед за стадом, бежит среди оленей, где они копытят снег в поисках ягеля. Во время Кильвэя из куропатки и оленьего мяса готовят жертвенную пищу, таким образом, не разлучая их. Мама в тақамангьёлгын сложила милгыт, тайңыквыт — семейные обереги. Одеда кэмлилюн — камлейку из ровдуги, со всевозможными висюльками. Бабушка уже взбила кашу из зелени, положила на қэмэңы поверх грудинки, вытерла травой руки. Встала, взяла старый кэмлилюн, подозвала меня и накинула мне его через голову. Я запротестовала:

— Не хочу я надевать этот старый кэмлилюн. Видишь, он уже дырявый и висюльки уже страшные, бусинки оторвались.

— Ты что! Это же кэмлилюн твоей прабабушки Тутыңэ. Даже если ты уедешь в танңытанские земли, он будет рассказывать тебе о наших обычаях, законах, о нашей оленней жизни. А ты, может быть, обо всем этом своим детям, внукам расскажешь, чтобы знали свои корни. Ақжа-мэй, не хочет! И это потомок чаучу, — ворчала бабушка, поправляя на мне старый прабабушкин кэмлилюн.

— А куда я поеду? — спросила я.

— Поедешь учиться, как твоя тетя Ира когда-то. Теперь она учительница. И ты на кого-нибудь выучишься. Хорошо бы на врача, — вздохнула бабушка.

Мама уже вышла с тақамангьёлгын из яранги. Дядя взял қэмэңы с грудинкой и тоже вышел.

Бабушка одела ситцевую камлейку, взяла энанэнтиткоёгын — мешочек с посудой для жертвоприношений, а мне дала мешочек с корешками. Мы вышли из яранги и прошли на место, где все было подготовлено к празднику. Мама с помощью милгыт уже разожгла жертвенный костер между кучкой рогов и задней стенкой яранги. На кучку рогов положили

ыквыт — наши семейные охранители и пыжики телят, туда же были прислонены милгыт — доски для разжигания священного огня.

Бабушка из мешочка вытащила энанэтыткоолгыт, дала знать рукой, чтобы я тоже вытащила корешки и положила на қэмэңы с грудинкой.

Мама ножом срезала мясо с грудинки, паховой мякоти — тыргылпынит, и с тушки куропатки, мелко нарезала, размешала с таляпалгын.

Бабушка взяла энанэтыткоолгыт, в каждую из них положила сначала кашицу из зелени, потом мелко нарезанное мясо с таляпалгын. Она каждому по отдельности: дядьям, Андрею, Зауру и Самире дала по энанэтыткоолгыт.

Они пошли тытлытыёчагты делать жертвоприношения.

Мама брала из қэмэңы мясо с таляпалгын и не спеша по кругу солнца, подкидывала в костер, оставшиеся в руке кусочки подбрасывала кверху. Потом взяла деревянной ложкой кашицу из зелени, немного положила на середину костра, остатки разбрызгала на кучку рогов.

Подошли дядья, Андрей, Заур и Самир. Бабушка дала им слепленные из таляпалгын и зелени олений и корешки.

— А почему из таляпалгын и зелени лепят олений, а рога им делают из ивовых веточек? — спросила я.

— Из таляпалгын — чтобы олени были жирными. Из зелени — чтобы богатые пастбища были. Рога из веточки ивы, потому что это растение оленя. Ее используют во всех жертвоприношениях, чтобы была оленья удача, — разъясняла бабушка.

— А что это за корешки?

— Это иикит и лемқут. Их собирают, когда они еще не зацвели. Эти корешки сушат, хранят и берут с собой всю зиму, на оленную удачу. А весной, когда земля просыпается, во время праздника Кильвэй, возвращают природе.

Бабушка набрала в энанэтыткоолгыт кашицу, кусочки мяса, таляпалгын и сказала мне:

— Ну, нам теперь тоже можно поблагодарить духов.

Капюшон старого кэмлилюн все время лез на глаза, и я его откинула. Бабушка опять его натянула мне на голову:

— Во время жертвоприношений нельзя обнажать голову.

— Почему? — снова спросила я.

— Қоо. Так издавна ведется, — ответила бабушка.

Мы пошли на восточную сторону яранги. Опустилась на колени. Бабушка прикрыла глаза и что-то начала шептать, потом открыла их и дала знать, что надо делать жертвоприношение. Под конец руками сделала небольшую ямку на земле и выложила туда кусочки пищи. Когда уходили, бабушка сорвала несколько травинок, одну положила мне за пазуху. Когда пришли и остальным, по травинке положила за пазуху маме, дядям, Андрею, Зауру, Самиру и все время приговаривала:

— Гэ, нымэльэв. Гэ, эчвэрагыргын.

Потом мама, бабушка и я помазали костным жиром-таляпалгын милгыт и ыквыт.

Бабушка положила в котомку нарезанное пластами мясо, помазанное таяпалгыном, вымя важенки и подала дяде Тымнеквыну, сказав при этом:

— Отнеси угощение пастухам, которые дежурят в маточном стаде.

Дядя Тымнеквын — это мамин младший брат. Он взял котомку и молча, широко шагая, направился в сторону маточного стада — рэквыт. За ним увязались Заур и Самир.

Дядя Тнескин взял қэмэңы с вареной грудинкой и поднес гостям. Гости сидели полукругом недалеко от кучки рогов.

Бабушка подошла к қэмэңы и стала тонкими пластами нарезать мясо. Потом намазывала их костным жиром — таяпалгын — и такие своеобразные бутерброды подавала гостям, при этом приговаривая:

— Угощайтесь, гости дорогие.

Мама поднесла две миски — в одной была просто каша из зелени, а в другой — каша из зелени, взбитой с вареными телячьими мозгами. Началась оживленная беседа. Гости сели поближе к қэмэңы и уже сами себе стали нарезать мясо. Я взяла тушку куропатки, отсоединила от грудки мясо и подала бабушке Айнонтону. Но она отказалась и сказала:

— Мы лучше с Эттык поедем кашу из зелени, взбитую с телячьими мозгами, так как мясо жевать нам нечем.

Когда трапеза закончилась, бабушка сказала:

— Рэквытјэлвыл мынагтатъан (Погоним маточное стадо).

Мужчины взяли за самые нижние ветки ивы и потянули кучку рогов ближе к яранге. Женщины шли следом и раз-

махивали широкими рукавами своих керкеров при этом покрикивая:

— Ок! Ок!

Потом гости вереницей пошли к входу в ярангу. Мама и бабушка сложили в таўмангёлгын милгыт, и тайңыквыт. Дядя Тңэсқын взял его и пошел вслед за гостями. Мама сложила в мешок из камуса энанэнттыткоолгыт, положила его на қэмэны и пошла вслед за дядей. Бабушка положила на костер плоский камень, взяла кочку, и мы пошли за мамой. Когда вошли в ярангу, бабушка сказала мне:

— Ну теперь можешь снимать кэмлилюн, — и помогла мне его снять.

Когда кэмлилюн был снят, я такую легкость почувствовала, как будто с моих плеч сняли тяжелую ношу.

Гости сидели возле полога. Мама поднесла к ним чаёолгын. Пока они ели кровяную похлебку, чайник вскипел. Мама убрала тарелки и поставила на чаёолгын чашки, заварник. Бабушка поднесла стопку лепешек.

После чаепития, гости разъехались. Нужно было спешить. На днях должны были объединить рэквыт и пээчвак. Начинались длинные кочевки к летней стоянке. Снег уже интенсивно таял и поэтому каждый день был дорог.

Бабушка и мама сложили тайңыквыт и милгыт в ңыркир — большой мешок из бычьей шкуры, в котором обычно перевозили священные вещи. Этот ңыркир лежал на нартах, которые всегда стояли с восточной стороны от полога в яранге и зимой, и летом. Даже весной после отела, когда мы спешно кочевали к летней стоянке и ярангу не ставили, а ставили один полог, чтобы было, где поспать перед очередной кочевкой, эти нарты стояли с восточной стороны.

Потом бабушка стала чистить энанэнттыткоолгыт, а мама подняла бак с дроблеными костями — таятал и отнесла его на то место, где проводился праздник. Она вывалила дробленые кости возле потухшего жертвенного костра. Но не весь, на дне бака остались бульон и немного дробленых костей.

В десяти шагах от яранги лежали на привязи три собаки. Мама направилась к ним. Отвязала цепь, к которой был привязан старый пес — оленегонка Вытэл и повела его туда, где вывалила дробленые кости. Подойдя к кострищу, привязала

собаку к кочке. Вытэл, поджав хвост, будто боясь, что все это у него отберут, стал с жадностью, торопливо есть дробленые кости. Остальные собаки сели и терпеливо ждали, когда о них вспомнят. Мама обратилась ко мне:

— Доча, принеси у Умки и Айки миски.

Я побежала к собакам. Они встали навстречу мне, радостно завиляли хвостами. Умка — белая лохматая собака, а Айка — черный пес, со свалывшейся по бокам шерстью. Я взяла миски, которые лежали подле них. Подбежав к маме, отдала их ей. Она поварешкой со дна бака налила в каждую миску бульон с дроблеными костями. Остаток вылила на кучу и унесла бак в ярангу. А я миски с едой отнесла привязанным собакам.

Так прошел праздник Кильвэй.

Через два дня стадо соединили, отбили мооҕор — ездовых. А вечером следующего дня, после отбивки ездовых, мы разобрали ярангу, и целую неделю, останавливаясь в дневное время на отдых, кочевали на летнюю стоянку. Кочевали ночами, потому что днем на солнце снег подтаивал, становился рыхлым, и ездовым оленям тяжело было по нему тащить грузовые нарты. Мы спешили дойти до подножия Ейчгиңэги (Ушканий хребет) до того, как вскрыются мелкие речушки. Там постоянно дуют ветры, а это значит, что гнус и овод не так сильно будут мучить оленей.

А летом пастухи погонят стадо к морю, чтобы там олени глотнули морской воды. Оленеводы со стадом идут туда месяц, у моря задерживаются всего лишь на один день, но оленям и этого достаточно — зато целый год не будут болеть.

## Ночь

*Посвящается моей маме, бабушке и всем, кто там.*

Говорят, если долго смотреть в одну точку, она начнет двигаться. Наш плацкартный вагон стоит посреди ночной степи. Нас привез сюда вечером один большой поезд, а утром подхватит другой — так в РЖД решают вопрос с теми, кому нужно в такие непопулярные места, как наше. Прямых поездов нет, только вагон с ожиданием в ночи.

Я лежу на верхней полке и пытаюсь разглядеть в окне хоть что-то, кроме густой черной мглы. Через сутки я окажусь у бабушки с дедушкой в крошечном поселке и проведу здесь три месяца. Сначала буду есть черешню, потом клубнику, вишню, малину и наконец арбуз. Груши я попробовать не успею, потому что уеду назад в Петербург. Эта последовательность будет повторяться из года в год, пока однажды я из нее не вырасту.

Я бесцельно брожу по двору взад-вперед. Он занимает чуть больше места, чем наша с родителями хрущевка в Петербурге. Бабушка напоминает, что если завтра я снова буду валяться в кровати до обеда, то я стыдобушка. Стыдобушкой я оказываюсь часто — например, когда не хочу собирать косточки абрикосов и раскладывать их рядами во дворе. Или когда возвращаюсь с прогулки позже обещанного. Мы с подругой Олей идем по длинной Первомайской улице и вдалеке видим свет. Этот свет — бабушкины бело-седые волосы. Она стоит посреди дороги и высматривает «стыдобушку». Стыдобушка торопится домой.

Я учу бабушку модным словам. На дворе двухтысячный год, и все цитируют «Брата 2». Когда у Данилы Багрова на трассе Нью-Йорк — Чикаго ломается машина, он ловит попутку и объясняет водителю: «Май кар — кирдык». Я повторяю бабушке слово «кирдык», оно ее веселит.

Дедушка водит меня на поле, играть в футбол и кричать всем самолетам: «Мама, мы здесь!» Я очень скучаю по маме, и дедушка так меня утешает. Отдышавшись, макаю печенье в чай. Иногда печенье проваливается в стакан, и я пью жижу. Еще мы ходим купаться на ставок — пруд, по бокам поросший камышами. Ставок в поселке три, и в первом не так давно утонул мужчина. Я купаюсь во втором, а третий ставок я никогда не видела.

Раз в пару недель дедушка ходит в баню. Собирается вечером, надевает кожаные босоножки с пряжками и исчезает в ночной тьме, а возвращается к вечеру следующего дня. Я представляю, как высокий, статный дедушка с полотенцем за спиной шагает через балку, распугивая змей звоном пряжек, а к рассвету выходит на плато, в центре которого возвышается баня. На самом деле дедушка ходит к другой женщине. После бабушкиной смерти он даже женится на ней — так сильна по-прежнему будет их любовь. Бабушка стойко носит в себе эту тайну всю жизнь и только на своей с дедушкой золотой свадьбе вдруг разрыдается, но сразу утихнет.

По вечерам мы смотрим телевизор. Помимо бразильских сериалов (главная героиня, как мне слышится, живет в «хрущобах» — то есть там же, где мы с родителями, понимающе отмечаю я) и «Фантомаса», порой показывают ужасы из реальной жизни. На экране идет хроника, где грабители врываются в дома и пытаются жителей горячими утюгами, чтобы узнать, где спрятаны их деньги. После увиденного я долго сижу в детской у окна: нужно успеть разбудить дедушку, если во дворе покажется тень врага. Когда дедушки нет дома, я понимаю, что дело — труба, и просто трясусь под одеялом.

Однажды меня чуть не похищают. Я, как обычно, шатаюсь по двору и строю большие планы на жизнь. Шум двигателя настораживает сразу: здесь в поселке машины — редкость. Еще бóльшая редкость — машины около нашей калитки. Пару раз за лето сюда вкатываются наши шумные родственники, но это явно другой случай. Двое мужчин в машине начинают со мной разговор: «А мы к дедушке твоему приехали, мы его старые друзья. Поехали с нами на праздник, дедушка уже там». Во-первых, я знаю, что дедушка в доме, во-вторых, недавно с бабушкой мы читали в газете, что детей крадут и продают «на органы». Я бормочу что-то вроде «Нет, изви-



ните» и убегаю в дом, закрыв его на все засовы. Как и все самые жуткие события в жизни, это кажется почти нереальным уже спустя пять минут, в тишине дома с мерно тикающими часами. Бабушка, кажется, толком не поняла по моему рассказу, что произошло, а бабушке я говорить не стала.

Иногда после обеда бабушка сидит со мной в детской. Я вожу пальцем по узорам тяжелого ковра на стене и прошу ее рассказать «про войну». Далее следуют знакомые слова: «немцы гнали из села», «мама меня потеряла», «люди сказали: никогда не найдешь», «мама кинула иголку в стог сена и загадала, что если найдет иголку, найдет и меня. Нашла». Меня завораживала история про иголку и сила воли прабабки Ксюши. Говорили, что прабабка Ксюша была ведьмой. Однажды соседка пустила сплетню про ее сына. Через три дня прабабка встретила соседку на рынке, заглянула в глаза, и с тех пор на эту женщину обрушились несчастья. Еще прабабка предсказывала будущее, и каждый в семье жил со своим прогнозом. Кто-то должен был выйти замуж трижды, кто-то — получить травму левого глаза. Только меня прабабка Ксюша увидеть не успела. Маме она пообещала славу и много денег. Возможно, мама до них просто не дожила: сила колдовства сломалась об обширный ишемический инсульт и бешеную аритмию.

После игры в домино мы с бабушкой молимся вслух перед сном. Я хихикаю и коверкаю «да приЕдет царствие Твое». Бабушка продолжает сурово и набожно шептать. Засыпаем. Дни идут по кругу, один за другим.

Летом 2001 года мне исполняется четырнадцать, и я нахожу занятия поинтереснее, чем торчать среди абрикосовых косточек. Теперь я мчу в летний лагерь по путевке от маминого университета, совершаю первые вылазки на петербургские крыши (однажды застряну там на несколько часов), слушаю подпольный рэп про войну в Чечне и пробую «Балтику Девятку» с соседкой (меня тошнит). У меня начинается переходный возраст. Больше я бабушку никогда не увижу.

Когда бабушка умерла, был самый конец ноября. В коридоре раздался звонок, мама взяла трубку и бессильно вскрикнула. Папа держал ее за плечи. Я почему-то сразу догадалась, что произошло. Моя тетя вспоминала, что перед смертью бабушка попросила развернуть от нее фотографии в стекле сер-

ванта: там были все мы и мешали ей умирать. А еще — что почти совсем в финале бабушка сказала, что ей кирдык.

РЖД давно изменили маршруты, и плацкартный вагон в степи больше никто не оставляет. По телевизору не показывают хроники про утюги, черешню я покупаю на Сенном рынке, а ставок, в котором я училась плавать, давно высох. Но что никогда не высушить — взгляд в ночную мглу. Он оживляет всё, от запаха абрикосовых косточек до тиканья старых часов, поворачивает фотографии лицами наружу, ставит времени шах и мат. Пока он есть — существует и то, что он видит.

Всё. Кирдык.

## Сады моего детства

САД — это здание мира. *Мироздание*, одним словом. Так я его вижу и ощущаю. В последние несколько лет, в Лондоне, судьба одарила меня маленьким садом, который пришлось возделывать, воспитывать, любить, сочинять заново. Но заглянув в прошлое, я неожиданно обнаружила, что САД, то есть звезды, цветы и птицы (и, как ни странно, коты) всегда занимали в моем миропредставлении первейшие места. **Воспитание сада** — нежная наука, которую мне удалось постичь, может быть, именно благодаря детским воспоминаниям и скитаниям по белу свету, открывшим горизонты других, запредельных садов.

## Вишневый сад

Был, был у меня огромный вишневый сад, с пасекой, в раннем детстве — на хуторе Лысом, под Луганском. Его вырастил мой дед — Федор Лазаревич Химич. Потом цвела тундра — от самого окошка низкого деревянного домика в бухте Кожевникова, на море Лаптевых: туда увез нас с мамой мой отец, полярный летчик — Николай Андреевич Григорьев. Нигде в мире больше я не видела таких огромных и обильных незабудок: голубое море до самого горизонта! Синие созвездия, плывущие по высоким, волнистым, всегда влажным тундровым травам. «Кто видел тундру, Англию полюбит: такая же зеленая страна». Любить легко — ненавидеть трудно.

А зимой (кто видел — не забудет!) надмирные сады Северных Сияний распускали над головой свои ажурные алмазные кроны.

Потом была Игарка, с тайгой над Енисеем, с истекающими серной смолой гигантскими соснами.

После гибели мужа мама вернулась со мной на родину. Денежная компенсация за его героическую гибель при исполнении служебных обязанностей (спасал горящий самолет) помогла ей купить собственный дом в Луганске (Ворошиловграде), на улице Школьной 33 «а». Небольшой дом (две комнаты и кухня) — с достаточно большим садом: два абрикосовых дерева, вишня, две сливы и грядки с цветами. Огород городить маме было некогда: работала, училась, (она осталась вдовой в двадцать пять лет), воспитывала меня. А я была трудным ребенком, потому что, ослабленная всеми потрясениями и переездами, заболела детским туберкулезом. Верно говорят в народе: не было бы счастья, да несчастье помогло.

## Санаторий для ТБЦ — с мукой сладкою на лице

И открылись моему детскому взору роскошные санаторные сады — на Черном море, в Приморске (говорят, это был когда-то любимый курорт румынского короля) — до сих пор помню пряный, сумасводящий запах субтропических растений после летнего дождя. Оттуда был привезен домой олеандр, цвел все лето во дворе, ручной и домашний, но к зиме пришлось с ним расстаться: оказалось, что запах его в закрытом помещении вреден и даже ядовит. Это были первые уроки экзотических, коварных ботанических изысков: незнакомая красота может быть опасной...

Случилась в моей детской жизни и майская Одесса (санаторий «Жемчужина»). Большие Фонтаны в дымящихся каштанах, сиренях, наркотический дурман цветущих акаций. Степь и море — самый цветущий, благоуханнейший в мире воздух! Потом его искала везде и обнаружила... на Барбадосе — ближе не нашлось. Память обоняния играет в моей жизни немалую роль. Это как музыкальная память: ноты запахов, мелодии благоуханий могут всколыхнуть в душе такую бурю чувств, что диву даешься...

И вершина всего — год, проведенный в сердцевине Карпат, в гуцульском городке Косов («Но, мама, в Косове — так много осени!» И мама смотрит, не удивляется, \ лицо меняет-

ся, как перед сном»). Достоверно известно, что любили эти места польские короли и крулёвны. Пряничные, вычурные двухэтажные домики среди огромного, звездного, яблоневого сада — бывший приют польской аристократии — стал детским туберкулезным санаторием. И напомним тем, кто не знает или забыл: и пребывание, и суперкалорийное (не по теперешней моде) питание, и лечение тогда, в шестидесятые годы, было бесплатным. Нам, подросткам, повезло несказанно: «за просто так» поселились в сказочных местах. Вот если бы не уколы, процедуры, да режимные рамки, да (о, ужас) таблетки горстями.

Но это был не театр, и не книжка, и не сказка про королей. А бывало так, что утром к завтраку не выходила самая розовая и веселая из нас: жар, лихорадочное возбуждение и чахоточный румянец на щеках — симптомы открытого процесса и скорой смерти.

Запах тленья в осеннем саду. Расписная керамика осенних карпатских гор. Оглушающий аромат невероятно огромных, брызжущих розовым соком яблок. Больше я таких нигде не ела. Хоть и объехала «весь свет».

В этом санатории я закончила десятый класс (предстоял еще и одиннадцатый). Прочла много прекрасных книг (санаторная библиотека трещала от собраний сочинений всех и вся!), написала много веселых писем друзьям и много печальных стихотворений. Два любимых поэта той поры, знаемые наизусть — Есенин и Тютчев. Единство противоположностей.

Друг моей юности, доктор философских наук, поэт и теоретик литературы, К.К. — любит цитировать одно полудетское двустишие: «Шестнадцать лет, шестнадцать лет, а смерти нет, а смерти нет». Что на это скажешь. Философам видней. И вправду: не то смерти вовсе нет, не то ее пока что нет. В шестнадцать-то лет.

## Ван Гог с Гогеном

Я выздоровела — это ли не чудо — и вернулась в свой абрикосовый домашний рай на улице Школьной и в свою школу — уже повзрослевшей, заглянувшей туда, в необозри-

мое пространство небытия, где цветут райские сады, но умирают дети. Было открыто и явлено мне нечто столь неопишное и опасно прекрасное, о чем в юности лучше не знать. Печать печали на моем челе отпугивала сверстников. Да и я могла общаться только с теми, кто был намного меня старше, много читал, любил музыку, живопись, книги, хотел невозможного и не хотел замуж. Двадцатитрехлетние «старички» стали моими друзьями и первыми, что скрывать, ухажёрами.

Любимые книги той поры: трехтомники Жан-Жака Руссо, Тынянова, Герцена, графа Витте, Тютчев, Фет, Боратынский, Брюсов, Федор Сологуб — обожаемые мизантропы: «Я ненавижу человечество, я от него бегу спеша, мое единое отечество — моя пустынная душа». Мы ли выбираем поэтов или они нас выбирают?

Мама смогла собрать для меня небольшую, но очень изысканную и разнообразную домашнюю библиотеку. В доме всегда звучала классическая музыка: радио и радиола — две музыкальные мои няньки. Перголези — до сих пор помню наизусть: музыкальная память заменила неоконченное музыкальное образование.

А бессонные ночи восторга над толстым томом «Постимпрессионизм»! Гоген с Ван Гогом стали близкими родственниками, о которых хотелось узнать всё. И познавалось. Теперь, когда открылись мне все наижеланнейшие музеи мира, удивилась тому, что абсолютно там, как дома. Я ведь уже всюду побывала — до. Книги, книги, альбомы, альбомы, пластинки, пластинки... простите, простите...

Рифма в духе Вознесенского, вырубившего тогда же треугольную нишу в душах пишущих школьников, ранее занятую молодым Маяковским, возлюбленным некогда мною до юной, необузданной истерики.

## Расколотый хрусталь

А был ли Нальчик-то? Может быть, Нальчика-то и не было?

Но — был. Расколотый хрусталь — хребет Кавказа. И в летнюю жару расцвел в поднебесье хрустальным фейерверком снежных вершин, сверкающих, кто видел, разноцветно. Кав-

каз — калейдоскоп природы. Два почти года я проучилась в Кабардино-Балкарском университете. По совету врачей: курортный климат, курортная зона — слабые все еще легкие.

Знаете ли вы, как прекрасен во все времена года предгорный, рукотворный, царственный парк в Нальчике? С ампирическими беседками сталинской имперской поры, с вековыми деревьями в перспективах аллей. И гулять можно было бесстрашно. И у входа жарились шашлыки — по рублю за порцию. А в книжном угловом магазине я купила первую книгу Андрея Битова и разных прочих шведов. Купила «Земное небо» Левитанского, поняла, что именно он «мой поэт», разыскала его потом в Москве. Именно он сказал мне, семнадцатилетней, фразу, которая помогала мне потом преодолевать ледяные торосы на литературном, так сказать, поприще: «Очень многие сейчас пишут стихи. Но вам я говорю впервые: вы можете продолжать *это странное занятие*».

«Странное это занятие» поглотило меня полностью и определило все мои устремления с четырнадцати лет. «Золотая роза» Паустовского запустила свои волшебные шипы в самую сердцевину души. Описанное в книге состояние вдохновения и восторга я восприняла, как то единственное, к чему следует стремиться: парение души над миром.

В пятнадцать было впервые напечатано мое стихотворение в газете «Ворошиловградская правда». И в косовской газете было напечатано несколько, вполне школярских, моих виршей, потому что писала я, кстати, и на украинской мове. Много позже все же пришлось выбирать: победила имперская ориентация, что греха таить.

А как цветет, пылает, горит, размножая, размазывая по небу краски, чукотская тундра, я узнала только в девятнадцать лет, когда «уехала за стихами» на Чукотку.

Рокуэлл Кент — может отдыхать. Не на тот Север ездил! Такие краски ему и не снились. Содрогнуться можно от наслаждения, увидав.

## Золотая Чукотка

Самая первая запись в моей трудовой книжке гласит: пос. Билибино, Золотая касса, ученица отдувальщицы (!!!). Пом-

нится, в какой восторг это привело Бориса Абрамовича Слуцкого, на одном из совещаний молодых писателей, в середине семидесятых! Он всерьез считал, что долитературные профессии играют большую роль в творческом становлении, и с детским азартом выпытывал подробности у юных и не очень семинаристов. Он признался, что никогда не слышал о столь необыкновенной и редкой профессии, заключавшей в себе умение по восемь часов в день, в прямом смысле, дуть на золото, отдувая от него золотую пыль в специальный контейнер. Потом я стучала молоточком по золотым слиткам, выбивая, выщелкивая из них кварц. Настоящее, необработанное золото оказалось зеленым, красным, белым, оранжевым, отливало порой багряным фиолетом. Слитки случались невиданных форм, совершенных по замыслу и исполнению. В конце дня голова уже кружилась, но чего не сделаешь, чтобы познать, как казалось, истинную, не книжную жизнь. Чтобы работать в золотой кассе, нужно было иметь железное здоровье. Да и душа моя питалась другими соками. Ожидаемого восторга и вождения к золоту, как таковому, я не только не испытала, но сделалась к нему равнодушной на всю жизнь. Дескать, и не такое видали на своем веку!

Я физически не осилила редкостную возможность трясти на кухонном противне (без одного бортика) по пять килограммов (норма!) золота в день. Так что я не доросла до «отдувальщицы». На всю жизнь осталась ученицей.

Поскольку я была студенткой факультета русской филологии в академическом отпуске, меня взяли на работу в районную газету, не имевшую еще даже названия. Был объявлен конкурс среди сотрудников. Пошли знаковые для тех времен штампы — знамена коммунизма переливались там всеми цветами идеологически верного пламени. Толстые тридцатилетние дяди спросили и меня. «Золотая Чукотка» — сказала я. Посмеялись, до тряски животов, но все же включили в список, и отправили в Магаданский обком партии на утверждение. Что уж там сверкнуло в душах идеологических дядек-черноморов, неизвестно, но мое название утвердили! К вящему изумлению коллег.

Я и забыла об этом в дальнейших житейских передрыгах. Через много лет, уже в Москве, мне напомнил эту историю очевидец и соучастник событий. Газета все еще живет, хотя



золотоносные те края, по слухам, сильно оскудели.

Это, кстати, не такая простая история, и она имеет прямое отношение к предмету разговора. Ведь именно тогда, в конце шестидесятых, шли политические процессы, мои любимые писатели становились изгоями и «подписантами». Было невозможно не только вырастить сад в душе, но и семена для посева, казалось бы, усердно изымались из обращения. И все же, все же... Там ли, на Чукотке, или еще раньше, но душа моя зацепилась воздушными корнями за облако, плывущее над жизнью. И моя «Золотая Чукотка» — свидетельство тому.

## Неказанская сирота

Сад мой, истрепанный ветрами, измочаленный ливнями, измученный тем, что уже случился август, а он еще и не жил в полную силу — явно обнищал в борьбе за существование. И молодость не задалась, и старость, то бишь осень, не за горами. Сад у меня английский, то есть газон, бордюры, каменные горки, вечнозеленые кусты и кустики, и много, очень много цветов — по сезону, круглый год. Да, круглый год склоняют розы свои терновые венцы...

А тогда, в мою первую зиму в Казани, была явно самая холодная и снежная погода из всех возможных. В короткой синтетической шубке, в тонких кожаных ботиночках, я часами стояла на ледяном, остробоком сугробе, черном от химической воздушной взвеси, и это называлось — ждать автобус с Оргсинтеза (окраина Казани) до университета (центр). Так далеко от центра жил мой родной дядя, брат отца, заманивший меня в чужой город посулами родственного тепла и невольно, надо думать, обманувший.

Не о том речь. Речь о том, что и речь вокруг меня звучала иностранная, временами похожая на французскую — прононс в татарском языке был моим первым открытием. Вторым — музыка чужестранная, почти китайская: пентатоника. И ни одного знакомого лица, ни одной двери, куда я могла бы постучать — все это было за чертой, за границей моей души. Первая моя чужбина.

Я с отличием сдала все экзамены, чтобы догнать свой курс и перевелась на вечерний факультет, чтобы после ди-

плома меня не могли заслать, по тогдашним драконовским законам, в иноземную для меня татарскую деревню. Это называлось тогда — отрабатывать диплом. Но все это внешняя сторона жизни. Бездомность и неприкаянность порой даруют невиданную свободу от бытовых проблем и прочих тягостных обязательств. Один чемодан и раскладушка! Такой свободной я больше никогда не была. Обросла, конечно, как и все — ракушками по днищу. Обжилась и в Казани.

Ночами меня мучили жуткие сны о войне, хотя самой войны я никогда, к счастью, не видела: она настигла только поколение моего сына, уже сейчас. (К слову, когда Вася был маленький и «воевал», меня это ужасно раздражало. «Зачем ты все время играешь в войну, Васенька? Ведь войны сейчас — нет!» Пятилетний мудрец приник ко мне, успокаивая, и прорек: «Не волнуйся ты так, мамочка! Пока я вырасту, какая-нибудь война обязательно будет!»)

Я никогда не была уверена, что проснусь, потому что мир уже многие годы стоял на грани атомной катастрофы. Сейчас об этом все забыли, но истерия была страшная, нагнеталась жуткая атмосфера. И было по-настоящему страшно жить без надежды дожить до двухтысячного года. Вот на этом пепелище, на химических сугробах вполне возможной вечной ядерной зимы, я и пестовала свой *детский сад* — ранние, казанские стихи. Что же тут удивительного, что никто не хотел издавать мою первую книгу! «С таким настроением нельзя идти в большую литературу!» — поучали меня рецензенты разных издательств. И самое странное, что они были правы! Теперь я это понимаю. Такая концентрация беды и печали могла пошатнуть душевное здоровье любопытствующего читателя. Да и уныние, как известно, грех. Зачем было пугать простых советских людей тем, что не случилось.

Но случиться могло! И есть тому свидетельства — из первых уст! «Поэт всегда — свидетель жизни. А не участник — не жилец». Мне недавно довелось убедиться, что мы все, ныне живущие, и жильцами-то остались по чистой случайности, да по Божьей воле. Довелось нам тут, в туманном Альбионе, подружиться с непростым пилотом королевской, надо отметить, авиации. Много лет он прослужил на северных британских островах, где климат близок к заполярному. И всякий раз, заправляя горючим свой бомбардировщик, не мог знать,

какое боевое задание получит. Но направление знал точно: через Волгу и Урал — до Сибири. Мог бы сбросить свой груз и над Казанью. Знал он и то, что горючего у него хватит, если вообще долетит, только в одну сторону. Были у них даже тренировки «на выживание». Но по большому счету, они все уже тоже были не жильцы на том, послеводородном, не дай нам Бог, свете. Сейчас он живет на юге Англии, где климат, как на южном берегу Крыма. Его дом похож на стеклянный куб, прилепившийся к утесу. Из окон видно только море и небо — это держит его и сейчас в состоянии полета над миром, столь привычном для него. Красивый, веселый и гостеприимный, совершенно некровожадный любитель кровавых бифштексов, путешественник и игрок в гольф. Человек из моих снов, пилот падающего на меня самолета...

## Здесь жизнь моя жила

Редкий шанс. Бесценный опыт. Приблизительно так высказался Юрий Давидович Левитанский, когда узнал, что меня, по большому, кстати, благу, взяли на работу в школу умственно отсталых детей. Сначала я подрабатывала там в студенческие каникулы — секретарем (трудно поверить) приемной комиссии. Конкурс, надо сказать, был огромный! А потом я стала вести там уроки — и в школе, и на дому: была такая привилегия у очень больных детей, например, у олигофренов-эпилептиков, у психопатов.

Я уже печаталась в казанских газетах, участвовала в телевизионных передачах, делала радиорепортажи, воспринимая все это, как часть литературной профессии и получая симпатичные, но маленькие гонорары. А зарплата за два-три урока в день (литература-история) в спецшколе была столь велика (платили большие надбавки «за вредность», как и в золотой кассе, кстати), что ее хватало на книги, пластинки, подписные журналы и постоянные поездки с подругой в Москву на театральные премьеры, выставки и Дни Поэзии. Были и такие дни. И жаль, что сплыли.

А в Казани днем я любила, к удивлению окружающих, обедать в ресторане, где мне все казалось и вкусным, и доступным. На свои, так сказать, трудовые. Вечером шла или на

лекции в университет или на репетиции в студенческий театр УТЮГ (университетский театр юмора и гротеска). Возвращались мы после занятий или репетиций поздно — почти всегда на такси. Никаких заработков на такую жизнь ни мне, ни Светлане, при таком невиданном для Казани времяпровождении, не могло хватить. Нам помогали наши мамы. Благодаря им, мы выписывали (на двоих) двенадцать журналов в год, и каждое лето отдыхали то в Прибалтике, то в Гагре, то — кто где.

## Кто есть кто

Для всех, кто родился в Казани и с детства был обогрет бабушкиными дачными садами, был горячо любим окрестными лесными, волглыми просторами, — странным казалось мое всегдашнее стремление уехать, уехать — как можно быстрее и дальше. Мне не с кем было любить эту чуждую мне растительную роскошь. Меня сводил с ума не запах мокрой смородины, а душный кипарисовый воздух. Я боялась купаться в Волге: там глубоко, темно и быстро. Там сводит пальцы, леденит тело саднящая вода. Не тепло мне там было, нелюбимо.

Моя мама в это время жила на Чукотке — это была чистая жертва с ее стороны. Она понимала, что я должна получить образование. К тому же она была очень начитана и хорошо знала, что плодами вдохновения сыт не будешь. Она присылала мне с Чукотки деньги и книги. И среди них — большой том писем Винсента и Тео Ван Гога, который, как все знают, содержал брата до последних дней. «Я буду твоим Тео» — написала мне она. И есть, слава Богу, по сей день, снимая с меня теперь часть хозяйственных хлопот. Несколько лет назад, когда меня приняли сразу в несколько Международных академий, когда мне прислали из калифорнийского и кембриджского биографических центров толстые тома энциклопедий «Кто есть кто» с моей биографией, мама моя вдруг сказала: «Ну, что ж. Это тем более ценно, что ты — дочь вдовы и училась на медные деньги».

Светланина же мама была известным в городе дефектологом, директором (той самой) школы и (каким-то там) депу-

татом. Астраханская татарка с редким именем — Диляфруз, блондинка с голубыми глазами и белоснежной кожей, певунья с чудесным, немислимо высоким голосом, трудоголик и хлебосольная хозяйка. В их доме я прожила несколько лет, как в своей семье. Этому чуду есть объяснение, но это долгий разговор. Мы были мамины дочери, что скрывать. И успели сказать им спасибо.

Поэзия, литература, театр, поющие, загитаренные друзья, кипящее веселье. Запретные радости — то есть запрещенные книги, читаемые по ночам. Легкие влюбленности и никакого телесного жжения. Теперь, жизнь-то уже проживя и разную, и грешную вполне, с удивлением понимаешь, что юность наша была полна высоких радостей и нисколько не тяготилась своим аскетизмом. Куда уж оригинальнее. Страшно даже.

Было бы страшно, если бы не имело продолжения. Случилась и любовь, и дети, и семья. Не проси у хана мешочек риса. Может, он уже выслал тебе навстречу караван с невиданными дарами.

## Город гремит

Поедем дальше, что ли? А куда ехать-то? Только в Москву, в Москву. Дальше и земли-то нет никакой. Дальше повсюду чужь да вепсы. В столице тогда было сосредоточено все, чего душа желала. Вокруг нее простиралась — до края света — культурная полупустыня. Но одно дело командировка в ад (праздники, театры, визиты к Ю.Л. с пачкой новых, хрустящих виршей), и совсем другое дело полная эмиграция туда же (кипящие котлы, раскаленные сковородки и смрадный серный дух). Москва для человека из провинции хороша только в краткий приезд. Обжить эти огромные, пустырные пространства почти невозможно. Одной жизни мало. Для этого надо родиться не на Лысой, а на Николиной горе, в большом гнезде. А так — пришельца из других краев от тотального одиночества спасёт или цеховая принадлежность, или всю жизнь будешь тулиться к своему землячеству, если таковое нашёл. Но я-то, носимая по свету провидением, определявшим путь земной, возомнила что родом — отовсюду:

нам целый мир — чужбина, отечество — небесные сады... И была наказана — поделом: высоко я летела, да около — долго не было никого. Только сквозняки коммунальные, лопухи на Садовом Кольце (памятный мне палисадник), да фиолетовые комья выхлопных газов, падающие прямо в комнату из приоткрытой форточки. Шел в комнату, попал в другую — не привыкать.

Исполнились мечтанья трех сестер. Только Москва оказалась чернокаменной. И сад сгорел от черного мороза.

Гремел, круговращался на оси громадный город. Не тот ли, который наклевали на мою голову краснодонские мальчишки, когда дразнили меня, пришлую первоклассницу в красном бархатном капоре. Наверное, странно смотрелось мое пальто с пелеринкой в нищем шахтерском поселке. Чуждой казалась местным детишкам, говорящим на донбасском суржике, и моя «не такая» — московитская речь. Они гнались за мной дикой стаей до самого дома, скандируя хором дразнилки: «Гуси гогочут, город гремит — каждая гадость на «г» говорит!». Были и похуже: «Гришка, гад, подай гребенку...» Это была настоящая травля. И мне, семилетней, приходилось отстаивать свое право говорить, так, как я считала правильным и нужным. Это была первая моя битва за Слово. Я дралась до крови. И они — уж что было, то было — порой отступали.

Я приходила в чужой для меня дом в слезах, в поврежденной одежде. Целый год в Краснодоне — я была сиротой. Мама, вернувшись вдовой из Игарки, оставила меня на попечение родни, чтобы я не пропустила первый школьный год (да и жить нам с ней было пока что негде), а сама утрясала дела в областном Луганске. Наняв двух адвокатов, она затеяла судебную тяжбу с Игарской авиагруппой, отстаивая честь моего погибшего отца, добиваясь компенсации и моральной, и денежной. Напомню, ей было всего двадцать пять лет. И она, с помощью опытных юристов, выиграла дело! В середине пятидесятых! По переписке, на расстоянии! У государства!

Мне стали выплачивать большую пенсию — до самого совершеннолетия. Но сиротский год в Краснодоне показался мне бесконечным.

Мама навещала меня редко. И я уходила от всех в огород-

ные дебри большой и богатой усадьбы. Там, у границы сада, протекал ручей и над ним росла старая мощная ива. Я и плакала там, и все равно чуяла и обоняла, и впитала в себя навсегда благодать благоуханной дымки горючих донецких степей.

С той поры, как ни гремят вокруг меня города, я говорю только так, как считаю нужным.

## Написанному — верю

Как дед мой, Федор, чуял воду — рыл колодцы в безводной степи, так и я, видимо, с детства чуяла гать в дрожащей, дрожжевой трясине неблагоприятных обстоятельств. В тех немногих чемоданах, которые служили мне часто и шкафом, и письменным столом, не было никакой пригодной для жизни утвари, ни подушек, ни одеял. Как-то все потом само находилось на новом месте (да и мама, это всегда подразумевалось, не оставит непутевую дочь своим попечением). Зато повсюду я возила чемодан битком набитый письмами друзей (они и по сей день со мной). Полчемодана также занимала моя главная ценность: большая, тяжелая, чудесная, давно наизустная — антология русской поэзии первой четверти XX века (под редакцией И.С. Ежова и Е.И. Шамурина). Это бесценное сокровище, пережившее со мной все перетряски, усушки, утруски, все расстройств и переустройств жизни, служило мне путеводной звездой и в безводной литературной пустыне (кто есть кто в русской поэзии) и в бурной личной жизни (тяжелый том — почти булыжник). Эта книга — мой талисман. Писатель, критик, преподаватель университета Мусарби Гисович Сокуров, великодушно решил, что я имею на нее право, и однажды вырвал ее с корнем из своей прекрасной домашней библиотеки, чтобы подарить мне, несмышленной и начинающей (термин) поэтессе (вполне корректное слово), когда узнал, что я взяла академический отпуск для отъезда на Чукотку.

Такие чудесные проявления доброты и благородства со стороны самых разных людей сопровождали меня всю жизнь. Это и была моя лотция в житейском море. Мой блуждающий сад — любимые книги и добрые люди.

У меня прекрасная память — дурного не запоминаю.

Зато помню забавное. И все на украинской мове. Один дальний родственник был страшно удивлен, услышав от меня девятилетней, что в красном коммунистическом Китае был когда-то император. «Звидкиля це ты знаєшь, чи ты там була?» (Откуда ты это знаешь? Разве ты там была?) «Ну, что вы, дядя Петро, зачем же мне там быть? Я в книгах про это читала.» «И ото ты пысаному — виришь?!». (Так ты значит написанному — веришь?!)

Верю, как ни забавно, до сих пор написанному — верю.

## Сага саду

Всякий раз, когда нужно было дать в печатное издание (все-таки печатали) нечто об авторе, то есть о себе самой, меня охватывала паника. Я бы хотела написать о том, что второй мой дед был стеклодувом. Созданные его дыханием вазы были похожи на невиданные, инопланетные цветы. Но нужны были только сухие факты, где родился, где учился. Важно было, *где живешь*, а не *зачем живешь*, к примеру. Однажды в Лондонском храме Успения Божьей Матери и Всех Святых архиепископ Анатолий Керченский сказал прихожанам, склонным сетовать на то, что не там они сгодились, где родились: **«Богу виднее, где вы нужнее»**. После этого я ощутимо перестала стесняться того, что не всегда живу дома — в урезанной на треть моей родной стране, где я когда-то жила повсюду.

От Лондона домой всего три с половиной часа лету. А мама моя летела ко мне сначала в Казань, а потом в Москву — с Чукотки — десять с лишним часов! Почувствуйте разницу.

Я с большим трудом преодолела свою автобиофобию. Говорят, что до желудочных колик не любил сочинять на себя донос в виде автобиографии и Антон Павлович Чехов. По словам Марианны Роговской, уклонялся от этого занятия Владимир Николаевич Соколов — любимый поэт, родной человек. Я рискнула. И мой маленький лоскутный мемуар — всего лишь садовая дорожка, путеводитель по перелетному, блуждающему по белу свету — саду.

Нелегко развенчать миф о сказочном преуспении



и удачливости садовладельца. Мои миражные сады всегда пробивались сквозь будничные одежды, прорастали сквозь кожу — обзавидуешься. Помню, с каким изумлением разглядывала меня, как диковинку в микроскоп, одна ровесница-поэтесса, с той только разницей, что выросла она в кожаных, дубовых, наследственных книжных садах — на московском асфальте. Она так и спросила меня — откуда вы все беретесь и что вам тут надо? И недавно она же меня опять спросила — книга в Японии? Почему именно у тебя? А я и сама не знаю.

Но знаю, что сад, который сейчас цветет вокруг меня, реальный, с белой калиткой в каменной стене, увитой вечнозеленым плющом, зародился поначалу в душе, был увлажнен слезами, унавожен ужасами реальности (*детский сад*), зарос чертополохом, лопухами, волчьей ягодой тоски и одиночества (*дикий сад*), пробился сквозь дурманский, искусственный мир и туман иллюзорных соблазнов (*ботанический сад*) и только тогда смог прорасти в реальность. Большое благо дожить до своего сада — выйти, в результате всего, туда, где всегда — и до тебя, и после — цветут и благоухают звезды, цветы и птицы (*звездный сад*). Чистая случайность (как и моя книга, изданная в самой любимой с детства иноземной стране Японии), то, что стряслось это счастье со мной — на четвертой (по счету) чужбине. Видимо, опять — несчастье помогло.

Кто же мог знать, когда пускался на дебют, чем это кончится.

## Прекрасная чужбина

Здесь не бывает зимы — в декабре в моем саду цветут розы. Сегодня, первого декабря двухтысячного года, я сделала фотопортрет одной из них: одинокой, желто-розовой, передаваемо многоцветной (сорт называется «Чикаго»). Как безумная мать не сводит глаз со своего ребенка, так я ловлю улыбку каждого моего цветка — фотоаппаратом. Четыре лета — четыре фотоальбома.

Я в этот сад пришла окольными путями. Обдумывая как-то возможный, отражающий суть состоявшегося бытования, девиз, я поняла, что он уже сам давно созрел, как плод. Пришлось снять его с ветки: «НИЧТО — НЕ СРАЗУ». Так было

всегда в моей жизни. Не сразу случился и сад.

Следуя за своим возлюбленным мужем его путями, смиряя нешуточные мирские амбиции, восемь лет тому назад оказалась я в странной ситуации: в древней, как мир, южной английской деревне. Да еще на ее окраине, в бывшем ночном санатории (пути Господни!) английских ассов времен Второй мировой войны, где теперь находилось мусульманское издательство, в котором трудился мой чудесный и непредсказуемый муж. Стоило мне выйти за порог уютной квартир-ки, окупаемой его трудами, как я оказывалась в средневековом Пакистане: странные одежды (укутанные во все темное женщины с закрытыми лицами), странные запахи неведомых пряностей, исходящие из окон и дверей, странная гортанная речь. Оказалось, что это — урду. Я и английского-то не знала толком (старательно учила французский, чтобы читать Поля Элюара в подлиннике). Так что, если бы я вышла из своего Исламабада (именно так называли санаторное поместье его новые владельцы) и дошла до центра (почта, паб, магазинчик, крикетное поле, храм XVII века) английской деревни Тилфорд, что в графстве Суррей, то и там я не нашла бы ни друга в поколении, ни читателя в потомстве!

После вполне ощутимой общественной роли (в России у меня выходили книги, шли по радио заранее записанные программы о поэзии, вышли в эфир мои телефильмы о Цветаевой, Гумилеве и Скрябине — об их пребывании в Англии) я вдруг попала в бездонный омут одиночества, изоляции, полной безвестности. Общительная до крайности («гением коммуникабельности» назвал меня один немецкий писатель, которого я в короткий срок перезнакомила с массой людей в его родном Мюнхене!), здесь я сразу же стала как бы слепоглухо-немая...

Вместо шума и гама огромного, родноязычного мегаполиса — настоящая глушь. Английская глубинка! Вот стою я одна среди огромного, зеленого и в декабре (это особый, насыщенный цвет, близкий к изумрудному) поля и смотрю в небо. Здесь и облака не плывут, а бурлят, пенятся и с огромной скоростью несутся над головой от моря к морю: остров. От сотворенья до скончания дней — Край Света был из Англии видней...

И Бог здесь явно не говорил по-русски. Иначе почему так

долго были пусты небеса надо мною? Четыре долгих года прошло, прежде чем я вновь услышала внутри себя томящую, тянущую музыку, от которой чаще забилось сердце. И вновь появились звуки, видения, неясные очертания катренов и строк, именно то, что облекается потом в слово, становясь стихами. По моему глубокому убеждению, побудительная причина любого творческого процесса — это попытка прикоснуться к небывшему до тебя. Всю свою жизнь, вначале неосознанно, а потом целеустремленно, я стремилась воссоздать стерео-слово, существующее вне меня и до меня, априорно. Моя задача — только услышать его, потянуть звук за невидимую нить и вытащить из небытия всю гамму смыслов. Как я могла надеяться обрести эту желанную звуковую полифонию в языковой изоляции, когда порою целыми днями (муж в издательстве дневал и ночевал) и слова сказать порусски мне было не с кем? Кроме разве что многочисленных диких кроликов, выкатывающихся прямо под ноги из ежевичных придорожных зарослей, да и тем было все равно, на каком языке ты выразишь свой невольный испуг.

А я и не надеялась. Я молилась. И старалась узнать, как можно больше о великих русских людях бывших в Англии до меня. Все это потом пригодились и стало теми немногими (всего семь) телефильмами, которые и сейчас еще мелькают на канале «Культура». «Дикая кошка» английская речь — ежедневно «царапала ухо», как некогда Осипу Мандельштаму — армянская. Душа молчала, как сломанный приемник...

Но постепенно разрастался круг английских и русских знакомств, состоялся переезд в Лондон. Поближе к храму — так я это расценила. И поближе, как оказалось, к саду.

И однажды осенью, когда я шла с прогулки из городского заповедного леса в сторону нашего дома (и сада), я вдруг вспомнила, что сад у меня уже был. И была калитка, на которой висел почтовый ящик, и я все бездомные свои годы видела их во сне: как я подхожу и вынимаю из ящика письма, письма, письма — от друзей. И просыпалась от сердцебиения: это было видение нашего дома в Луганске. Потерянный рай. И теперь, как оказалось, обретенный. Не райский, но все же сад, с белой калиткой и вождленным почтовым ящиком на ней. Круг замкнулся — даже улица, на которой мы живем: тихая и тенистая днем, ночью темная и пустая — какая-то юж-

ная, одесская, луганская, но уж никак не лондонская. И тогда я впервые почувствовала почти забытый толчок в сердце, зазвучали в душе призрачные, искомые стерео-слова, первые на моей уже почти обжитой и прекрасной чужбине. Я поняла, что молитвы мои дошли по адресу, небесная канцелярия заговорила со мной по-русски. И немая — обрела речь. Слепая — прозрела. Глухая — услышала пение (и хорошо, что не Сирены).

А стихи, когда «пишутся», пишутся везде — в Москве и на Алтае, в Лондоне и на Синае. Несколько лет назад в Москве во время прямого радиозэфира один дотошный любитель поэзии задал мне вопрос с подковыркой: «Как же вы можете жить на чужбине? Разве там можно стать русским поэтом?». Я ответила: «Стать им, может быть, и невозможно, но еще труднее *перестать* быть поэтом». Если Бог, конечно, поможет. А это, как известно, зависит не от места жительства тела, а от места обитания души.

## Усатые часы

*Моей прабабушке Фресе*

Сонька лежала в мягкой тёплой постели. Она только вынырнула из сна. Полупрозрачное синее утреннее море затопило комнату. Девочка потёрла глаза, старательно убрала непослушные медные проволочки волос с лица. Рядом с кроватью на скрюченном стуле кряхтела бабушка, с трудом натягивая шерстяные, как будто связанные из сухой цветастой травы, носки.

Сонька повернулась к бабушке, необыкновенно сладкое чувство пощекотало пятки и, испугавшись, юркнуло под одеяло. Кружка чего-то молочно-малинового опрокинулась внутри, в груди, в самой серёдке, рядом с запрыгавшим сердцем. Девочка вскочила на коленки и с молчаливым нетерпением посмотрела на бабушку. Но та в своих утренних заботах не замечала внучку. Она аккуратно зачёсывала гребёнкой свои лунные волосы. Прикрывая шею, волосы послушно ложились под зубчики короны.

Когда последние пряди были убраны, Сонька снова забеспокоилась. Она торопливо заёрзала, глядя, как бабушка надевает поверх просторной сорочки синий халат.

— Сонька! Что не спишь?!

Стул жалостливо скрипнул, бабушка подошла к кровати. Соня уткнулась в круглый прянично-ароматный живот.

— Ранешно время, — бабушка погладила по голове. — Вся ночь ворочалась, вскочила в такую рань — спи.

Сонька засопела.

— Кому говорено?

Девочка послушно укуталась в одеяло. Но как только бабушкины тапочки ушаркали на кухню, она снова вскочила и посмотрела на настенные часы. Длинный ус у них был вздёрнут ко лбу, а маленький совсем упал к подбородку.

Соня тихонько вернулась на остывшую подушку и придвинула к себе Хорька — выцветшую плюшевую белку, у которой не доставало одной лапы. Из кухни доносились хрип радио и звон посуды. Соня закрыла глаза, но сны не захотели высовывать хитрые чёрные носики из своего пухового домика.

Девочка принялась недовольно дёргать за ухо одеяло. Она толкала его ногами и откидывала в сторону. Когда оно оказалось на бабушкиной половине кровати, Соня отвернулась к стене. Теперь на неё смотрели олени с мягкого ковра. Соня стала теревить его бахромчатую красную бороду. Но вдруг ей почудилось, что часы перестали дышать. Она замерла и прислушалась: нет, тикают.

Немного поелозив, Соня успокоилась и не заметила, как к ней подкрались маленькие сны. Толкая и перебивая друг дружку, они шептали о сердитых дверях и хитрющих часах.

Но скоро свет разогнал всех сказочников. Девочка открыла глаза и посмотрела на часы — усы у них бодро торчали в стороны. Сонька спрыгнула с постели, скинула сорочку, натянула майку и шортики. Из кухни медленно выплывал плюшевый аромат какао. Сонька скорее потопала туда.

— Носки где? — спросила бабушка, доставая из ковша яйца дырявой ложкой.

Соня выскользнула за дверь.

Выкрашенные в луковой шелухе шерстяные носки спрятались под кроватью. Надев их, Сонька схватила Хорька и побежала вприпрыжку обратно.

На столе уже ждал завтрак: молочная каша с утонувшим кусочком масляного солнышка, яичко и стакан горячего какао.

— Пошто притащила его сюда? Взяла моду, — проворчала бабушка, очищая яйцо для Сони.

Девочка осторожно посадила Хорька на краешек стола и принялась за кашу.

— Эка! — удивилась бабушка. — И даже заставлять не нужно, ишь как уплетает, — рассмеялась она. — А ты чего вскочила нынче в рань?

Соня пожала плечиками, хитренько улыбнулась:

— Ты тоже рано встала, — и заболтала ножками.

— Ну, так обо мне другой разговор. Я и не могу спать уж много. Сон нейдёт. А сегодня и вовсе почти глаз не сомкнула.

— Баба, расскажи сказку!

— Нельзя утром сказки сказывать, в Бабу-Ягу превратишься...

Трескучий дверной звонок перебил бабушку. Сонька пискнула, слетела со стула и, не чувствуя под собой земли, помчалась в коридор.

— Танька... Тьфу ты! Сонька! Куда?! Пстой! — раздалось позади.

Но Сонька неслась, не оглядываясь. Бабушка, тяжело переваливаясь, спешила за ней.

— Что бегаешь как савраска? Ну-ка, поди от двери, — осипшим голосом сказала бабушка в коридоре.

Опершись на дверь, она посмотрела в глазок, поджала синеватые губы. Сонька следила за бабушкиными руками, которые коричневыми корнями тянулись к замку. Когда замок щёлкнул, девочка запрыгала на месте. Дверь открылась — на пороге появился дядя Витя.

— Привет, егоза! — растопырил он в стороны рыжие усы. — Мам, картошки вот тебе занёс, заходить не буду, побегу. Ольгу надо в больницу везти.

У Соньки в глазах немного помутнело, потом больно ущипнула обида. Не глядя на бабушку, девочка побежала на кухню. Там, рядом с остывающей кашей, ждал Хорёк: «Ну?! Что?» Сонька промолчала.

Вернулась бабушка и сразу принялась сердито скоблить плиту. Девочка взяла своего облезлого глупого Хорька и стала щипать его хвост.

— Сонька, подай судомойку, — вдруг хмуро скрипнула бабушка.

Внучка протянула тряпочку.

— Ишь кашу.

Бабушка сильнее заскребла металлической щёткой. Соня взяла ложку и стала размазывать кашу по краям. Показался рисунок на доньшке: синяя птица с длинным пёстрым хвостом. Соня с ней всегда соревновалась, кто быстрее съест суп. Девочка знала, что птица эта живёт в тарелке и ворует еду.

— Не балуйся, ишь! — сердито прикрикнула бабушка.

Сонька вздрогнула и затолкала в рот кашу. Бабушка вдруг остановилась. Она повернулась к внучке, достала с холодильника праздничную синюю вазочку, заполненную печеньем, и мягко сказала:

— Ну! Чего кособенишься! Ранешно ишо.

Маленькие грибочки с шоколадными шляпками нетерпеливо выглядывали из вазочки. Девочка посмотрела на бабушку и тихонько улыбнулась.

— Ну, что шарёшки выпучила, пей каково своё, уж поди остыло. Да иди порисуй, тиливизер посмотри.

Вазочку поставили рядом с Хорьком. Когда Соня доела, бабушка вздохнула, взяла за руку и повела в комнату к зеркалу. Заплела ей косичку-дракончика, достала с полки раскраски, книжечки, которые покупала на рынке. Внучка помогла ей застелить постель: сложила подушки в кривую башню с треугольной вершиной.

Когда бабушка уплыла в своё кухонное царство, Соня посадила на пол Хорька, высыпала из коробки фломастеры и карандаши, уселась на паласе.

Но недолго листала она страницы с котятами и мышатами, читая Хорьку стихи наизусть. Вдруг Соне показалось, что позвал родной голос, тёплый, нежный, как молоко с мёдом. Она подняла голову и прислушалась. В комнате было тихо. Соньке показалось, что шевельнулась занавеска. Девочка вскочила и подбежала к окошку.

Серый облезлый двор, поджав хвост, вопросительно посмотрел снизу. Девочка в ответ пожалала плечами и стала искать. Никого. Даже птиц нигде не было. Пустой домик из кефирной коробки на их балконе тихо грустил.

Вдруг из подъезда кто-то выпорхнул. Это была тётя Марина с верхнего этажа — она подарила Соне голубоглазую куклу. Но Соне больше нравились тётенькины глаза — добрые и тихие, как у коровы. Плащ задрожал крыльями на ветру, и тётя Марина легко вылетела со двора. Маленький фонарик внутри у Соньки потух и провалился в какое-то тёмное, холодное дупло.

Девочка приклеилась к стеклу и стала корчить рожи. Но это не помогло. Она принялась кружиться, заворачиваясь в занавеску, как в кокон. Потом включила бабушкину говорящую книжку с двумя антенками. Посадила Хорька в кресло смотреть мультик, а сама сгребла все фломастеры и раскраски и села рядом на полу.

Фломастеры бодро пахли тройным одеколоном, которым недавно напоила их бабушка. Соня осторожно раскрашивала



уши слона в розовый цвет. Сначала она старалась не выходить за границы, но потом серый фломастер решил закрасить всю картинку.

И тогда, собрав карандаши в коробочку, Сонька засновала по квартире: воспитывала подаренную тётьенькой куклу, мирила её с Хорьком, стирала его облезлый хвост хозяйственным мылом, прятала куклу в сонное царство за подушечную башню, мерила бабушкины криволапые очки, читала у подоконника газету двору, сердилась и отчитывала усатые часы. Иногда заглядывала на кухню и смотрела, как бабушка лепит пельмени.

Наконец, Соня решила отдохнуть и залезла в шифоньер. Там укутал аромат мандариновой кожуры, которой бабушка отпугивала моль. Соня нашла небольшую коробку со старыми открытками и принялась их разглядывать. Они пахли тайной. На дне Соня нашла круглую красную коробочку «Звёздочки» и попробовала открыть. Девочка поковыряла крышку, потом в ход пошли зубы. Когда крышка поддалась, Соня ткнула пальцем в бледно-жёлтую мякоть и намазала нос себе и Хорьку, чтобы не чихали. Яркий мятный аромат тут же обжёг прохладой нос.

Девочка закрыла мазь и убрала на место, достала небольшую стопку чёрно-белых фотографий, перевязанных зелёным бантиком. Соня развязала его и стала разглядывать снимки, на которых смеялись чужие люди.

Ей попало небольшое фото, на котором маленькая, очень похожая на нее девочка прижалась к бабушке и дедушке. В руках она держала — Хорька! Сонька недовольно посмотрела на своего любимца: этого он ей не рассказывал. На фото у игрушки был бодро-пушистый вид и все лапы были целы. Да и бабушка была другой: волосы кудрявые, тёмные, сама худенькая. У дедушки были такие же усы, как у дяди Вити, только он казался добрее.

— Сонька! Иди исть! — позвала бабушка.

Девочка вздрогнула и выронила фотографию. Тут она увидела, что на обратной стороне было крупными буквами выцарапано: ТАНЯ.

— Сонька! — снова позвал голос.

Девочка посмотрела на часы, их усы были вздыблены вверх, только короткий ус чуть отошёл от своего высокого

брата, которому нравилось прилипнуть ко лбу. Время обеда. Быстро убрав фото и коробку обратно, она тихонько прикрыла дверь, чтобы бабушка не услышала, и поплелась на кухню.

— К трём часам надо на почту поспеть. На рынок ишо, — сказала бабушка, перемешивая соус.

Сонька так и застыла в испуге, не дожевавпельмень. Сглотнув, она посмотрела на бабушку.

— Нече караулить, — даже не взглянула на внучку бабушка. — Ишь давай и собирайся.

Соня стала жевать медленно.

— Чай стынет, чего не пьёшь...

— Я кушаю, — девочка хитро-наивно расширила глазки и протянула тарелку с синей птицей, в которой перекатывались три пельменя.

Птица поняла девочку и тоже стала есть медленнее. Бабушка прищурила глаза. И скоро Соне пришлось идти искать колготки. Они, конечно, как назло куда-то запропастились. Но бабушка легко нашла их под кроватью и велела собираться живее.

Соньке стало вдруг нехорошо, заболела голова и, кажется, она зачихала, вот даже нос намазала «Звёздочкой». Но за мазь бабушка отругала и ее, и Хорька. Измерила температуру и отправила в коридор:

— Живёхонько, не придумывай. Одежу свою ищи. Куртёнка в шкапу. Да шапку не забудь, с кисточкой, синюю. Она теплее.

Наконец собрались и вышли в подъезд. Пока бабушка запирала квартиру, Сонька все время прислушивалась: нет ли шагов на первом этаже, прижималась к перилам и смотрела вниз. Спускалась она со второго этажа медленнее бабушки, ей казалось, что вот-вот скрипнет дверь... Зато на улице бежала скорее, всем своим видом торопя бабушку, которая превратилась в тихую улитку с тросточкой.

Трость была особенная, очень старая, но прочная, деревянная, с железными узорами у закруглённой ручки, — дедова. Пока бабушку не сбила машина, она очень быстро ходила. А теперь у бабушки диабет, и она не покупает сладкого.

На почте была большая очередь. Бабушка присела на стул, а Соня встала крайней. Перепрыгивая с ноги на ногу, она изучала маленький мир, в котором живут письма и газеты.

— Сонька, отстань-ка баловаться, — бабушка развязала ярко-фиолетовый с красными цветами платок и помахала им.

Девочка посмотрела на тонкие усики почтовых настенных часов, они сомкнулись в один толстый торчащий в сторону ус. Скоро от духоты и скуки Соня устала и прислонилась к почтовой стойке.

Когда до Сони дошла очередь, бабушка, тяжело дыша, поднялась и, прихрамывая, подошла к окошку. Пока она возилась с бумажками, девочка смотрела на маленького синего дракона, стоящего в стороне. Какой-то дедушка скормил ему свои письма. Такой прожорливый и такой худой. Соня потрогала узкий длинный рот дракона.

— Сонька?

Девочка обернулась. Бабушка отошла от стойки, пряча гоминок в сумку. Соня побежала вперёд, открыла и придержала непослушную дверь.

На улице, весело спрыгивая со ступенек, девочка посмотрела на небо. Солнце то и дело важно отворачивалось от неё, прячась в лохматые облака.

К остановке, кряхтя, подполз грязно-оранжевый автобус. Соня с бабушкой уселись вдвоём. Девочка положила голову на бабушкино плечо и поглядела в окошко.

Ехать до автостанции на рынок совсем близко, но Соне показалось, что автобус водит их за нос — и нарочно едет какой-то заколдованной и неверной дорогой.

Путешествие по громкому и разноцветному муравейнику рынка очень быстро надоело Соне. Ей хотелось скорее в автобус и домой, но бабушка останавливалась у каждого прилавка, уточняла цену, подолгу рассматривала продукты. Она обошла чуть ли не все лавочки. Особенно долго бабушка спорила из-за крема «Мумиё», который стоил неделю назад на рубль меньше.

— Ай, какая хорошая девочка! Смотри, какие игрушки, — позвал Соню чернородый голос.

Девочка стала рассматривать резиновые мячи, и ей приглянулся один — голубой с тёплым рисунком. На нём лохматый пёсик поднял ухо и звонко залаял. Девочка улыбнулась.

— Сонька! Сколько можно кричать? Оглохла? Айда скорее, автобус сейчас подойдёт.

Бабушка дёрнула внучку за руку. Соня посмотрела на неё.

— Сколько? — спросила бабушка продавца.

— Пятьдесят рублей.

— Э-эка-а-а-а...

— Сорок пять для вас.

Расплатившись, заспешили к автобусу. Там встретили бабу Тасю. Увидев соседку, бабушка тут же стала жаловаться на врачей и больницы. Сонька прикрыла глаза и почти уснула. Сквозь дрему услышала недовольное шипенье.

— Непутёвой этой деньги сняла?

— Шшш! Таньке, Таньке. Кому же ишо? Пособить надобно.

— Сдурела? Внучку-подкидыша воспитала, а та тебе правнучку на шею посадила!..

— Чего орёшь как оглашенная?!

Внутри у Сони сжался в клубок маленький ёжик. Девочка крепче обняла мячик с пёсиком.

На улице старушки неторопливо зашагали в сторону дома, а Соня погналась за отскочившим мячом. Девочка нашла его у песочницы. В песке вдруг что-то блеснуло. Соня бухнулась на колени и принялась рыть клад. Добралась до игрушечной железной тарелочки. Соня достала и увидела на дне ямки чёрную землю. Девочка испугалась и скорее зарыла прихлопывая и приговаривая:

— Раз, два, три, чтобы не было войны!

Сонька знала: нельзя чёрное оставлять, это к ужасной беде.

— Егоза, — позвала бабушка.

Сонька схватила мячик и помчалась к подъезду.

Дома бабушка приготовила чай и поставила на стол смородиновое варенье. Сонька ела его ложками, шурясь от удовольствия. Бабушка одобрительно кряхтела и подливала в кружку кипяток. После чаепития она снова отправила внучку рисовать.

Девочка тихо бродила по дому. На цыпочках вместе с Хорьком шла по скрипучему тёмному коридору к двери, садилась на пол, прижималась к ней. И ждала, не заговорит ли скрипучим голосом железная подъездная подружка. Но обе двери молчали. После этого Соня заглядывала на кухню, недолго смотрела, как бабушка кипятит и красит связанные из разных ниток вещи, и опять уходила.

Потом, решив познакомить пёсика, который жил в мяче, со своим двором, Соня перенесла свои игрушки на подокон-

ник. Но день уже расчёркивал тонкое небо цветными фломастерами. От этих раскрасок внутри у Сони возникло чувство, которое утром шекотало, заскулило. Девочка, бросив игрушки, пошла на кухню.

— Баба?

— Что?

— Расскажи сказку?

— Опосля посумерничаем. Нельзя днём сказки сказывать, не то в Бабу-Ягу превратишься.

— Кто? Я? — удивилась Соня.

— Не я же. Мне куда ишо старее? Принеси карты.

Внучка быстро сбегала в спальню и вернулась с колодой. Бабушка, задумчиво хмурясь, раскладывала карты веерами. Переворачивала по очереди, переставляла каждую и что-то иногда шептала. Сонька, заглядывая через плечо, пыталась понять, что они отвечают. Но вскоре, фыркнув на Соню, бабушка собрала карты и взялась за кастрюли.

Девочка тихо вышла из кухни и побрела к окошку в комнате. Стала приставать к цветам. На подоконнике у бабушки был свой маленький палисадник: душистая бархатная герань с цветочными зонтиками, широкое старое алоэ и высокое сочное денежное дерево. Соня расковыряла в горшках рыхлую чайную заварку. Бабушка никогда не выбрасывала использованные пакетики. На кухонном окошке у них был целый солнечный пляж!

Соня вытерла руки и снова принялась рассматривать двор. Он, опустив облезлые серые уши, жался от холода и засыпал. Общипанное ветром дерево держало в своих руках последний осенний листок. Сонька посмотрела на небо: разлив красно-оранжевую краску, день скользнул вместе с солнцем за крышу соседнего дома и исчез.

Облезлые качели, на которых обычно Соня каталась, были заняты какой-то взрослой девочкой. От озорных взлётов чёрные, недлинные волосы рассыпались, не касаясь плеч. Сонька взглянула на морковный кончик своей косички и тоже захотела на качели. Она покрутила головой, чуть вытянув утёнком губы, изображая тётенек из рекламы. Но косичка не летала плавно и красиво, как того хотелось Соне. И девочка опустила голову, подпёрла ручками подбородок и снова принялась разглядывать мир за окном.

Вдруг во двор вполз ярко-жёлтый жук-такси. Соня, затаив дыхание, следила за его приближением.

— Сонька...

Соня обернулась на бабушкин голос и дёрнулась в сторону двери. Но тут же отвернулась и, вцепившись в подоконник, снова глазами нашла машину. Такси ехало очень медленно, словно осматриваясь по сторонам.

— Сонька!

Девочка даже привстала на носочки от нетерпения. Где же оно остановится?

— Сонька! Паразитка такая!

Машина остановилась возле их подъезда. Сонька бросилась на кухню.

— Закатай рукав, мешает, — попросила бабушка. — Ты чего такая ошаленная?

— Мама приехала! — Сонька метнулась к кухонному окошку.

Бабушка испуганно ахнула и тоже нырнула за занавеску к внучке. Но было поздно, они увидели только, как захлопнулась дверь подъезда, и такси отъехало. Внучка и бабушка, словно наперегонки, бросились в коридор.

Задрожав вместе с бабушкиной рукой, щёлкнул выключатель. Бледно-жёлтый парашют света раскрылся под потолком. Притаившись и почти не дыша, Сонька и бабушка слушали стук приближающихся каблуков.

— Бабачка! — запищала радостно Сонька. — Открывай! Это мама!

— Тиш! — шикнула бабушка, сама же вытянулась, как струна контрабаса — вот-вот лопнет.

Цок-цок, цок-цок — звонко болтали каблуки у самой двери. Бабушка сжала руки. Сонька сердилась на неё: ясно же, что мама приехала, надо открыть ей дверь, чтобы она знала, что они тут, что они ждут, очень ждут!

Цок-цок, цок-цок, цок-цок... Каблуки стали говорить тише и глуше. Бабушка посмотрела в глазок и отшатнулась от двери.

— Сонечка, иди порисуй. Скоро исть будем, — прозвучал сдавленный и чужой голос.

Бабушка тяжело заковыляла обратно на кухню. Оставшись одна, Соня долго не двигалась с места. Она медленно подошла к двери — прижалась ухом к сердцу и услышала тишину. Тишина эта стала горчить во рту у Сони.

Девочка пошла в потемневшую спальню, высыпала фло-мастеры, исчеркала маленького толстого слонёнка в раскраске. Залезла под стол, прижала к себе Хорька, уткнулась носом в его облезлую голову и тихо заплакала.

Скоро глухой голос позвал ужинать. Соня не отозвалась, она слушала предательское тиканье. Поглядев на часы, она заметила, что усы у них недовольно и обиженно опустились вниз.

Бабушка больше не звала Соню. И девочка вздрогнула от этой тишины, она поскорее выползла из-под стола, вытянула за собой Хорька и побежала на кухню.

Соня увидела на столе отложенные бабушкой деньги. Они были аккуратно перевязаны шерстяной апельсиновой ниткой. Бабушка убрала их в карман халата, затем молча спрятала глубоко в шкаф ненужную праздничную вазочку.

Соня села за стол. Вместе с Хорьком она смотрела, как остывает суп, как появляются и застывают круги жира. Птичка не ела суп. И Соня не ела.

— Соня, ишь, — мягко попросила бабушка, — Сонечка, ишь... — голос бабушки дрогнул.

Внучка подняла глаза и увидела, что плечи бабушки трясутся. Девочка испугалась! Она бросилась к бабушке, обхватила своими тонкими ручонками, уткнулась в мокрое, как моченое яблоко, лицо и залепетала:

— Бабачка! Я скушаю весь-весь суп быстрее птички! Бабачка, хочешь! Я весь-весь скушаю, только ты не плачь! Бабачка, я буду хорошей девочкой, — Сонечка стала целовать бабушку в мягкие теплые яблочные щёки. — Я всегда буду кушать суп! Бабачка!

Бабушка плакала и обнимала внучку, крепко-крепко прижимая к себе. Качаясь вместе с девочкой, она говорила:

— Бедная моя масенькая, егозатушка моя золотая, морковонька моя...

Сонечка прошептала в самое ухо:

— Бабачка, ранешно ишо. Мама завтра приедет...

Бабушка ухнула, уткнулась лицом в Сонькино хлипкое плечико, но рыдать не стала, сильнее прижала внучку:

— Я нонче тебе скажу самую хорошую сказку. Хочешь?

— А я в Бабу-Ягу не превращусь? — испугалась Соня.

— Нет, ночью сказки можно сказывать, — беззубо рассмеялась бабушка, утирая слёзы.

## Чёрный чекист

...За тебя, угнетённое братство,  
За обманутый властью народ.  
Ненавидел я чванство и барство,  
Был со мной заодно пулемёт.

И тачанка, летящая пулей,  
Сабли блеск ошалелый подвись.  
Почему ж от меня отвернулись  
Вы, кому я отдал свою жизнь?\*

В школе меня называли Чекист. Не сказать, чтобы всю жизнь. В романтично-подростковый период.

Я тогда носила чёрную кожаную куртку. Воротник у нее был жёсткий и всё время поднят. Потому что, если его отвернуть и положить на плечи, было видно, что вшитый в его середину трикотаж сильно заштопан. Да, куртка была старая, и не кожаная даже — а сделанная из толстого, упругого, но стойкого кожзаменителя. Купила ее моя тётя Галя — и носила в середине шестидесятых годов. Произвели в Чехословакии, мой папа говорил, что такие куртки были у заправщиков тамошних самолётов на гражданских аэродромах. Не знаю, так это или нет, на какого такого маленького заправщика была она сшита, но куртку я носила чуть ли не с пятого класса. Мы отыскали её с мамой в деревне, отреставрировали. Отличная курточка с заново вшитым тёмно-синим замком-«молнией» (чёрного мы не нашли). Непродуваемая и удобная.

До Чекиста я была Адвокатом и Прокурором, жуткое создание — учитель математики Геннадий Николаевич — не видя между этими профессиями разницы, называл меня так,

---

\* Из стихотворения Нестора Махно «Проклинайте меня». Текст по изданию «Воспоминания. Махно Н. И.» Издательство Республика, 1992



когда я за кого-то пыталась заступиться. Геннадий был придурочный, у меня про него есть стих. Уж если совестливый ребёнок двенадцати лет посчитал учителя придурком, значит, наверное, неспроста. Но про Геннадия в другой раз.

Быть Чекистом мне понравилось. Информация о чекистах, которая поступила ко мне из кино и литературы, тоже. Я тоже была за безопасность и справедливость. Идея преданного служения своей стране, верность избранным принципам, чистота собственной совести — это, казалось, как специально для меня придуманным. Внешний мир жил, бурля страстями, желанием иметь вещи-вещи-вещи, наслаждаясь музыкой Modern Talking и борьбой за то, чтобы эта любовь была легализована. Музыка бымс-дымс-дымс, под которую надо тряско плясать в темноте дискотеки, разбавленной спецэффектами перемигивающихся огоньков, мне не нравилась, вещей, необходимых для жизни, у меня было много, а времени мало. Помню, мне хотелось успеть, я даже по улице не ходила, а бежала. На спорт, в музыкальную школу и студию ТЮЗа. В промежутках читала и смотрела кино, а вечером, дождавшись сестру из школы, со второй смены, раскладывала кукол — и мы с упоением в них играли.

Но людям из внешнего мира общаться со мной было тяжело — придя в новый класс, я на какой-то ляд понравилась местному хулигану Воробьёву. Друг другу мы совершенно не подходили, говорить нам было не о чем. Матом я ему ругаться в своём присутствии запрещала — а без родной стихии он терялся. Чем я ему приглянулась — загадка, до этого он был кавалером сразу трёх наших одноклассниц, но с моим появлением их бросил. Может, эти девочки даже обиделись, что я не оценила того, что меня выбрал Воробьёв. Мы с ними не общались. Да и Воробьёва, ближе чем на расстояние вытянутой руки, я к себе не подпускала, выкидывала руку вперёд ладонью и на эту дистанцию приблизиться не давала — так что он даже привык. Но и всем остальным мальчикам подходить ко мне тоже было нельзя, Воробьёв за этим зорко следил, да они и сами не рвались. Так что с мальчиками я совершенно не общалась, от чего тоже не особо страдала — я была сама себе и девочка, и мальчик. Я не шла на компромиссы, не участвовала в любовных интригах, обсуждении статусных вещей и обмене ими. Может быть, потому, что не придавала

им значения, все эти важные для детей объекты у меня были — кубик Рубика настоящий венгерский, «дипломат» итальянский (папа купил, когда летал в Казахстан, он обычно так покупал: другие лётчики берут — и он вместе с ними), джинсы разные, два портсигара отечественных, кроссовки «Адидас» югославские (дожили до окончания института, а это ж лет сто почти!), футболки какие-то, пеналы, сапоги, сумки, куртки. Куртки числом несколько — но с той, моей чёрной, ни одна не могла сравниться!

Может быть, конечно, если бы у меня всех этих кубиков и джинсов не было, я точно так же мечтала о них, выстраивала вокруг них свою жизнь, считала главной ценностью и завидовала тем, кто этой ценностью обладает. Но вот так сложилось — было. Вещи не падали даром с неба — они доставались за деньги, которые на земле и в небе зарабатывали мои родители.

Но это ж только вещи — помощники человека. А я искренне думала тогда, что важен сам человек — его поступки и устремления. Не вещь определяет статус, а характер и поступки. Важны путешествия, подвиги, торжество справедливости и добродетели. Нет интригам, нет преступлениям, нет вранью и жадности.

Да, вот так я думала, потому что со мной, в моей голове, в моей душе, жили все герои — книг, фильмов, телепередач. Там жила «Как закалялась сталь». Как поселилась, так никуда и не девалась. Там же бродили мысли — потрясение от того, что на свете существует социальное неравенство, оказалось так велико, что я задумалась: почему так? А ведь скоро наступит взрослая жизнь — и там тоже нужно будет в первую очередь рубиться за вещи и блага? Вместо коммунизма будет та же борьба за добро, привилегии и приспособленческую лёгкость бытия? А как же революция? Как же великие географические открытия — которые раньше совершали на благо королевств и империй, но с приближением коммунизма, определённое и определённое, их будут совершать для истинного блага человечества! Для кого существует планета Земля — для счастливой жизни на ней или для обслуживания интересов корпораций? Кажется, в классе седьмом я познакомилась с этими явлениями: корпорации, синдикаты, эксплуатация человека человеком — и это знание добавило трагизма моим мыслям.

А тут и кооператоры появились. И ваучеры. И новые буржуи. С кем же боролись ваши дедки-бабки, дорогие взрослые, радующиеся Перестройке? Прогнали в семнадцатом году буржуев — и теперь радостно кланяетесь новым, растите их и обогащаете? За буржуями полезли господа — и вот уже знакомая девочка рассказала, как посетила бал в Дворянском собрании. Утверждала, что Рюриковна она, а по папе донская казачка. Любо, братцы, ой, любо...

Рюриковны покупали сетчатые колготки с люрексом, футболки и трусы — напротив Киевского вокзала в парке, где сейчас стоит ТЦ «Европейский», выстроились ряды коммерческих палаток. На обычные фабричные белые-розовые-голубые трусы и майки кооператоры переводили утюгом термонаклейки с микки-маусами и отклячившими попы тётеньками — продавали в два раза дороже, чем стоили те же трусы без картинки в магазине. И рюриковны покупали. Зачем??? Удивлялась я. Ведь и без них бельё отвечает своему назначению, а кооперативные заляпухи — и подделка, подделка под западное, которое, по мнению покупавших эту продукцию, непременно лучше нашего. Хорошо, что у меня было много вещей — и я гордо носила старое, решиться на такую позорную покупку не могла. Я не покупала иностранные жвачки — это было символическое мерило продажности. Я не хотела пускать иностранный бизнес в страну. Если бы все не покупали жевачечное счастье в ярких фантиках — он бы не прошёл! Мы бы сами — мы бы смогли сами, а с остальным миром мы просто экспортно-импортным способом менялись бы произведённым. Где гордость? Где желание быть независимыми? Но люди вокруг наслаждались возможностью иметь, иметь, иметь — и независимыми чувствовали себя уже от одного этого.

Наверное.

Мне хотелось посадить в тюрьму и заставить много лет шить там рукавицы тех, кто вовремя не завалил нашу страну колготками в сеточку, кроссовками и японскими кассетами. Чиновников. Мы бы все получили удовольствие от постоянного обладания мелкобытовым богатством — и успокоились. Прогресс бы двинулся дальше, в космос стали бы отправлять и детей, как обещали в художественных фильмах прошлого, государство развивало бы медицину, отодвигая старость

и полностью побеждая болезни. Человечество решило бы проблему голода. Все путешествовали бы, учились — общество всеобщего благоденствия манило, оно было возможно!

Но стало модно быть бандитами. Теми, с кем боролась «рождённая революцией».

И всё...

Сталь перестала закаляться. Над сталью героев нужно было смеяться. Стальные станки вагонами продавались за границу. На металлолом. Отличная сталь по цене отходов.

Пусть люди вокруг были счастливы и наслаждались долгожданной свободой. Мне такая свобода не нравилась. Моя сталь жила со мной.

Чекист быстро стал смешным. Но злым на язык, а потому равно опасным. К куртке я добавила очки, так что Воробьёву наконец-то стала неинтересна. Да и он канул куда-то в ПТУ, закрутила гоп-пацанская жизнь.

Я окончила музыкальную школу, перестала ходить на спорт и в театр. Немножко спасали нарезанные на кусочки по двадцать минут «Звёздные войны» в телепередаче «Зебра». Но светлое будущее полностью погружалось во мрак. Я думала, что меня спасёт Дарт Вейдер. Пусть он служил не великой идее, а пожамканной морде, которая иногда мелькала из-под капюшона, но он был силён, постоянен и мрачен. Я знала, что только на фоне самого адского мрака можно увидеть светлую точку, которая сможет начать заново. Чистый-чистый мрачный мрак.

Дарт Вейдер спасал раз в неделю (передача выходила редко). Во все остальные дни его плащ реял перед моим мысленным взором. И когда в очередной раз он плеснул на ветру, я увидела анархическое чёрное знамя.

Нестор Махно. Комическая передача по телевизору, карикатурные изображения в кино и книгах, а краем сознания, в обрывочных воспоминаниях, которые казались мне народными байками, потому что в учебнике истории такого не было написано, — воспоминания о слышанных в деревне рассказах о махновцах, удививший до глубины души папин рассказ о Гуляйпольской народной республике. Такое, оказывается, существовало! Уже сама собой потихоньку подтянулась информация о деньгах, которые эта республика выпускала и которые ходили на огромной территории и даже за преде-

лами, о том, как в городах и сёлах жили при махновцах, как чей-то дед работал в газете, которую выпускала республика, о лошадях, которыми менялись с махновцами крестьяне, о еде, воде, надежде...

Анархия. Власть безвластия, антикоррупция. Справедливая, повернувшаяся лицом к человеку, власть на местах. Самоуправление, саморазвитие, самосознание.

Я сшила себе чёрный галстук — похожий на пионерский, он давал почувствовать, что анархия со мной. Галстук зажимался серебряным кольцом — это кольцо сковал дед Цыган, старший папин друг, анархист тот. Серебро мы сняли с раскуроченного на аэродроме самолёта, пропадай авиация, даёшь Перестройку! У махновцев, кстати, было два самолёта, они их берегли.

...Девяносто третий год. Книга воспоминаний Нестора Ивановича. Куплена с рук на Арбате. Холодная электричка, ночь. От книги оторваться невозможно.

А вот другая жизнь-то как раз возможна!

Карикатурный гармонист и алкаш оказался народным заступником. Та же электричка, та же ночь. И шокирующее понимание, что силой пиара можно превратить зелёное — в серо-буро-малиновое, вора в героя, героя в бандита, идею в смех, стыд в позор...

Я всё-таки права! Я права была и есть — человечество может пойти по другому пути развития, не знаю где, не знаю как, но можно жить, работая не на владельца, а на общее дело — и не важно, государство ли это или другая, образованная по анархической модели структура. Можно не воевать и не наращивать вооружения, можно насладиться обладанием вещами и сделать их просто добрыми помощниками — и машины, и магнитофоны, и бриллианты, не говоря уже о люрексе и джинсах.

Нестор Махно подал руку смысла. Рука смысла разгрестила тускляк вокруг меня. И пусть я снова продолжала видеть впереди не свет, а чёрное знамя, меня больше не покидала уверенность, что так мы с Нестором Ивановичем подхватили, не дав ему упасть в грязь, знамя красное. Не знамя отвратительных жирных комсомольцев, которых я успела застать, а знамя надежды, верности и чести. Под этим знаменем закалялась сталь. А теперь оно будет чёрным. Но если меня по-

ставят перед выбором, с кем я, скажу, что я за красных. Я Чекист, пусть это непочётно, пусть для кого-то чекисты — это негодяи, которые корысти ради мучали людей, или те, кто, обладая особой властью, наживается на этом. Я Чекист смысла, Чекист светлой мечты о свободе, равенстве и братстве. Может быть, не давным-давно, а в будущем-будущем, в одной далёкой-предалёкой галактике мы высадимся на дружелюбной планете, а там уже или будет готовая, налаженная жизнь с идеей безвластного народовластия, или мы создадим её сами. На радость нам и живущим там. Мы возьмём в наш межгалактический корабль не всех. Кастинг анархистикам будет устроен суровый, но справедливый.

Я держу чёрное знамя, Нестор Иванович. Мы его в этой далёкой-предалёкой галактике установим на пике Анархокоммунизма.

И ведь, в итоге, став взрослой, я пошла в частную лавочку работать на капиталистов. Я не участвую в протестном движении, ношу одежду известных брендов и даже коплю деньги на новые покупки, потому что моих внешних сил не хватает на то, чтобы показать, насколько я против мира потребления. Я должна выглядеть средне. Я не клоун и не панк. Я не бунтарка и не знаю, как это сделать своим имиджем (может, это давно бы принесло известность — и как результат, много денег, потому что гонка на выживание при нынешнем мироустройстве заканчивается лишь со смертью). Я много где слалась, слилась и затаилась.

Но Нестор Махно со мной. Именно ему я благодарна за то, что я держусь, что могу верить в то, во что верила романтическим подростком.

В Гуляйполе мы гуляли свадьбу. На площади перед зданием, где при Махно располагался Ревком, я бросала в толпу учеников младших классов, которые случайно шли мимо, свой букет невесты (поймала моя сестра, так что счастье у неё ещё впереди). Когда крестили мою старшую дочку, на батюшке загорелась ряса, как когда-то при крещении младенца Нестора Михненко. И с фамилией я родилась — Нестерина.

Спасибо, Нестор Иванович, за счастливое детство! За мой светлый детский наивняк. Тем и живу, тем, как человек, состоялась.

## Зеркало, отражающее солнечный свет

Вспоминая то лето, я кажусь себе совсем маленькой, четырехлетней, хотя мне, конечно, шел шестой: в пять сшили сарафан с высоким лифом и юбкой покроя солнце, а к нему болеро, как у взрослых. Наряд был еще велик, и в этом все дело: под другим платьем я не смогла бы принести зеркало незаметно.

Почему четыре? помню себя главным образом с четырех — а сознанию почему-то удобно поставить эту историю с самого начала. Но мне было пять, потому что были уже и дача, и дорожки с разноцветной галькой, и небольшие, с меня ростом, деревья, и цветы, и трава, и грядки, на которых как по волшебству из крошечных семечек появлялись овощи и пряные травы, и я уже помнила о цветах, еще не распустившихся.

Наш сад располагался у леса; он, наверное, был лучшим в том дачном поселке, с домиком немного больше других, потому что папе удалось оформить разрешенную к постройке веранду под одной крышей с комнатой — но лучшим не потому. Когда уже дачи забросили, бродяги, присматривая дом для ночевки, выбирали наш, и, застигнутые нами, говорили про особенную ауру; и там действительно была особенная аура, ощущаемая даже тогда, когда дом разобрали, чтобы сделать из него беседку на другой даче.

Однако мы о времени, еще не имеющем прошлого.

Той весной ко мне впервые пришли тема жизни и смерти и вечно сопутствующая им тема вечности — они и отделили меня от обычных игр, и перемешались с ними. Я ломала голову над тем, откуда я взялась и где была, когда меня не было.

Мой разум не вмещал бесконечность Вселенной и времени, о чем мне рассказали, и я измучивала взрослых вопросами о том, что начинается там, где бесконечность заканчивается. Примерно с такой же сосредоточенностью я подолгу сидела на корточках у грядок, на которых сажали морковь, укроп, петрушку и салаты, расспрашивая, что вырастет из того или другого семечка. И удовлетворилась бы объяснениями, что в семечке спрятана информация о будущем растении, если бы не оставалась загадкой сила, пробуждающая ее к жизни.

Кончилось все это тем, что папа купил мне небольшие грабельки и лопату, вскопал пару грядок с северной стороны дачи, где было пусто, и дал семена моркови и укропа. Я сама взрыхлила грядки грабельками, и совсем так, как взрослые, сделала борозды на грядках, и на одну посадила шероховатые, бороздчатые семена морковки, а на другую — плоские укропные.

Я поливала свои грядки из небольшой лейки и волновалась о них, когда мы уходили с дачи. Я представляла себе, как растет под землей морковь — ее было легче представить. А как радовалась всходам! Они были одинаковыми сначала — тоненькие травинки, но я знала, что потом они окрепнут и станут разными.

Однако время шло, морковь и укроп уже немного различались, но оставались слабыми и бледными. Они очень сильно отличались от моркови и укропа, посаженных родителями. Я выпытывала, что нужно растениям для того, чтобы расти, и утаскивала для них удобрение: золу костра. Я завела специальную коробку для золы, на случай, если она кончится в яме для костра. Но мои посадки все равно росли плохо.

Однажды мама сказала, что они и не будут расти хорошо, потому что растут в тени. Им не хватает солнечного света.

Я задумалась и додумалась до того, что, если бы на даче было зеркало, можно было бы дать впитать ему солнечный свет, а потом направить на грядки. Не так, как пускают зайчики. В тот период моих вообще непростых отношений с зеркалами я была уверена, что пойманные зеркалом предметы остаются в нем жить, но, когда их не видят, выходят на поверхность. У нас дома было большое зеркало с подзеркальной тумбочкой. Я боялась смотреть в него, когда оставалась одна — мне казалось, что оно может похитить меня, погло-



тять. Годом раньше я подглядывала за ним сбоку — не выйдет ли из него что-нибудь. О, я многое могла бы рассказать вам о предметах, оставшихся в зеркале. Какое-то время я была уверена, что в зеркале живет мой двойник — жизнью, отличающейся от моей, но это, впрочем, другая история.

Мама не любила трюмо, и потому на подзеркальной тумбочке большого зеркала, возле мраморной пудреницы и флаконов — вполне сказочного «Опиума» и менее интересной, на тот мой взгляд, «Шанели» — стояло небольшое в позолоченной раме. Если маме нужно было посмотреть на себя со стороны, она брала в руки маленькое зеркало и поворачивалась с ним спиной к большому. Этого, маленького, шириной с меня, в чем я вскоре убедилась, я почему-то не боялась. Может быть, потому что рамой оно походило на висевшие у нас и любимые мною картины.

Тем летом мама сказала, что это маленькое зеркало — наше с ней общее. И вот его я решила принести на дачу.

Разумеется, сначала нужно было получить разрешение, но это оказалось не самым сложным. Я спросила маму, можно ли мне иногда брать наше общее зеркало. Можно, сказала мама, — только держи его крепко, обеими руками. Она, должно быть, подумала, что я буду брать его в комнату, где жили мои игрушки — что я и делала, старательно показывая куклам их отражения, пока мама была неподалеку. Я не любила кукол, но, кажется, эта тайна осталась при мне.

Затем нужно было принести зеркало на дачу. Мы ходили на дачу пешком через весь город. Я взяла из маминого шкафа один из тонких белых платков, которыми мне приматывали компрессы, когда я болела (получалось, что он тоже мой) — чтобы привязать зеркало к себе. Тренировалась: привязывала зеркало и ходила с ним по дому, прежде чем поняла, как это нужно сделать. Оно было в размер моего туловища от подмышек и почти до ног, и только немного выступало по бокам. Платка оказалось недостаточно, но я придумала укрепить его лентой внизу. Зеркало было незаметно на мне только под одной одеждой: новым сарафаном с болеро. Однако мне разрешили надеть их: ведь мы шли через весь город.

Словом, все начиналось хорошо, но я не учла силы тяжести и того, что в движении зеркало будет скользить по мне. Мы не дошли и до середины дороги, когда узел на платке раз-

вязался. Однако в юбке сарафана были карманы, и задолго до того, как узел развязался совсем, я опустила в них руки и ухватила нижний край зеркала. Когда мы дошли до дачи, мои пальцы онемели и дрожали, предплечья сводило судорогой, а зеркало казалось таким тяжелым, как если бы, например, я несла холодильник.

На даче все снова сложилось гладко. Мои родители занялись чем-то своим и не слишком следили за мной. Я нашла зеркалу место позади домика, на высоком верстаке. Прислоненные к верстаку доски образовывали как бы специально огороженный уголок. Я соорудила лесенку из своих детских, обитавших на даче стула и табурета, затащила зеркало на верстак и устроила его так, чтобы оно видело только солнце (и, может быть, еще немного неба). Потом меня поймали возле верстака и попросили играть в другом месте.

Прошло полдня. Зеркало смотрело в небо, я думала о нем и сама смотрела вверх, чтобы понять, что оно видит, и мне нравились и небо, и солнце: были они такие яркие, что, наверное, стерли в зеркале все другое.

Дальше были обед и тихий час. Перед тихим часом я вполне удачно стащила зеркало вниз и поставила его возле грядки с морковкой — пусть она будет первая, решила я. Когда же я проснулась, родители за северной стеной домика разговаривали — негромко, но я поняла, что речь обо мне. Я выскочила наружу, и, прижавшись к углу дома, невидимая ими, слушала, что они говорят. К тому времени они уже догадались не только о том, кто принес зеркало, но и как — мама нашла смятый платок.

Я и сама хотела рассказать им о том, для чего оно, но позднее, когда растения на моих грядках вырастут и удивят их. Я уже поняла, что носить зеркало на дачу — тяжкий труд, но решила, что как-нибудь разберусь с этим.

— Но что это? — спрашивала мама так, как спрашивала, когда хотела спросить — что это все означает.

— Я, кажется, сообразил, — сказал папа, — это зеркало, отражающее солнечный свет.

И пояснил: зеркало, видимо, накапливает свет, а потом отдает его растениям. Он заметил, что-то блестело на верстаке, но его отвлекли, а когда дошли руки, там уже ничего не лежало.

Потом они заговорили о том, что по дороге я могла споткнуться и порезаться. Тут я осторожно высунулась, чтобы посмотреть на них. Они стояли возле зеркала, по-прежнему направленного в сторону морковки, и не трогали его. Папа перекатывал во рту какую-то веточку. Он бросил курить папиросы еще до моего рождения, но у него оставалась привычка что-то пожевывать. Он носил с собой небольшой нож, и когда мы ходили в лес, срезал с деревьев веточки, очищал кору и жевал их часами.

Они не ругали меня, только смотрели немного странно. Я подошла к ним.

— Ну что, — сказал папа, — морковка уже достаточно зарядилась, теперь направим на укроп?

— Его не нужно заряжать еще? — спросила я, имея в виду зеркало.

Родители уверили меня, что не нужно — день был солнечный, солнца хватит и на укроп.

В тот день мы забрали зеркало домой, чтобы оно не впитывало в себя ночь, а вскоре папа взял большую лопату, обкопал грядки и перенес их на солнечное место — в середину сада, потому что ему срочно потребовалось перенести на место прежних грядок верстак.

Я по-прежнему поливала свои растения, хотя иногда заставляла и папу за этим же занятием. На моих грядках выросли крупная морковка и высокий укроп. Укроп оставался свежим и пушистым и тогда, когда на других грядках пожелтел и встал зонтиками: полагаю теперь, что папа все лето подсыпал на мою грядку свежих семян.

Потом мы собрали урожай моркови, папа выложил ее на большое блюдо, и моя оказалась самой крупной. Я еще тогда подозревала, что папа подменил ее морковкой с других грядок, потому что иногда подкапывала свою морковь, чтобы посмотреть, как она растет. И еще тогда сказала ему об этом, а он объяснил мне, что и я не всю морковь подкапывала, и он мог нечаянно ошибиться, конечно. Тем же летом в папиных сказках, которые он сочинял для меня, появилась сказка про девочку, посадившую волшебную капусту, — он рассказывал эту сказку длинной серией до моих 12 лет, но это тоже другая история.

Зеркало же вскоре совсем унесли на дачу и повесили в прихожей — так называли угол у входной двери, примерно

35 на 40 см, вряд ли больше, где помещались только пара обуви, крошечная полочка для расчески, рожок вешалки и зеркало. Зеркало висело перпендикулярно двери, ликом к югу: в нем отражались предполуденные лучи, лунный свет, лица моих родителей, мое лицо и лица моих друзей, яблоневые лепестки и лепестки растущих у крыльца пионов, цветные осенние листья, осенние туманы, снежинки — и все, что приносило на веранду ветром. Оно помнило и лица тех, кто приходил на дачи пожить — на те дачи часто лазили, — и лица бродяг.

Оно исчезло незадолго до того, как не стало и дачи.

Недавно оно мне приснилось в руке странно знакомой женщины; она шла, отвернув от меня лицо, и мне казалось: еще немного — и узнаю ее. Она несла в руке зеркало так, как несут картину или книгу.

Я сидела в траве — травы в этом году высоки и свежи — а она шла мимо, зеркалом ко мне, и в нем различались облака и травы, над которыми поскрипывали нездешние деревья, и все неувядшие цветы, и лица тех, кого не помнила давно, и легкость, и счастье — может быть, только оно и вечно.

## Birkenstock

У меня с математикой плохо, но это сосчитать я могу: к 51 прибавить 8, чтобы узнать, сколько тебе было, когда мы встретились. Я родилась в пятьдесят первом, а ты — за восемь лет до начала века. Тебе исполнилось 59, когда я появилась на свет. Я не знаю, как ты выглядишь в это время, я узнаю тебя на ощупь, по запаху. Твоё лицо, глаза я разгляжу впервые только на фотографии, где мне пять, и мы сидим рядом — снимаемся на память у фотографа на Суворовской. Он накрывается черной тряпкой, прячет голову за деревянной треногой, так, что фотоаппарат не виден, и кричит из-под тряпки про птичку...

Это наверняка дорогое удовольствие, но ты должна всем послать карточку — показать, какая я вымахала. Сестре Наташе в Москву, другу Пете в ссылку. Отец, наверняка, тоже просит прислать ему фото. Я лопаюсь от гордости, что мы сидим на одном диванчике, и я достаю тебе головой до плеча. И еще потому, что тебя обожает город, а я могу тебя отобрать у всех, стоит мне крикнуть: «Баба!»

Когда я увижу твои башмаки — не помню. Наверное, в ту зиму, когда мы с тобой ввали друг другу так, словно состязались, кто кого переверёт. Ангелы-летописцы, что хранят нашу переписку, должны были отметить, что я достойна тебя. Ты — в кои веки! — выбралась зимой в Москву повидать Наташу. Почему вы потащились из Останкино гулять в Сокольники, ума не приложу. У Наташи прямо перед домом ворота Ботанического сада, а уж до пруда и усадьбы Шереметьевых, совсем два шага. Можно было и там подышать воздухом. Но там делал круг трамвай, что шел в Сокольники. Вы сели и поехали. Ты сослепу не разглядела белую лыжню на белом снегу, ступила на неё, поскользнулась, упала, сломала ключицу,

и загремела в институт Склифосовского. Тебя остригли там, потому что одной рукой ты уже не могла заплетать свою тощую косичку — «мышинный хвост». Со стрижкой было удобнее, но ты не любила ее.

...Я потом поняла, почему, — когда нашла твоё лагерное фото — с номером зэка на кармашке рабочей тужурки: ты стриженная на нем.

...Ты лежала в Склифе, или, скорее, сидела, — ты не любила «залеживаться» и, наверняка, даже с одной рукой ухитрялась помогать соседям по палате, сестрам и нянечкам. Но когда выдавалась минута, ты писала мне длиннющие письма о том, как вы гуляли по Третьяковке. С подробным описанием картин, художников, и маленьких, никому не известных тайн из жизни тех и других. Я так и не узнала, была ты на самом деле в Третьяковке или письма были фантазией, но запомнила навсегда, что картина Пименова со счастливой женщиной в открытой машине, называется «Москва, май 1937-го». И потом уж, стоя перед этим полотном, недоумевала: как же он мог, если жив остался, не переименовать? Или специально оставил — чтоб знали, что у некоторых тридцать седьмой был счастливым, умытым майским дождем, с сиренью...

Я читала твои каракули у Матвеевых на Забалке, и слезы закипали от досады: ты там, как барыня, разгуливаешь, а мы тут!.. Но правду писать было запрещено, да я бы и сама не написала, если бы разрешили, потому что в свои двенадцать понимала, что ты тут же примчишься, а девать тебя было некуда: наш дом сгорел.

...Данилевские так растопили печь, что наша общая с ними стена прогорела насквозь. Пламя вздыбилось, вышибло потолок, а четыре стены нашей комнаты уцелели. В дырку в крыше было видно небо. Мы спали несколько ночей с мамой под этим небом. Вместе — от холода. Потом в дырку пошел дождь, и мама подставила медный таз, в котором ты летом варила вишневое варенье с розовой пенкой, а дальше повалил снег. Пожарники боялись, что балки посыплются, и нас выселили. Маме выделили коечку в общежитии в порту, где жили моряки в ожидании навигации. Я приходила к ней, и видела, как она хотела, чтобы наш ремонт никогда не кончался.

А меня забрали Матвеевы. Как зимой сорок первого. Даже буфет показали: сверху — чашки-блюдца, как у людей, а внизу, если крупы раздвинуть, — лаз в другую комнату. Оттуда — в сарай, а уж из него — через доски в стене — прямоком в балку, в овраг. Маму там прятали в войну, а меня — в пожар. Ты отдала ее Пете и Шурочке, гимназическим своим друзьям. Уступила: они сами за ней пришли, когда молодежь стали угонять в Германию. Матвеевы замотали ее в тряпье, под старую бабу, и увели. Она рассказала мне это потом — перед смертью.

Я помню, как печатными буквами дописывала своей рукой в каждой поздравительной открытке деду Пете «целую». И возмущалась, что ты не даешь мне листок, а заставляешь мучиться на открытке, умещая большие буквы на маленьком лоскутке.

— Письма перлюстрируются, — говорила ты чудное длинное слово. — А открытка — потому и открытка, что открытой идет. Пусть смотрят...

И первую строку отдавала мне тоже: «Дорогой дедушка Петя»...

Они показали мне эти открытки. Петя сказал, что ты единственная, кто не боялся писать ему в ссылку. Ну, и я — с тобой. Когда детской рукой цветными карандашами начало и конец — в середину можно было вместить новости про Шурочку и детей...

Я сидела у них на Забалке у маленького окна на уровне тротуара, смотрела на ноги-ноги-ноги за занавеской, и писала тебе. Спросила у Пети, зачем построили такой низкий дом, и дед Петя сказал, что дом ставили лет сто тому, и он был высокий, а тротуар поднимался потом — из-за щебня, который сыпали, сыпали...

Я слушала шарканье ног по тротуару, и сочиняла, как мы гуляем с Ирккой — Петиной и Шуриной внучкой. Как ходили в театр, на ёлку, в парк на каток. Я выходила читать афишу на тумбе, что стояла напротив их дома, пузатая, круглая. Старательно списывала с неё, где, кто, когда на гастролях — в филармонии, в Доме офицеров, в ДК судостроителей. Я никогда столько не гуляла в своей жизни, сколько наврала тебе в письмах.

Потом тротуары расчистили от снега, и крышу заделали к твоему приезду. Штукатурка не просохла на потолке с лепниной, когда ты сошла с поезда. Стриженная, с рукой на перевязи, которая никогда уже не двигалась так, как раньше.

— Неправильно срослось, а ломать заново было жалко, — сказала ты, словно оправдываясь, что уже не можешь ею легко взмахнуть.

А я прижалась к твоему боку — со стороны здоровой руки, чтоб тебе было чем меня погладить, и стыдно стало, что я злилась на твою Третьяковку.

— Лучше бы ты по правде в неё ходила, Баба моя...

Потом тротуар подсох — наступила весна. Мы собрались к Матвеевым в гости. Тогда ты и попросила меня впервые помочь тебе застегнуть башмаки...

Если мне за 10 перевалило, значит, год был 62-63-тий. Башмакам лет 20 исполнилось. Они выглядели, как новые. Черные, тупорылые, с белым рантом, на толстой подметке, широком невысоком каблуке, с металлической пряжкой сбоку. Ты их очень любила потому, что удобные, по лужам идешь сухой, и каблук устойчивый — не проваливается в щели между плитками тротуара. Но что-то неприятное в них тоже было: у тебя как-то немного кривилось лицо, когда я застегивала эту пряжку. Ты любила их, но как хлористый кальций: и пить противно, и надо, потому что на пользу...

Только после перелома ты и попросила:

— Драгоценная моя, застегни мне туфли. Там такой ремешок с пряжечкой.

Я присела подле тебя на корточки, и застегнула. Мы проверили: туго — не туго. Они были совершенно ужасные — эти полуботинки, как ты их называла. С живыми бульдожьими тупыми мордами.

Когда я доросла до этих туфель, не знаю. Не помню, когда нога стала те самые 37-38, и ты тихонечко предложила:

— Померяй, они хорошие. Натуральная кожа, непромокаемые. А то ходишь в этом барахле, еще ревматизм себе наживешь. Нельзя с мокрыми ногами...

Безногий сапожник, что ездил мимо нашего крыльца на дощечке на четырех подшипниках, сделал тебе новые набойки.



Он тебя очень любил. Все солдаты-инвалиды тебя любили — помнили по военному госпиталю, где ты работала медсестрой.

— Да никогда, — с ужасом оттолкнула я башмаки. Мне казалось, стоит их примерить, как я стану старой. Что-то стыдное было в их надежности.

— Они тебе еще послужат верой и правдой. Им сносу нет...

Наверное, тогда ты и сказала, что они из Германии. Хотя, нет. Тетя Галя, что удочерила Анечку, которую прятала, когда ее родителей угнали в гетто, первая сказала мне, что ты была в Германии, в лагере, только после твоей смерти.

— Никогда, — повторила я.

— Никогда не говори «никогда», — глухо сказала ты и спрятала башмаки назад в коробку, погладив их, как живых, — чтоб они не обижались, что я их отталкиваю.

Ты была права. Очень вскоре после того, как тебя не стало, настала такая осень, когда мне совсем нечего было обуть. Я нашла их, влезла в них, и подивилась, какими удобными оказались они. Крепкими, устойчивыми — после всех «лодочек» на каблуках.

Безногого сапожника уже не было на углу, и у кого-то другого я набила косячки на его набойки. Я очень уверенно стояла в них на земле. И мордатые носки, если смотреть сверху, были не такими бульдожьими, как казались. В них была тупая бычья надежность, упорство какое-то, что-то похожее на «как дам!», если кто подойдет. Я никого никогда не била ногами. Хотеть — хотела, но ударить — не ударила. Но глядя на этот широкий тупой носок, мысль эта пришла, и подарила бесстрашие на долгие годы бродяжничанья по незнакомым городам в неурочное время. Как долго я в них ходила — не знаю. Знаю, что сменила несколько городов. А потом кто-то скривился:

— Что это на тебе? — и я их сняла.

Этот кто-то, наверное, был важен в тот момент. Имени теперь не вспомню. И куда они делись — твои башмаки — не знаю. Кому-то оставила, наверняка.

Сегодня сорок лет моему сиротству, Ба.

Я в Нью-Йорке включила компьютер и по интернету вышла на сайт немецкого производителя твоих башмаков. Я уз-

нала их — ремешочек и пряжечку. И купила себе первые настоящие Биркен, так их зовут. Мне их пришлют из Германии. Я не знаю, Ба, как я могла не видеть, как они прекрасны. Это вопрос оптики: я не видела гору на другом берегу реки, пока мне не одели очки.

Я не понимала, как ты можешь есть эту гадость — вареный лук и фаршированную рыбу. С сыром я, правда, врала. Но так убедительно, что ты, слава Богу, верила.

— Я его терпеть не могу, — плевалась я, только бы он весь тебе достался — этот крошечный ломтик голландского сыра. Грамм двести на месяц. Больше ты не могла себе позволить на нашу с тобой пенсию.

— Это за свет, за квартиру, за воду, на проезд...

И дальше — «разврат»: две пачки «Севера» по четырнадцать копеек, и ломтик сыра. Я видела, как ты размачивала в чае пересошенные корочки сыра. Не было у тебя любимее лакомства, и денег на него не было.

Лет двадцать после твоей смерти я дотронуться до него не могла. Потом не то, чтобы выросла, но как-то поняла, что я должна с этим что-то делать, должна приучить себя к тому, что тебя нет. Я купила сыру. Твердого, жёлтого, со «слезой», ровно твои двести грамм. Села, и принялась им давиться: я за-талькивала его в себя, и не могла проглотить — душили слёзы. Потому что если есть сыр, и ем его я, — значит, тебя нет.

Они самые красивые, эти туфли. И доктор советует, — в них такая стелька, которая снимет мне боль в ступне. Я до-ходила до артрита в том «барахле», ты была права. Я стала старая, Ба. Мне сегодня столько, сколько было тебе, когда я родилась. Какие же они красивые, твои башмаки. Я знаю, что ты пришла в них из Германии. Тебе их выдали в лагере, или ты сама их купила, выменяла, уже не узнать. Главное — так, как ты хотела: я в твоих тупорылых, мордатых, самых надежных полуботинках.

И что с того, что мой сын с ужасом спрашивает:

— Что это на тебе?

Я их уже не сниму. Осталось дожидаться внучки, которой скажу:

— Драгоценная моя, застегни бабе пряжечку...

## Семейные ценности

*Кент восьмерка*

— Пацаны, а есть Кент?

— Неа, у меня Ява.

— Игорь!

— Хочешь?

— У тебя не восьмерка?

— Винстон.

— Да мать твою! — громко выругалась миловидная 14-летняя девушка в мужской красной рубашке, разочарованно закуривая «Яву» за углом школы. — Кента хочу!

— Да есть, есть Кент, — сказал вдруг знакомый голос прямо за ее спиной, и тут же она почувствовала на своем плече прикосновение чьих-то пальцев. Она обернулась. Перед ней стоял и радостно улыбался красивый темноволосый мужчина в кожаной куртке.

— Папа... Привет, — растерянно сказала дочь, чувствуя на себе судорожное отцовское объятие.

Выпустив ее, он достал из кармана куртки маленькую коробочку.

— Вот, тебе. Смотри!

Он открыл коробочку и отдал ей.

— Спасибо... — чуть слышно сказала она, глядя на золотой кулон на цепочке в виде ее знака зодиака — Рыб. Через несколько секунд, закрыв коробочку, она подняла на отца готовые заплакать глаза.

Его взгляд, тоже влажный, смотрел неуверенно и нервно. Было заметно, что все происходящее с ним — порыв, спонтанность.

— Я соскучился по тебе, — сказал он, резко, отрывисто улыбаясь.

— Я тоже, папа.

— Я тебя сильно люблю, не думай даже. Просто так получилось всё...

— Эй, звонок уже. Пошли, — буркнул недовольно Игорь и толкнул ее в плечо.

— Ну ладно, ты иди на урок, иди, — начал отец быстро, отводя глаза. — Я тебе позвоню, обязательно. И приду.

Сказал он и, раз обняв, повернулся и, опустив стеклянные влажные глаза, пошел прочь. Он выглядел как безумный.

Все это время она стояла бездвижно, ничего не понимая толком. И только сейчас, пока она, как в бреду, брела вдоль длинной кирпичной стены, резкая, невыносимая боль пронзила ее насквозь.

Дочь обернулась. Отца уже не было.

## 1

От моей семьи по отцовской линии остался один человек — мой дед. Есть сводный брат, но он не считается. Он мало пока понимает.

Дед всегда был самым холодным человеком из всех, кого я знала. Мы виделись редко. В 2000-х где-то класса с 7-го он раз в месяц подъезжал на служебной машине к подъезду нашего дома, я к тому времени уже ждала на крыльце. Иногда он выходил и обнимал меня, как-то скупно, нелепо и неуверенно. Но чаще медленно приоткрывалась задняя дверь, он чуть выставлял ногу, доставал из внутреннего кармана пальто или пиджака мятый конверт в пятнах и протягивал его мне. Я жалко улыбалась, что-то говорила в ответ на один из дежурных вопросов, он говорил «ну ладно, Ира, пока» и уезжал. В конверте было обычно 15 тысяч рублей, а потом стало 10. Мой дед был миллионером — при советской власти служил секретарем ЦК, а в нулевые стал директором завода цветных металлов. Он и сейчас там главный советник.

Так продолжалось лет десять. Несколько раз, буквально два или три, дед приезжал перед Новым годом и привозил подарки. Эти моменты я помню. В огромном пакете были заморские гостинцы, некоторые до сих пор хранятся и даже активно используются мной, — это красивейшая длинная ложечка для мороженого, с керамической ручкой в виде милого клоуна, и две коробки изящных однотонных елочных игрушек, темно-зеленых шариков и фиолетовых колокольчиков.

Каждый год неизменно они красуются на моей ёлке — самой пёстрой новогодней ёлке на планете Земля.

Деда я, правда, боялась. С ним случались приступы гнева, который он выплескивал резко, на первого попавшегося человека. Но исключительно на человека, так как животных дед очень любит. Сейчас с ним живёт серый отъевшийся кот. Была ещё добрая большая дворняга, но недавно она умерла.

Я всегда думала, что чувств к деду испытывать никогда не буду, разве что страх и обиду, такую прям детскую, сильную. Но получилось иначе.

Мой отец покончил с собой в состоянии аффекта. Через несколько месяцев умерла в страшных муках бабушка. Я стала последним человеком, с которым она говорила. Пришла ненадолго в сознание в реанимации, именно в мой приход, вышла из шумовой комы. Она почти не могла дышать, отказывали все органы сразу, тельце, ставшее весом килограммов тридцать, тряслось, погружаясь в агонию, в злую предсмертную энтропию. Но вот она открыла глаза, узнала меня. Я ей сказала, что люблю, гладила по руке, она показала глазами на палец, который был сжат пульсоксиметром. Я поняла, что ей больно, что палец видимо нарывает. Попросила медбрата его убрать, прицепили на другую руку. А бабушка подняла взгляд на меня, и вдруг я увидела мелкую слезку, которую ей было сложно проплакать. В ней будто вырвалось то, чего ни я, да и вообще никто никогда не ведал о ней. Всю жизнь она была тьмой, из всех была самая злая. Но в последней слезке было столько отчаяния, столько раскаяния, боли и крика, что я ощутила до самых пяток, как я люблю.

Она пыталась что-то сказать, я наклонилась, и произошло чудо — сформировались два слова. Два раза она повторила чуть слышно:

— меня заколдовали... меня заколдовали.

Сейчас мне кажется, что имя она тоже произнесла. Точно не помню, но пусть будет так. Почему-то мне очень приятно так думать. В последние пару лет своей жизни и в самые тяжёлые, последние дни она улыбалась одному человеку. Она улыбалась мне.

А дед на неё орал (ты плачешь, опять она плачет), а потом ночевал на матрасе возле её кровати. Мама рассказывала, что как-то давно, когда они жили и здоровствовались, в одно из редких наших посещений их богатой по тем временам квартиры, дед так вспылал, что зашвырнул в бабушку тапком. Она ничего не ответила, терпела всегда, неизвестно зачем. Я думаю, сильно она боялась, всего на свете, любви, деда, свободы, счастья, бессмертия.

— Я не верю в жизнь после смерти. Я умру и сгнию, меня съедят черви.

Так она мне говорила. Она очень боялась Бога, и мне совершенно ясно, кто её заколдовал.

Видимо тот же, кто заколдовал деда, который орал и швырял тапки, а потом срезал в саду огромные розы и подносил мне и бабушке, утром ставил возле кровати, мы просыпались в отдельных комнатах, но вместе вдруг видели розы. Пару месяцев за всю жизнь я жила с ними в доме, видимо, чтобы увидеть это.

Этих людей я винила когда-то во всех своих бедах, в самоубийстве отца, в нервных срывах матери. Может, они и виноваты, во многом уж точно, но дело не в этом. Самое странное и непонятное, что я чувствую к ним большую любовь. Таковую, что сердце трепещет. Ничто её не убило, и только благодаря этому я поняла, что значит любить.

Сейчас мы редко видимся с дедом, но раз в неделю говорим по телефону. Иногда он чуть злой и не хочет общаться, а иногда смеётся. Как-то он даже назвал меня «Ирочка» вместо привычного «Ирка». Терпеть не могу, когда меня так называют. Это «Ирочка» его голосом я услышала единственный раз, и слезы прямо-таки брызнули. Наверное, это и значит любить.

Я как-то заехала к нему и увидела, что бывший секретарь ЦК и главный советник завода металлов ест Доширак и картошку Ролтон, а варит только мясо, и то собаке. И это не оттого, что он обнищал, нет, у него, как и прежде, есть деньги. Но сил жить практически нет.

После этого я заказывала ему еду в интернете, иногда даже за свои деньги, он ведь не любит встречаться.

Много больных и тяжёлых моментов нам с мамой пришлось снести от отцовской семьи, но только с их помощью, с их дикой, кричащей помощью, с их детским слепым отчаянием  
я впитала в себя  
любовь.

## 2

поняла, что большинство всегда ошибается, не ошибается только сердце и совесть, что, наверное, одно и то же. особенно явно чувствуешь совесть, ее тяжёлое пробуждение, после того, как обманешь себя, как совершишь ошибку. и эта боль — знак, не для тебя потеряно.

заметила, что больше всех (хотя больше — не лучшее слово), какой-то особой любовью я люблю не родителей, а именно бабушек и дедов. любовь к родителям, само собой, сильная, но с ней сопряжено столько боли, что порою теряется даже самый нравственный правильный человек, слыша логичный вопрос в своей голове: да разве ж это любовь?

другое дело — мои старики. к слову, недавно я размышляла о другом своем деде, ведь он по сути единственный оказался вправе быть для меня мужчиной. мужчиной моего детства и юности, можно сказать, всей жизни. поймала себя на мысли, что он — один в своем роде живой человек, не причинивший мне ни секунды боли. вот абсолютный ноль, не припомню даже малого атома, даже базончика зла. кажется, что из его биополя не вылетело ни одной частицы, заряженной информацией, которую можно назвать негативной. этот пример безусловной любви, такта и понимания — такого, что называют «без слов» — оказался настолько рабочим, что сейчас, начиная вдруг кем-то манипулировать или выискивать с окружающих разные пенни, проценты и ставки, я вспоминаю фигуру деда, с шариками и гвоздиками в День Победы, которые он вот-вот мне подарит. и резко становится стыдно. но при этом сразу легко и ясно — вот, человек, люби, и всё. тебе ничего не должны за это.

как мне сказали коллеги по литературному цеху, такие герои — простые, добрые, любящие — читателю не интересны, их никто не запомнит, уж больно они «хорошие».

честно признаться, вот этих простых и добрых мне настолько всегда не хватало, что я научилась любить «плохих».

пришло время для нового квеста — пора научиться помнить «хороших».

## 3

страшно даже подумать о том, что сейчас хочу написать. но всё-таки сделаю это.

хочу признаться себе и людям, что я наконец-то счастлива.

и сразу так страшно, что вдруг исчезнет... наверное, это и есть тот ключик, как бы проверочный код к счастью, его определение.

как будто разбить любимую антикварную кружку или фигурку, тончайшую, особенную, расписанную вручную. вот она у тебя в руках, теплая и такая твоя, но стоит лишь допустить оплошность, неловкое тупое движение, которого никогда не предскажешь, и клац! на полу осколки. отныне только смотреть и плакать.

сейчас я испытываю такие чувства. счастье и страх.

счастье и страх.

не знаю, откуда он взялся. я, признаться, всегда считала себя счастливой, никогда не была недовольна жизнью, мне очевидно везло (тьфу-тьфу!).

я правда считала себя счастливой. но считать и быть, вероятно, слишком уж разные вещи.

с появлением в моей жизни счастья я стала бояться смерти. не самого факта, мысль о котором всегда поражает людей внезапно, как гром среди ясного неба, и человек вдруг впадает в ступор, а именно осознания того, что все счастье любви к другому, любви простой и взаимной, возьмёт и вдруг навсегда прекратится из-за какой-то там смерти. это, простите, невысказано.

а главное, непонятно, к чему вообще такая жестокость? и если нет смерти, а есть жизнь души, но отдельной души, одинокой, то к чему вообще всё, кому оно надо?

после того, как нашёл своих, навсегда их потерять.

мысли мои, несомненно, далеки от оригинальности, но вот именно к ним в итоге свелись все мои философствования. Ницше, Делёз, Платон, Фуко, великая русская литература, а также множество имён и фамилий, опер и музык, стихов и новелл в итоге ведут к простейшим вопросам, один из ко-



торых и есть тот самый мой главный насущный вопрос.

как удержать на руках счастье? как не бояться разлуки?

в каком-то смысле одиноким сверхлюдям существовать объективно легче. спокойно идти в человеческий дождь, как Герасим после убийства. и о Муму больше не думать, пузырьки воздуха лопнули. осталась немая гладь.

а счастлив был Николай Кирсанов, что потерял любимую Марию. потерял и страдал, чуть не умер, но выжил, и Бог даровал новое счастье, возможность любить до заката жизни, до самого её конца. и казалось бы, формула неплохая, просите, и дано вам будет. но ведь и отнято будет вновь.

что с этим делать? это жестоко? неужели всё, что мы можем, — это смириться, принять жестокость, проглотить и дышать, пока воздух, сквозь слезы?

вроде как ничего другого нам и не остаётся.

вот о чем думаю каждый день.

каждый счастливый день.

## Баинька

Мне шесть лет. Зима. Папа везет нас с мамой из теплого Казахстана на Урал. Он только что демобилизовался со службы в пограничных войсках.

На малой станции Быньговский поезд Свердловск — Нижний Тагил стоит всего две минуты. Мы сначала выбрасываем узлы, потом катимся сами в сугробы станции. Приехавших ждет небольшой старенький автобус, холодно, окна в автобусе покрыты ледяными узорами. Пассажиров оказывается много, и от нашего дыхания в салоне скоро становится тепло. Мама развязывает на мне свою пуховую шаль, снимает варежки. Я смотрю в окно на сумеречный лес в снегу, мне страшно, я все ближе прижимаюсь к теплomu маминому плечу.

Мы едем к папиной маме в горняцкий поселок Левиха. Мое первое воспоминание от встречи с новой бабушкой и новой жизнью возвращает меня в тот зимний вечер. В большом, двухквартирном деревянном доме мы собираемся все на кухне. Горит теплый свет, трещат дрова в печке. На печке в чугунке варятся пельмени. Бабушка откидывает несколько досок в полу и спускается в неглубокий подпол. Достает оттуда соленые рыжики, огурцы, моченую клюкву. На столе стоят пироги с черемухой, шаньги с картошкой. Начинается неспешный ужин. За столом незнакомые мне лица, больше все бабушкины подруги. После чарки кто-то затягивает уральскую «рябинушку». Меня уносят спать в бабушкину комнату, кладут на кровать рядом с жарко натопленной голландкой.

Мать отца, мою новую бабушку, звали Клавдия Александровна. Моя мама почему-то звала ее баба Клаша. А мне было сказано называть ее бабинька. Но слово это казалось мне несуразно длинным, и у меня всегда выходило «баинька».

На сегодняшний день помню я о баиньке только то, что Клавдия Александровна и мой дед Михаил... были в граж-

данскую красными, а посему воевали с белыми не на живот, а на смерть. О них даже написано в книге «Были горы Высокой». Книгу эту привезла мне в Америку их двоюродная тетка.

Деда я никогда не видела, он работал начальником овощехранилища и умер, когда отец мой был уже на фронте. А на фронт отец ушел пацаном, только закончившим школу, в 17 лет. Дед принес домой пузырек тройного одеколona, из него и налили в рюмки, с ним и проводил он сына на войну. Отец воевал на юге Казахстана, потом в Китае с гоминдановцами. После войны остался служить там же, в приграничном с Китаем городке Панфилове. Там я родилась и провела свои первые 6 лет жизни.

По рассказам мамы за бабой Клашей водился страшный грех: она получала пенсию за якобы погибшего на фронте сына, то есть моего отца. Как ситуация разрешилась, когда мы всей семьей приехали в Левиху, остается в туманном прошлом.

Маму мою баинька невзлюбила сразу. Чувства эти вскоре стали взаимными и рикошетили не только по моему отцу, но и по мне.

В бабушкиной комнате я спала всего одну, первую, ночь. Потом меня перевели на диван в зале, так называлась семейная комната. У родителей была отдельная, небольшая спальня.

Диван, на котором я спала, стоял напротив телевизора, но смотреть мне вечерами не разрешалось. Отвернувшись к стене, я долго не могла уснуть, слушая все, что показывалось. Именно тогда, в школьные годы, я полюбила хоккей. Уже позже, повзрослев, смотрела с отцом все матчи и горячо болела за наших хоккеистов, которые стали к тому времени важной частью моей жизни.

У баиньки, кроме моего отца, была еще старшая дочь Фаина. Она жила в Москве, с мужем и двумя дочерьми. Работала Фаина главным бухгалтером в большом гастрономе. По рассказам, она все время подбивала балансы, сводила цифры и писала отчеты.

Эта загадочная тетя присутствовала в моей жизни посылками для баиньки. В посылках были невероятной вкусноты продукты: вафли, икра, колбасы, крупы, конфеты в золотых

обертках, консервы всяких сортов и прочая недоступная нам еда. Продукты эти предназначались только для баиньки. Она ела их отдельно, за кухонным столом, обычно перед тем, как мы садились за свою трапезу. Еду она себе тоже варила отдельно. Я старалась в кухню в это время не заходить. Помню до сих пор запах супа с лососевыми консервами, гречки с тушенкой, копченой колбасы.

Эту загадочную тетю Фаю, бухгалтершу, я увидела, когда училась в четвертом классе. Меня повезли в Москву на предмет медицинского диагностирования. Я была готова пойти к любым врачам, только бы поехать в Москву. До сих пор помню голос диктора в вагоне: «Поезд прибывает в столицу нашей Родины Москву». Страшно было дышать, шевелиться, смотреть на пассажиров, главное было не пропустить, когда же появится столица.

Тетя Фая жила со своим вторым мужем и младшей дочкой Галиной в Тимирязевской академии, там работал муж тети Фаи, дядя Миша. Их квартира была на втором этаже старого деревянного дома, где на каждом этаже жило по четыре семьи. Во дворе стоял большой деревянный стол, за которым вечерами играли в карты, грызли семечки и просто сидели за соседскими долгими разговорами.

Дядя Миша был добрейшим человеком. Невысокого роста, толстенький и всегда улыбающийся весельчак. Он работал в одной из лабораторий Академии, но не научным сотрудником, а техническим помощником. В чем конкретно заключалась его работа, я так никогда и не поняла, помню только его стол, заставленный разными кактусами, которых я никогда до приезда в Москву не видела.

Там я впервые увидела негра, звали его Карузо. Кожа у него была такая темная, что отдавала синевой. Я долго не могла привыкнуть к Карузо, старалась не подходить близко и не смотреть в открытую на его лицо. Он над моим страхом подсмеивался, а как-то раз схватил меня в охапку. Я так орала, что прибежали из соседних комнат. Карузо растерялся просил прощения у дяди Миши, а тот только смеялся и говорил, что меня надо приручать постепенно. В конце концов мы с Карузо подружились, и я долго хранила фото с ним, на котором его темное лицо было едва различимым.

Тетя Фая была очень строгой, даже сердитой, я ее боялась больше всего на свете. Ей даже не надо было ничего говорить, только посмотреть в мою сторону, чтобы я вжалась в стул или в стену. Умерла она, когда я уже закончила школу. Дядя Миша вскоре женился на веселой хохотушке и прожил с ней много счастливых лет.

Диагноз мне поставили в тот московский приезд загадочный: лямблии в печени. Я их представляла смешными человечками в виде гномов, а печень таким большим замком, где они все дружно жили.

После этой поездки баинька выросла в глазах всей семьи, она спасала внучку, которую кстати не очень любила. Причина этой нелюбви крылась в моей особой близости к бабушке Нюре, маминой маме. Баба Клаша считала, что та воспитала меня неправильно, я была всезнайкой, выскочкой и дерзила старшим. Как было на самом деле, мне судить трудно. Нелюбовь ко мне вскоре ослабла, так как у меня появился брат Саша. Он и взял баинькину любовь на всю ее оставшуюся жизнь. Ему доставались сладости из московских посылок, тонкие кружочки колбасы и бутерброды с набросанными на них красными шариками икринок. Саша прожил с ней в неге не один год.

Баинька была превосходной собирательницей грибов, любила ходить по ягоды, знала, как распознать следы зверя на лесной тропинке и какую травку собрать для недуга. Ее любимыми цветами были незабудки, нашедшие приют в крохотном болотце около поселкового пруда. Где бы я ни жила, везде разводила садик, но вот незабудки удалось посадить, только уже приехав в Калифорнию. Каждую весну они несмело начинают цвести, во мху под елкой, тень от которой и заменяет им болотце. Баинькины цветы.

В тот год, когда я закончила школу, родители вместе с еще двумя семьями уехали на комсомольскую стройку в Белоруссию, в молодой город калийщиков — Солигорск. Я к тому времени успела поступить в Свердловский педагогический институт, и из родных у меня осталась только баинька в Левихе. Отношения наши с годами не потеплели, и даже мое одиночество и тоска по родителям не смогли заставить меня ездить к баиньке.

Бабу Клашу вскоре забрала в Москву тетя Фая, и я ее больше не видела, и признаться, не думала о ней. Молодость

эгоистична, она быстро наполняется новыми людьми и впечатлениями.

Через год я перевелась в Минский институт иностранных языков, и баинка осталась за бортом моей новой жизни.

В один из слякотных зимних дней я садилась в автобус, чтобы навестить в Солигорске родителей. На переднем сидении я неожиданно увидела отца. Лицо его осунулось, в глазах не было жизни. Он возвращался с похорон баиньки.

## Грей во рту!

Один мужчина, покупая мороженое своей маленькой доченьке, всегда говорил:

— Грей во рту!

«Чтобы оно превратилось в отвратительную кашу?! — думала девочка. — Да ни за что!»

А потом она выросла, и папы уже не было, и никто не говорил ей больше: «Грей во рту!» (Да хоть заглывай целиком, как старик Хоттабыч!) Но еще ни одно мороженое не было съедено ею без воспоминания об этой фразе. И меньше всего она думала, что когда-нибудь эти слова сорвутся с ее уст, и она, купив впервые мороженое своей доченьке, Арише Обух, скажет:

— Грей во рту!

И увидит, как все грядущие поколения Обухов, все внуки ее и правнуки — неизвестные, но любимые! — строго говорят друг другу: «Грей во рту! грей во рту! грей во рту!»

## Любимый

Она выясняет с ним отношения с утра до вечера: любишь? не любишь? обожаешь?.. «Не верю!» — как Станиславский, кричит она и, театрально заламывая руки («Господи, думает он, как она похожа на свою мать!»), бросается на диван, чтобы было удобней порыдать, однако, беспокоясь, что он плохо слышит, она возвращается назад и кричит ему в лицо: не верю!

Она желает любви ежесекундно. Точнее, подтверждений этой любви, доказательств. Она совершенно не оставляет ему времени, чтобы о ней помечтать. Уже не говоря о работе. Или же о том, что иногда ему хочется пообщаться и с умными людьми, например, с Гессе. Увы, у него с ней разные интеллектуальные уровни.

— Не мешай мне сейчас, я занят.

Она смотрит на него огромными от удивления глазами, не понимая: ведь он только что говорил ей — любимая!.. Какие занятия?! Ах, так?!

И она убегает в комнату, садится на стульчик, обнимая свои коленки, и страдает. Когда она обижается и воображает себя нелюбимой — она всегда живёт на этом стульчике. И никакие слова любви и раскаяния не заставят снизойти. Только подарки. Увы, она корыстна. Но — невинно корыстна: потому что подарки — это ведь тоже доводы любви.

Она меряет новую шляпку — новый довод любви, смотрится в зеркало, и ей явно нравится то, что она там видит. Она счастлива. Он любит её и думает: как же зависит от новой шляпки женское счастье!..

— Я красивая? — спрашивает она.

О да, счастье, моя маленькая умора, ты самая красивая на свете!

— Любимый! — благодарит она. — Ты моя радость!

Он тает. И это опасный момент. Она охотничьим взглядом ловит его и, нежно — о, бездна хитрости и коварства! — заглядывая ему в глаза, говорит:

— А мы поедem в Африку?

Он бледнеет: о, нет! Только не в Африку! Ну сколько можно?! Езжай сама, коли охота. С него хватит. Сил его больше нет!..

— Ну любимый, ну лапушка, золото моё, ну я умоляю тебя!..

Он, естественно, не выносит женских слёз и сдаётся. Это выглядит так: он становится на четвереньки, потому что он — пони, а она — кенгуру (кенгуру, как известно, не живут в Африке, но она не в ладу с географией), и, водрузив на себя весь зоопарк, он скачет с ней по Африке, по Африке, по знойной, жаркой Африке!.. Боже милосердный, когда это кончится?! Его детство промчалось в каких-нибудь десять минут, юность уложилась в секунды — а с ней же они скачут по Африке вот уже битый час, а ей, его любимой, крокодилу его ненаглядному, как было два с половиной года — так и есть.

— Скоро ей будет три! — мечтательно говорит мама.

Не скоро: лет, наверное, через десять.

— Мамулечка, родненькая, пирожок с вишенкой, хочешь в Африку?!



— Нет! — твёрдо отвечает пирожок с вишенкой. — Я хочу в Париж.

Кенгуру начинает рыдать: это единственное существо в мире, которое всерьёз относится к маминому желанию прокатиться в Париж, хотя по финансовым соображениям она может доехать лишь до станции Сиверская. Там, кстати, дача. Там хорошо. Там прекрасный воздух. Но когда маме пытаются сказать про этот самый воздух, она начинает тут же задыхаться, как будто ей говорят, что в камере пыток прекрасный вид из окна.

При слове «Париж» он скучает, и мама-кенгуру делает выводы:

— Ты не любишь меня, — говорит она и идёт жить на стульчик.

То есть нужны доказательства. Новые доводы. Новый пылесос уже был, новая швабра тоже, причём это не оценили. Очевидно, чтобы поверили в его любовь, ему надо повеситься на глазах — тогда, быть может, она поверит. Но это будет бесперспективно для счастья.

Поэтому он встаёт с четверенек и открывает Гессе, пока его любимые на стульчике сладко выясняют отношения: любишь? обожаешь? Поцелуйкин! Сама Поцелуйкин! Обожун! Сама Обожун! А что такое Париж? Ну, Париж — это!.. А нельзя ли нам вместе поехать в Париж? («О, Боже милостивый!..» — думает он.)

Разомлев от любви, они возвращаются к нему и говорят:

— Папуля, ты какой-то... любимый!

Он пытается не выдать себя улыбкой, но безуспешно. Две пары охотничьих глаз зорко стерегут добычу и, поймав на лету, нежно спрашивают:

— Любимый, хочешь пирог?

Он закрывает Гессе и идёт печь пирог.

## Счастье Вероники

А на счастье-то вышли случайно, не нарочно, среди бела дня, до обеда даже, когда, в общем-то, не до счастья, и Лина сказала: ну вот что это, носки три дня лежат на полу — ребёнок перешагивает! не поднимает!.. Три дня перешагивает — я наблюдаю. На четвёртый день закатываю сцену — говорит, что не видит. Искренне не видит. Ну, вот что это, я тебя спрашиваю?! Ну вот как это называется?

— А я знаю — как, — отвечает Вероника. — Хочешь, скажу?  
— Очень хочу!  
— Это называется — счастье.  
— Какое счастье?!  
— Настоящее. Оно только в детстве бывает. Ты просто не видишь ничего вокруг — ни грязи, ни мусора, ни разбросанных тряпок: тебе так хорошо, что не стоит отвлекаться на эти глупости, они отнимают тебя от счастья...

— Ты знаешь... я что-то начинаю припоминать...

И Вероника продолжает.

— Однажды в детстве я несла чашку с водой, по дороге разлила и тут же стала заниматься своими делами. А папа говорит: Вероника, вода на полу... Ну и что? — отвечаю я. Как это «что»? — удивился папа. — Надо же вытереть. А я говорю: а зачем, она же скоро сама высохнет, испарится, мол... И папа рассмеялся, он понял: это было счастье. А потом оно ушло.

— Куда?

— К нашим детям.

— Зачем же мы кричим на них, таких счастливых?!

— А несчастные люди.

— Это правда, — согласилась Лина. — Но я тоже хочу быть счастливой.

— Имеешь право.

— Не имею: потому что придёт другой несчастный человек и будет орать на нас, счастливых, он будет думать, что мы засранцы, а мы не засранцы, мы просто счастливые люди.

— Понимаю... — вздыхает Вероника.

Вот такая метафора счастья: маленькая Вероника, лужа воды на полу, смеющийся папа...

— И ничего лучше уже никогда не будет, — говорит Вероника. — Нет, лужи будут, конечно, но это всё.

## Агнел мой

По лесной тропинке, ведущей к станции, гуляли два зонтика.

— Смотри, — говорил большой синий зонтик. — Вон тучка на небе, похожа на носорога!.. видишь?

— Виду! — радовался маленький зелёный зонтик.

— Надо говорить: вижу. Повтори.

— Вижу, — послушно повторил зелёный зонтик.

— «Носорог бодает рогом — не шутите с носорогом!» — помнишь у Маршака?..

— Помню, — кивнул зелёный зонтик. — А Маршак — это Пушкин?

Синий зонтик рассмеялся:

— А Арина — это Петя?

— Не-ет! — возмутился маленький зонтик. — Я не Петя...

Ой! — вдруг обрадовался зонтик. — А вон гриб!..

— Где, где?..

— Вон, под кустиком, нагибнись.

Синий зонтик опять рассмеялся, это был зонтик-хохотун.

— «Нагибнись!» — передразнил он. — Надо говорить: нагибнись, — и синий зонтик поцеловал зелёный. — Ангел ты мой!..

— Я не агнел! — обиделся зелёный зонтик. — Я — Алина!

— Ар-рина, р, р! Повтори, — строго сказал синий зонтик.

— Ар-рлина, р, р! — повторил зелёный зонтик и спросил: — А что такое «агнел мой»?

Синий зонтик задумался.

— Ну как тебе сказать... это такое... с крылышками...

— У меня нет крылышек! — удивлённо заметил зелёный зонтик.

— Да, действительно, — согласился синий. — Но когда говорят кому-то: ангел мой! — ангел, а не «агнел»! — это означает: мой хороший, мой славный, мой любимый!.. Понял?

Вдали послышался гудок электрички.

— Бежим! — забеспокоился старший зонтик. — Бежим скорей, а то опоздаем!

Два зонтика заспешили к станции.

— Его нет!.. — горько сказал на перроне зелёный зонтик и заплакал. — Он больше не вернётся к нам!..

— Глупости, — ответил синий. — Какие глупости. Значит, он приедет завтра.

— Не при-едет, — громко ревел зелёный зонтик. — Не при-едет!..

— Ну перестань, глупый!.. Он, наверное, не успел вовремя купить нам подарки и опоздал на электричку... приедет завтра... ой, а вон он!..

— Где, где?!

— Во-он!.. Машет нам рукой, видишь?

— Виду!.. — радостно закричал зелёный зонтик. — Виду!!!

По перрону, спеша и волнуясь, бежал им навстречу большой чёрный зонтик.

— Мой хороший, пригожий папа! — обнимал его зелёный зонтик. — Агнел ты мой!

И через минуту по тропинке, ведущей к дачам, шли уже три зонтика — чёрный, синий, зелёный...

## Ты — никто, я — никто, никого нет ближе

Никто опять пришёл и сел напротив меня. Я смешиваю краски на палитре и делаю вид, что не замечаю его. Мне нужно сделать иллюстрацию к детской книге. В рассказе маленькая девочка рисует синего слона и говорит маме:

— Смотри, этот синий цвет сам себя превзошёл!

Мне нужно нарисовать, как синий цвет сам себя превосходит. Но синий пока остаётся в себе. Не выходит из себя и не превосходит.

Никто рассмеялся:

— У тебя лицо уже синее!

Синее лицо. Синие руки.

— Может, чай? — предлагает Никто.

Иду мыть руки. Под водой цвет оживает, становится ярче. Из рук вытекает река.

Отмыть руки идеально не удаётся, пигмент входит в поры, получается кракелюр. Теперь легко читать линии на руках: у меня три чёрточки брака. Я узнала об этом в детстве, знакомый мальчишка сказал, что это мы с ним поженимся, разведёмся, поженимся, разведёмся, поженимся, разведёмся. Я запомнила это, потому что он сбился в конце и добавил: «Нет, последний раз не разведёмся».

Этот мальчишка уже женился, и его дочке два года, мысль об этом меня успокаивает. Значит, линии на моих руках — это просто узор.

Никто налил мне в чашку кипяток. Из чашки валит пар, и чайный пакетик входит в этот пар каким-то ритуальным жертвоприношением.

— Это чай с сиренью, — говорит Никто. — Ты же любишь сирень.

Смотрю в чашку, жду сирень. Не дождавшись, с упрёком говорю:

— Это чай не с сиренью, а с каким-нибудь E536. «Аромат идентичный натуральному». Аромат этого чайного пакетика превосходит сирень.

Смотрю на Никого. Он тоже смотрит на меня. Молчит. Выжидает. Чай не пьёт, печенье не ест.

Никто ждёт, когда я начну о думать.

Думаю. Мне легко о думать. Даже самые печальные мысли о нетяжелы.

Мысли приходят картинками. По белому листу акварельной бумаги провожу мокрой морской губкой и пускаю вплавь охру. Охра плывёт вольным стилем, заполняя почти всё пространство.

— Я готов рассказать тебе поле, что ли? — улыбается Никто.

— Это саванна. Когда она высохнет, я запущу туда синего слона.

Добавляю в саванну оранжевого, а Никто продолжает что-то говорить — я придумываю ему слова и отвечаю на них... и так удачно отвечаю!

Никто любит, когда о думают. Когда его рисуют, когда о говорят. Вернее, не любит, а считает это естественным.

— А какой у тебя любимый цвет? — из любезности интересуется Никто.

— Мой учитель говорил, что у художника все цвета должны быть любимыми, но у меня — синий.

— Почему? — взгляд Никого рассеян, ему по-прежнему неинтересно, но вопрос правильный.

Никто всегда растворён в самом себе. Я начинаю ходить по комнате, пытаюсь как-то встроиться в пространство его взгляда. Попасть в фокус.

— Потому что синий — это ты.

Во взгляде Никого появляется интерес, он садится в кресло поудобнее, ожидая развёрнутого ответа.

Разворачиваю.

...Мои первые очки от солнца были синими. Их не хотелось снимать: повсюду была красота, не было кричащих жёлтых и поглощающих красных. Голубой период Пикассо со всех сторон. И вот в один из таких синих дней моя знакомая предложила поменяться очками. У неё были обыкновенные чёрные, и я, конечно, отказалась. Через несколько минут после этой сцены мои собственные очки сломались. Получается, в этот день очки должны были исчезнуть так или иначе.

Очки исчезли, а дефицит синего в глазах надо было как-то восполнить. И с тех пор эта краска в наборах акварели, пастилы, темперы заканчивается у меня быстрее других.

Синий — это основной цвет: его нельзя добыть, смешивая другие краски. Он независим, самодостаточен и холоден. И в какой-то момент он может превзойти сам себя, стать иссиня-синим.

Если бы у этого цвета был вкус, то это была бы конфета «Холодок». Не тот «Холодок», что продадут вам сейчас. А «Холодок» из прошлого. За которым ты несся в столовую во время большой перемены, толпился в очереди, наскребал мелочь, покупал, раздавал всем друзьям, которые вдруг внезапно со всех сторон окружали тебя и протягивали руки. И вот наконец у тебя остаётся последняя конфета, ты кладёшь в рот и — ощущаешь... Ощущаешь этот холодок между уроком алгебры и геометрии, бесконечные четыре минуты синего цвета. Которые ты забрал в себя, пронёс зачем-то через жизнь и вспомнил, стоя перед синим холстом.

— Но ты так и не сказала, почему синий цвет — это я, — Никто не хочет уходить от волнующей его темы.

Разговор о как бы осуществляет его. Да и я не хочу, чтобы Никто исчезал, поэтому продолжаю нашу беседу.

— Ты — как этот синий цвет. Превосходишь сам себя.

Никто приятно удивлён.

Первый раз он проявился семь лет назад. Мне было пятнадцать лет, и я написала стихотворение, которое начиналось так: «Полюбила я Никого...». Надо сказать, что это была самая удачная строчка в стихотворении. И вот после этой строчки Никто и появился. Теперь он всегда со мной и не думает прощаться.

Изначально стихотворение было посвящено тому мальчику, который обещал три раза на мне жениться и развестись. Но Никого оказалось больше.

Никто превзошёл сам себя, вышел из себя и проник в каждый облик.

Со временем оказалось, что Никто может заменить всех.

— О, антиквариат! — Никто, усмехаясь, кивает на запылённый временем кассетный плеер.

Если часы ломаются, то в них застывает время. Если ломается плеер, в нём застывает песня. Смотрю на его сломан-

ный динамик и слышу «районы, кварталы, жилые массивы, я ухожу, ухожу красиво».

— У-ужас, — брезгливо морщится Никто. — Хотя... честно говоря, я тоже помню эту чушь: что-то там «ярко-жёлтые очки, два сердечка на брелке»... Брелоке, кстати. Но из песни слов не выкинешь. Кошмар какой-то.

Кошмар.

Мне одиннадцать лет. На моих джинсах-клёш висит цепь и те самые «два сердечка на брелке»: два скреплённых эпоксидных сердца, а внутри жидкость красного цвета. Пока я иду, жидкость пенится. В ней плавает слово «Love». Было понятно, что «love» круче, чем «любовь».

А выход в свет всегда начинался с кондитерской:

— Можно конфет с татушками?

— Сколько? — спрашивает продавщица.

Высыпаю на прилавок шестнадцать рублей.

На весы падают восемь конфет. Это значит, что скоро у меня будет восемь новых татуировок. Но пока у меня только бабочка на запястье, штрихкод на плече, тигр на спине и НЛО на шее.

Татушки быстро смывались — сразу после разговора с родителями. Вечером смываешь, днём снова бежишь в кондитерскую. Однажды мимо меня прошёл дедушка и сказал:

— Красавица, обклеила себя всю, как зек.

У меня в ушах пели «Звери». И я не поняла, почему «зек».

Я спешила в гости к подружке. На распахнутом окне стоял магнитофон и на весь двор орала «Дискотека Авария».

— Включи мне «Небо»!

Нам играло «Небо», а мы играли в мяч.

И тут случилось судьбоносное: мяч задел клейкую ленту с мухами и она упала прямо мне на голову.

Все бросились к моей опозоренной голове оттирать ленту с волос.

— У тебя в голове много мух осталось, беги домой!

О боже! Мухи! В голове! На моих волосах! Ужас!

Бегу. Волосы с мухами развеваются на ветру как паутина.

И вдруг слышу:

— Какие люди в Голливуде!

И вот надо же, чтобы самый красивый мальчик на «районе-квартале» впервые заметил меня, когда я была с «мухами в голове»!



«Какие люди в Голливуде» — я впервые услышала эту тупую фразу, и она поразила меня в самое сердце. Точнее, в три сердца, два из которых болтались на «брелке», и красная вода внутри вскипала, как кровь.

И так будет всегда: в самые судьбоносные моменты жизни обязательно будут какие-нибудь «мухи в голове».

В пятнадцать лет он сделает мне предложение «развестись и пожениться», а через год скажет: «Что было вчера, то было вчера».

Я осталась во вчера.

— Точно. Именно там мы с тобой и познакомились, — кивнул Никто. — Ты сидела на стиральной машине.

Стиральная машина — это место моего уединения. Ванная комната защелкивается на замок, стиральная машина гудит, создавая какой-то межгалактический шум, кажется, что она вот-вот взорвётся, а крутящийся барабан станет новой планетой. Я сижу на стиральной машине, обхватив колени руками. Напротив меня висит плачущее зеркало...

— Ты, правда, так страдала по тому... из «районов-кварталов»? — мой Никто высокомерен.

— Это были стандартные страдания подросткового периода.

— Слушай, — Никто смотрит на плавающую охру в моей акварели. — Жакни уже ультрамарина в свою иллюстрацию!

Точно, я совсем забыла про слона. Синий цвет терпеливо ждёт и из себя не выходит.

Чтобы вывести синий цвет из себя, нужен дополнительный цвет. У каждого цвета есть всего один-единственный дополнительный цвет. У синего это оранжевый. Такое соединение цветов называется «комплиментарным». Оба эти цвета как бы делают комплимент друг другу, становясь контрастнее, ярче. И оба сияют.

Оранжевый в зените, от мастихина земля в саванне потрескалась. Слон бредёт по обнажённой почве.

Синий вышел из себя.

За ним вышел Никто.

Но он вернётся. Мы дополнительные цвета: ты — Никто, я — Никто, никого нет ближе.

Потому что память — это клейкая лента с мухами.

## Бабушкино облако

— Бабушка-а, — в длинной ночнушке до пят я ныряю под одеяло, — Расскажи сказку.

Прижимаюсь к мягкому телу, от которого пахнет сеном и молоком. С шумом втягиваю носом этот запах и готовлюсь слушать.

— Чего рассказывать? Я и рассказывать-то не умею.

— Тогда почитай.

Бабушка тяжело переворачивается на бок и тянется к тумбочке, где лежит потрепанная книжка с цветными картинками.

— Только не ерзай! — она надевает круглые очки в толстой оправе. — «Один раз Павлик взял с собой Котьку на реку ловить рыбу».

— Бабушка, ты вчера этот рассказ читала, и позавчера.

— Хороший рассказ, правильный. Слушай и запоминай.

Я слушаю. И запоминаю. На всю жизнь.

— Ну, теперь спи, — бабушка аккуратно снимает пластмассовую гребенку с седых волос. И на голове у нее получают тонкие бороздки. Она снова поворачивается на бок и выдергивает провод лампы из розетки.

В темноте я слышу, как она молится, торопливо крестясь:

— Господи благослови, Царица небесная, Матушка родная. За окном воет соседский пес.

— Не к добру, — заключает бабушка.

А я лежу и думаю, какое оно это недобро? И как сделать так, чтобы оно не наступило? Мыслями уношусь высоко-высоко в небо. Там темно, а я такая крохотная точка, вот-вот исчезну. И не будет больше ничего. Меня не будет. И бабушки не будет. И так страшно становится. Жутко.

— Бабушка, — я прижимаюсь к ней еще теснее, — а ты правда молодой была?

— Правда.

— Как моя мама?

— Как ты.

— Не может быть! — отвернув одеяло, я сажусь в кровати.

Бабушка легонько тянет меня к себе. Укрывает ноги и тщательно подворачивает одеяло.

— Спи уже, — вздыхает она. — Утром в лес идти, пока ягода добрая.

— А что, бывают злые ягоды? — я натягиваю одеяло до самого носа.

Кажется, соседский пес перестал выть. Тишина.

— Быва-а-ают, — широко зевает бабушка. — Такие ягоды далеко за горой растут. Баба Шара, которая на хуторе живет, их по ночам собирает. Сушит, а потом в ступе толчет. Слова страшные на них наговаривает.

— А потом? — мое сердце колотится. Мурашки по коже пупырышками вскакивают. И даже пальцы покалывает.

— Потом она толченые ягоды с мукой смешивает и пироги печет. Узнает, кто из детей по ночам не спит, так их пирожками и угощает.

— Ой, — закрываю руками рот. — Она мне пирожок давала. Я съела.

— Ну вот, вырастут у тебя теперь заячьи уши и нос пятачком.

— А говоришь, сказки рассказывать не умеешь, — я надуваю щеки.

Снова завыл соседский пес. На чердаке заскребла мышь. Нет-нет, да и скрипнут половицы, словно изредка переговариваются друг с другом.

— Бабушка-а, а когда люди умирают, они на небо улетают?

— На небо.

— И ты туда полетишь?

— Полечу. Сяду на облако и на тебя смотреть буду.

— Ты только сегодня не улетай, и завтра. И еще долго не улетай, хорошо? А то мне без тебя скучно будет.

— Ну, это уж как Бог положит.

Я чувствую, что она улыбается. Значит, не улетит пока. А сама представляю, как Бог каждому человеку кладет в тарелку кашу. Кому-то ложку, кому-то две, а кому-то и до краев. Если ты хороший и добрый человек, тебе Бог много-много вкусной каши положит. И мне кажется, что ее нужно есть не спеша, маленькими ложечками.

— А Расскажи, как ты маму нянчила?

— Ой, зыбну люльку об пол и побегу корову доить. Вот и все, — усмехается бабушка. — Люлька потом долго-онько на пружине качается.

— А тебе не жалко маму было?

— Тогда не жалели. Время другое.

— Какое?

— Трудное.

— А меня тебе жалко?

— Жалко. Вот твой дедушка меня всегда крепко жалел.

— За что?

— А ни за что, любил очень, вот и жалел.

Жалеть, значит любить, думаю. И мне становится всех-всех жалко. И даже соседа Ваську, который в меня из самодельной трубки черемуховыми косточками стреляет.

А рано утром я с бабушкой в лес пойду. Она возьмет огромную плетеную корзину. А я буду срывать маленькие желтые пуговицы цветов пижмы. Кажется, их можно пришить к платью и пахнуть летом. И чем крепче их пришьешь, тем дольше оно будет.

Но лето всегда заканчивается. А потом еще одно, и еще.

\* \* \*

— Ма-ам, почитай сказку, — просит меня сын.

Мы лежим с ним в той самой комнате. Правда, не осталось дивана, свидетеля наших с бабушкой ночных разговоров. Но на чердаке я нашла ту самую потрепанную книжку с цветными картинками.

— «Огурцы», — читаю я название.

— Не-е, про огурцы скучно, давай про машины или про роботов.

— А ты слушай. Слушай и запоминай. Этот рассказ еще бабушка мне читала.

— Расскажи, какая она была.

— Бабушка? — я задумываюсь. Трудно подобрать слова, простые и правильные. Наконец нахожу нужное.

— Честная. Бог ей много положил.

— Чего положил? Каши?

Сын смеется детским залившимся смехом, в котором еще нет страха и боли утраты. А я закрываю глаза и чувствую, что бабушка, как и обещала, сидит на облаке, смотрит на нас и улыбается.

## Театр на коленке

Ася повесила ключ мне на шею, как золотую медаль.

— Не звони больше, Юлька просыпается.

Придется привыкать к новой ноше. Противно, конечно. Вдруг кто в школе увидит.

— У каждого ребенка есть ключик, вот только как его использовать, не всем ведомо. Один ребенок запирается от взрослых, другой открывает свои горизонты. Есть дети, которые просто теряют свой ключ, а потом маются в его поисках... — стала философствовать Ася.

Началось! Вот не люблю ее в этот момент. Начиталась книг, теперь использует где надо и не надо свои знания.

— Я своим ключом открою «Театр на коленке», — буркнула я и заправила ключ под ворот футболки.

Похоже, Ася меня не расслышала, переспросила.

— Театр на коленях?

— Театр на коленке, — уточнила я. — Маленький провинциальный театр, настолько малюсенький, что может уместиться на коленке.

— Ничего себе! — Ася очень внимательно посмотрела на меня, словно впервые увидела.

Только не смейтесь, но я очень люблю театр. Бархатные кулисы, красные кресла, сцена со скрипом. Сцена должна быть обязательно со скрипом. Я так хочу. Я хожу по сцене, а доски скрип... скрип...

«Кто там? — оборачивается героиня и, увидев «его», роняет белый платочек. — Ах!»

Кого «его»? — это не важно. Пусть это будет принц, летчик, вертолетчик...

«Он идет. Доски скрип-скрип-скрип... Сердце: Тук-тук-тук...»

Смешно, правда?

Я ни разу не была в театре, но мне кажется, что все должно быть именно так.

Марьям Федоровна, учительница литературы, прославляла древние и современные театры. В принципе, в инете куча информации, миллион спектаклей, так что можно смотреть годами. И все равно это не то, словно понарошку.

На экране монитора спектакли будто бы ненастоящие, как китайские соевые конфетки с перцем.

Ася, жена моего брата, обещала сводить меня в театр. «Но когда это будет? Не доживу, наверное», — грустно выдала я, а Ася хохотала. Я так и не поняла, что смешного я сказала. Наша соседка баба Нюра все время так говорит, и никто не смеется, все начинают охать, ахать, успокаивать.

Нет, ну, на самом деле, где театр, а где мы?

Все театры в Москве, а мы живем за Уралом, у «черта на куличках».

Это очень далеко.

Я на днях придумала игру, называется: «Смотреть спектакль».

Я выхожу на площадку подъезда, — живем мы на третьем этаже пятиэтажки. На площадке четыре квартиры: девятая (двухкомнатная), десятая (трехкомнатная), одиннадцатая (однокомнатная), двенадцатая (трехкомнатная).

Наша десятая.

Я сажусь на подъездную ступеньку, которая спускается с четвертого этажа на площадку третьего, упираюсь локтями в колени, подбородок кладу на ладони и смотрю спектакль, который будто бы идет на площадке третьего этажа. Сижу часами: «музыка играет, пол скрипит, актриса роняет белые платочки, актер поднимает. Кутерьма, карусель... Вон та, молоденькая, фальшивит, а вот та рано вступила... Не отрепетировали. Вот куда ты торопишься? А где слуга? Нет, ну сегодня совсем зоопарк...»

Круто, правда? Иногда я не выдерживаю и выскакиваю на площадку сама. Я ведь точно знаю, как играть.

Мама ругается, Ася смеется, соседи шушукуются и пальцем у виска крутят.

А я продолжаю сидеть и смотреть, и ничего не могу с собой поделать. Обожаю театр. Обожаю этого древнего дино-

завра. Про древнего динозавра слышала по радио.

Вчера по радио слушала актера, который читал Онегина. Даже и не знала, что у Пушкина есть Онегин. Честно говоря, не особо поняла, про что там, но когда стали говорить про бал, то в ушах зазвучала музыка и зашуршали платья...

— Светлакова?

«...платье на мне должно быть розового цвета...»

— Светлакова!

Я подскочила.

— К доске!

«...как же я в таком платье протиснусь между партами?»

— Светлакова, я жду!

— А почему я?

Марья Семеновна смотрит поверх очков. Вот зачем она так делает? Для солидности. Ее, вроде, и так все уважают. В нашей школе не хватает учителей и поэтому Марья Семеновна преподает сразу три предмета: математику, физику, географию. Иногда замещает физрука. Порой, когда видишь Марью Семеновну, не сразу понимаешь, какой доставать учебник.

Медленно бреду по проходу в надежде узнать, о чем говорить.

— Что сейчас? — цежу сквозь зубы.

— Физика, — тихо подсказывает Марушкин.

— Математика, — Сюзанна Пантелеймонова.

— География, — Супонин.

Ну, Супонину вообще нельзя верить.

Стою у доски, мнусь:

— Марь Семен-на, а какой урок-то?

— Третий, — шутит она.

— Ну? Э-э-э...

— На выбор, — позволяет Марья Семеновна. — Что учила?

Все-таки клевая она училка. Выбираю географию.

— Земля, как и другие планеты, имеет форму шара, чуть-чуть приплюснутого с полюсов.

Супонин хихикает:

— Как оладушек?

Главное, не обращать внимания на этого лохматого Супонина — у него все сводится к еде. Глобус — яблоко, земля —

оладушек, в спиртовке — спирт. Однажды на химии не удержался и хлебнул, глаза вылупил, язык вывалил. И хрипит. Откуда-то из груди стали пузыриться слюни. Мы жутко испугались — думали помрет. Так он выжил, потом сорвал два урока — ходил на руках, прыгал с парты на парту. Вызвали мать к директору, но пришел отец, удивился сообразительной лихости сына, посмеялся.

Спиртовки тогда поменяли на безопасные. Но для большего страха химичка лаком для ногтей нарисовала на каждой красный череп с костями крест-накрест. Директриса взвыла от ужаса, потребовала убрать. Химичка долго сопротивлялась, в итоге — стерли кости, оставили череп.

— Светлакова...

— Человек, находясь на поверхности Земли, видит немного, всего несколько километров...

— Ну у тебя и зрение!

— Пантелеймонова... — Марья Семеновна торцом карандаша стучит по столу.

Как-то незаметно я начинаю не только рассказывать, но и показывать какая Земля круглая, горы высокие, а горизонты далекие.

Марья Семеновна ставит пятерку и в сотый раз советует записаться в театральный кружок.

— У нас нет театрального кружка, — в сотый раз говорю я и возвращаюсь на место в «бальном платье».

— Все в твоих руках.

Я сидела за партой, за которой сидела уже пятый год, и на меня смотрели Марья Семеновна, доска с разводами мела, портрет Пушкина, затылок Супонина, Марушкина, круглый светильник, трещина на потолке — и все то, что окружало меня каждый день.

«Они смотрели на меня, и все было в моих руках». Я, наверное, хотела этих слов. Напутствия, пожелания удачи, «пинка, в конце концов».

Марья Семеновна, перелистав страницы в журнале, остановилась на одной.

— Вот. Светлакова, у тебя по географии три пятерки, а по физике ни одной... оценки. Давай-ка к доске.

...эй, какой театр? У нас свой театр! Кругоооом! от туманной мысли.



«Бальное платье» превратилось в школьную форму. Я кисло вернулась. Почему-то я знала, что сейчас получу два или, если Марья Семеновна сжалится, то три.

## Любимый герой

Ровно три картинки я нарисовала для конкурса «Мой любимый герой», который придумала Марьям Федоровна, учительница литературы.

Я долго думала, кто мой любимый герой. Не придумала. Тогда я спросила Асю, кто мой любимый герой. Про «моих» она не знала, а про своего рассказала. Это был всадник из песни, название которой она не помнила.

— Голова обвязана, кровь на рукаве... — пропела она душевно.

А что, подумала я. Мне нравится. И я сразу представила зеленое поле, по нему скачет лошадь. В седле с трудом держится раненый. Вот-вот на землю упадет. Я нарисовала всадника с белой повязкой на голове. Лошадке я тоже нарисовала белую повязку — на голове и ноге.

Всадника рисовала с себя. Я встала перед зеркалом и два часа пыталась найти самую трагическую форму. Вот он склонился, сполз с лошади, упал. Я сползла с дивана. Лежала на ковре, подогнув ноги и корчась от боли.

— Что с тобой? — выглянула из комнаты Ася с годовалой Юлькой на руках.

— Я умираю, — простионала я и даже пару раз дернулась. Мне казалось, что именно так должен умереть всадник.

— Эй, эй, — Ася засуетилась, стала оглядываться.

Я приоткрыла глаза, громко застонала. Растерянность Аси меня порадовала. Значит, я хорошая актриса?

Ася упала передо мной на колени, посадила Юльку на пол, схватила меня за плечи.

— Светка!

Я со стоном открыла глаза:

— Я...

— Светка! Боже! Светка! Что с тобой?

От ее крика заплакала Юлька.

— Щас, щас, — стала набирать Ася номер Бориса.

А вот Борису звонить не надо. Он мой старший брат. От него влетит по-братски, без стеснений.

Я мгновенно выздоровела:

— Так умирает всадник.

— Какой всадник? — у Аси никак не получалось набрать номер. Руки тряслись и вдобавок Юлька опрокинулась на спину — головой об ковер на полу.

— Твой любимый герой из песни, — торопливо сказала я, стараясь успеть выложить информацию до первого крика Юльки. Юлька пока молчала, словно соображала как заорать — громко или во все горло?

Есть, наверное, еще доля секунды, чтобы похвастаться Асе своим шедевром.

— Ужас какой! — вздрогнула Ася, увидев красную реку, которая начиналась от груди всадника и, витиевато изгибаясь и расширяясь, проливалась за край бумаги.

Видимо, Юлька решила заорать во все горло, для этого она вдохнула полной грудью и широко раскрыла рот.

— Ты моя киса, — трясла Ася Юльку. От этого рев Юльки получался каким-то булькающим и прерывистым.

Я дождалась, пока Ася успокоит Юлькин рев до монотонного хныканья, и спросила.

— Похоже?

— Ты уверена, что именно так надо? — Ася прижала Юльку к груди, словно пытаясь оградить от рисунка.

Мне понравилась ее реакция.

Значит, у меня получилось правдоподобно!

— Так жалостливее.

— Ты... это... выбери своего героя, — пробормотала Ася. — Ну, там, кого-нибудь из сказки. Помнишь, ты говорила, что тебе нравится Копатыч. Замуж за него хотела.

— Я — замуж за Копатыча? Бред какой-то, — возмущалась я и смотрела, как Юлька тянется к хрустальным подвескам торшера. Я видела, но не думала, что так будет.

Юлька потянула, и торшер грохнулся. Хрустальные подвески брызнули по комнате, на диван, кресло. Юлька сидела на руках Аси и, вылупив глаза, держала подвеску. Через секунду она засмеялась. Громко!

Все-таки у Юльки какая-то заторможенная реакция.

Ася собирала стекло, подметала пол, а я думала над своим героем. Полистала книги, позвонила маме, Верке Сквородкиной. Маминого Тимура я уже рисовала, а Верка своего героя не выдала и вообще сказала, что такое задание для малышей она не собирается выполнять. Вот Верка всегда так, хочет — рисует, не хочет — не рисует. Я так не могу, я не такая смелая.

Тогда я решила просто: вот открою интернет — и первое, что прочитаю, то и нарисую. Первыми попались новости: обрушилась крыша хлебозавода, прошел суд над Разгребовым.

— Ася, кто такой Разгребов?

Ася Разгребова знала и посоветовала мне поискать новости культуры.

В новостях культуры говорили о юбилее знаменитой балерины, показали сцену из спектакля «Лебединое озеро». Лебедь махала крыльями и умирала.

И я нарисовала большую сцену Большого театра. По краям ниспадающие бархатные кулисы, а в центре — умирающую лебедь.

Чтобы было жалостливо, чуть-чуть добавила густых красок.

И вновь Ася опупела от красной дорожки, которая началась от груди лебедя и протекала за край сцены.

— Светка, не тупи... — Ася сжала кулаки. — Нарисуй Машу.

Теперь я задумалась. Маша из мультсериала мне очень нравилась.

— А в какой серии она была раненая?

— Нарисуй про Золушку, — сквозь зубы посоветовала Ася

Я нарисовала Золушку со стрелой Амура в сердце. Теперь Ася смеялась.

Может, спросить у отца? «Времена меняются», — скорее всего, ответит он и уйдет в свою комнату, а я останусь в своем проходном зале.

В принципе, такое скупое внимание родителей, меня вполне устраивало, потому что у меня была Ася.

На конкурсе «Мой герой» было четыре Золушки, семь принцесс из диснеевского мультфильма «Холодное сердце». Была еще пара картинок, но этих героев я не знала.

## Чаплин

Химичка заболела. И к нам в класс зашел Петр Семенович Чаплин и спокойно нам сообщил, что химию проведет он.

— Не, я так не договаривался, — сразу стал кривляться Супонин.

Петр Семенович Чаплин одернул свою спортивную куртку «Пормезон» и медленно произнес.

— Я Петр Семенович Чаплин, ученик десятого «А», проведу у вас химию. И если кто-то, — тут Петр медленно подошел к Супонину, нажал пальцем на затылок и стал давить, словно пытался проткнуть его пустую голову насквозь, — будет срывать мне урок, то останется после. А если будете сидеть тихо, то я не буду его грузить.

После этого Петр Семенович Чаплин сел за учительский стол, достал телефон и стал играть в танчики.

У Петра Семеновича Чаплина тут же появилась куча последователей. Супонин был первым.

Ожидаемо я оказалась в компании одноклассников — играющих. И всем нам было как-то хорошо.

И Супонину хорошо, и Чаплину хорошо. И мне классно. Но не долго. Потому что на моем телефоне через весь экран жила кривая трещина. Звонить не мешала, но при игре картинку искажала. Брат обещал подарить новый телефон. Но когда, не уточнил.

Я достала карандаши.

Даже сама не поняла, почему я его нарисовала. Круглая шляпа, широкие штаны, усики, тросточка. Это был Чаплин. Маленький, худенький, похожий. Вроде никогда не хотела его рисовать. Хотела стереть, но рисунок увидела Верка Сквородкина.

— Что это? — ткнула телефоном в Чаплина.

— Чаплин.

Сквородкина взглянула на учительский стол, сравнила с рисунком.

— Ага, щас. Не похож.

— Это другой, — я хотела стереть, но уронила резинку.

— Чего там? — поднял голову Петр Семенович Чаплин.

— Светлакова резинку уронила, — сдала меня Верка.

— Корова! — буркнул Петр Семенович Чаплин и вновь погрузился в телефон.

Я полезла под парту. Нигде не видать. Ах, вот она! Дотянуться самой не получалось. Помог карандаш. Я воткнула его в резинку... и смешно так получилось. Будто туфелька на ножке.

У Чаплина есть такие кадры в немом кино.

И я стала играть в свой театр на коленке.

На моей коленке танцевали балет два цветных карандаша, циркуль с подогнутой ножкой, розовый треугольник. Так хорошо и долго танцевали, что на моих колготках появилась дыра.

— Упала что ли? — разглядывая дырку на колене, бурчала Ася.

— Ну... — тянула я.

— Чего ну? Бери иголку, учишь зашивать.

И я стала учиться. Сначала я обиделась на Асю, потом возмутилась, а потом стала учиться. Ася умеет привести доводы. Она рассказала, что еще в пять лет сшила кукле платье. Надо при случае попробовать. Может, и у меня получится, думала я, и уколола палец. Больно! Как больно! Из ранки выступила кровь. И я жутко испугалась, что сейчас умру.

— Это все из-за тебя, — кричала я Асе, — ты хочешь моей смерти.

Ася растерялась, стала меня успокаивать, но тут проснулась Юлька — и Ася обо мне забыла. Все-таки плохо, когда в доме есть годовалый малыш. Вот почему все вскакивают среди ночи, когда чуть пискнет Юлька? Бегают, носятся вокруг нее? А почему, когда я бухаюсь об ванночку, которая неожиданно появляется у нас на стене — всем плевать? От упавшей ванны грохот на весь дом. Мне влетает по полной. Где справедливость? Сначала вешают, куда ни попадя, а вернее туда, где раньше была пустая стена, а потом орут, что я террористка.

Верка Сквородкина — моя одноклассница и до первого класса подруга. Я не помню, что мы с ней не поделили, но в садике мы с ней жутко-страшно дружили, а в первом классе жутко-страшно рассорились и больше не помирились. В ито-

ге Верка в школе подружилась с Босоноговой, а меня забросила. Потом мы снова подружились. И такая карусель у нас была постоянно: днем дружили, вечером ссорились. С Веркой дружить без ссор не получалось. У меня было ощущение, что она старше меня лет на пять. Это, наверное, из-за мамы.

Когда-то в молодости Веркина мама выиграла конкурс красоты нашего поселка и вышла замуж за спонсора конкурса. Муж боготворил двух своих девочек, жену и дочь, баловал и позволял всякие шалости.

Моя мама была другой. Ее главная задача была меня накормить, одеть и иногда спросить, сделала ли я уроки. Отец интересовался мною еще меньше. Это наверно из-за возраста, думала я. Веркина мама молодая, а мои родители старики, мама уже на пенсии, а отец вот-вот должен выйти. Его интересовала только пенсия.

Веркина мама каждый год выпускала тематический календарь. Темы были разные: тату, звезды, цветы, но в этом году Веркина мама выбрала скандальную тему «ню». Вообще непонятно, на что рассчитывала. Скандал был грандиозным. Администрация поселка потребовала весь тираж изъять, но было поздно. Календарь ушел в народ. В интернете получил более полутора миллионов лайков и останавливаться на этой цифре не собирался.

Я бы ничего этого не знала, если бы Ася не засветилась в этой истории. В прошлом году она пошла в школу на собрание и подружилась с Галиной — Веркиной мамой. Непонятно, какие Галина нашла слова, но Ася откликнулась на эту авантюру. Вскоре календарь вышел с полуобнаженными натурами работниц соляной шахты, столовой, поликлиники. Асино фото пришлось на октябрь. Все прилично, Ася сидит полубоком в полумраке тумана, полностью под водопадом волос. Угадываются только силуэт, изгиб спины. Вроде и непохожа совсем.

Борис Асю вычислил сразу.

— Ну? — календарь в руках Бориса дрожал. — Скажи, что это не ты!

Ася улыбнулась.

— Круто же!

— Нью-у, уж нет, — замешкался Борис. — Родители увидят, убьют.

— А ты им не говори, — Ася развернула страницу. — Я здесь совсем не похожа.

— Теперь все узнают, какая ты... — Борис запнулся.

— ... красивая? — мурлыкнула Ася.

— По волосам узнают. Такие только у тебя. — Борис свернул календарь в трубочку и ушел на работу.

Я все-таки не поняла: все что произошло — это хорошо или плохо.

Похоже, и Ася терялась в догадках, как понимать последствия своего поступка.

— Что теперь делать? — наверное Ася ждала от меня совета.

Хорошенькое дело. Откуда я знаю, что делать. Я бы ни в жизнь такое не сотворила. А еще говорят, что взрослые разумные. Вообще Ася, конечно, выдала.

— Давай напишем в интернете, что это не ты, — сообразила я.

— А коса? Борис прав. Она одна такая в поселке.

— Раритет, — вспомнила я сложное слово.

— Я придумала! — видимо, в Асиной голове нашлось сложное решение. — Пошли.

— Куда?

— В парикмахерскую.

— Ты сейчас о том, о чем я думаю? — смутно стала я догадываться. И мне моя догадка сразу же не понравилась. — Я никуда не пойду.

— Тогда посиди с Юлькой.

— Ага, щас! Еще хуже!

И мы втроем поплелись в парикмахерскую. Я надеялась, что Ася передумает. Но Юлька сидела у нее на руках и постоянно тянула Асю за волосы, хныкала, барахталась. Я толкала пустую коляску следом и мечтала, чтобы в парикмахерской была куча народу и мы ушли.

Парикмахерша Наташа бойко отреагировала на просьбу Аси.

— Волосы сдашь или с собой заберешь?

— Заберу, — кивнула Ася.

— Дорогая вещица, — проверяя волосы на вес, вздохнула Наташа, — видела тебя на днях, — Наташа сняла со шкафа ка-

лендарь, перелистала, остановилась на октябре.

— Оставил директор типографии. Так я его на видное место повесила. Без задней мысли. На днях пацана привели стричься, так он от календаря башку не отводит. Я башку к зеркалу поворачиваю, а он ее обратно — к календарю. Я потом стикерами все практически заклеила. Так все равно одна клиентка потребовала снять: наорала, что я развращаю молодежь. Да, хорошая коса. Жаль отрезать. Кто ж Снегуркой теперь будет? — И тут Наташа стала уговаривать Асю не отрезать косу. Уговорила.

## Уходят и не возвращаются

Я пришла из магазина. Ася сидела за столом вся зареванная. Я ее никогда такой не видела. Борис отмахнулся и не разрешил задавать ей вопросы.

Я побродила по квартире, рассеяно заглянула в холодильник. Почти пусто, какие-то вареные овощи, детские смеси. Пожевала морковку. Мне больше нравилось, когда Ася с Юлькой меня встречают картошкой, супом, а не слезами. Я заглянула в комнату брата. Ася держала Юльку на коленях, Борис обнимал ее за плечи и они о чем-то тихо переговаривались. Я услышала только: «А с Юлькой кого оставим?». Станный вопрос. Обычно с ней оставались мои родители: мама, редко отец и еще реже Борис.

— И-а-у! — Юлька сползла с коленей Аси и заторопилась ко мне.

— Светка? — обернулся Борис и задумался. — Свет, будь другом, посиди с Юлькой.

Остаться с Юлькой для меня не было никакой радости. Поиграть, потискать — это пожалуйста. Но сидеть — ни за что. Однажды я согласилась. Так эта Юлька после ухода родителей мгновенно превратилась в демона. Ни есть, ни пить не желала, орала на весь дом. Два часа отсутствия Аси мне показались вечностью.

— Свет, — обернулась Ася. Лицо опухшее, глаза красные.

— А мама чего?

— Свет, нам всем надо съездить к моим родителям, у меня мама заболела.



— Я с вами! — обрадовалась я. Я очень любила тетю Машу.

Ася с Борисом переглянулись.

— Лучше не надо, — медленно сказала Ася. — Лучше посиди с Юлькой. Я тебе смеси приготовлю. На два дня.

— Два дня? — заорала я.

— Одну ночь, — затараторил Борис, и выставил указательный палец, чтобы я не только услышала, но и увидела, — Одну ночь, всего одну ночь.

— Может, бабу Веру попросим. — Ася подняла Юльку на руки, поцеловала. — Заодно и за Светкой присмотрит.

— Я чо, маленькая? — возмутилась я, и стала торговаться с Асей. — С тебя вареники с творогом и вишней. И лучше на неделю...

Ася моментально согласилась. И я поняла, что продешевила. Надо было просить вареники на две недели.

— Вот трусы, носки. Ползунки в шкафу, кофточки меняй, — по третьему кругу проводила инструктаж Ася. Вместе с горой тряпок росло мое недоверие.

— А вы точно на одну ночь?

Верка позвонила именно в ту секунду, когда за родными захлопнулась дверь, и мы с Юлькой остались вдвоем.

— Светка, ты умеешь хранить тайны? — сразу спросила меня Верка.

Началось! Опять что-то придумала.

— Не умею, — я надеялась, что Верка сразу обидится и бросит трубку.

— Что-то случилось? — отреагировала Верка.

— Да! Я нянчусь с Юлькой.

— Тебе хорошо, — и я услышала столько печали в ее голосе, что задумалась, может, мне действительно хорошо, что я нянчусь с Юлькой, которая в данную минуту усердно скидывала с обувной полки всю обувь. Одной рукой я держала телефон, а второй возвращала кроссовки, ботинки на место. Юлька бубнила, пищала, швыряла обратно на пол. Прошло полчаса, я ползала по полу, одновременно болтала с Веркой по телефону и собирала тапочки на место, ставила на место.

Я уже знала, что Верка купила в зоомагазине мышь и теперь уговаривала меня забрать ее к себе. От мыши я отказывалась, а Верка находила все новые слова для уговора.

— Всего одну ночь, — вещала Верка. — Завтра отец уедет в командировку, я выпущу мышку, мама испугается и купит мне лису.

— Почему лису? — не понимала я. — А вдруг она купит кошку, они тоже умеют охотиться за мышами.

— У нас есть Барсик, он не охотится, я проверяла. А лиса будет охотиться.

— Ну не знаю, — задумалась я. С одной стороны, ничего страшного не будет, если Веркина мышь переночует у нас, а с другой стороны... И тут я увидела Юльку. Она сидела на полу и усердно растирала по линолеуму черную ваксу из круглой баночки. Щеки, лоб, язык, ползунки были черными. Черными были мои джинсы и руки.

— Ё-мое, когда успела? — заорала я и кинулась с Юлькой в ванную. Потом я долго мыла, переодевала Юльку, стирала ваксу с линолеума. На нем все равно осталось желтое пятно химического ожога. Ползунки и кофту пришлось выкинуть.

Когда Юлька сидела на горшке и пила из бутылки молочную смесь, снова позвонила Верка.

— Чего у тебя там?

— Стихийное бедствие, — устало пожаловалась я и пошла в туалет опростать горшок. Юлька пришагала следом. Она сразу ухватилась за туалетную бумагу. Рулончик скакал на валике и постепенно превращался в рваную бумажную кучу. Потом Юлька переключилась на сливной бачок унитаза. За шарик поднимала клапан, вода с шумом уходила вниз, потом с неторопливым журчанием вновь наполняла бачок.

Я сидела на ящике с картошкой и, не отрываясь от разговора с Веркой, следила за Юлькой. Юлька изучала поведение воды и меня это успокаивало.

— Открывай дверь! — вдруг сказала Верка по телефону.

— Зачем?

— Я пришла!

И тут же зазвонил звонок.

Я открыла.

— Смотри, какой лапуля. — И Верка показала клетку с рыжей крысой.

— Ты сказала, что купила мышь.

— Ну. А это кто?

— А это крыса.

— Ай, ладно. Ты крысу спрячь, а я в тубзик, — затопталась на месте Верка.

Я стояла с клеткой посреди комнаты и придумывала, куда ее спрятать. Главное, подальше от Юльки. И тут Верка громко меня позвала.

— Иди сюда. Тут это... — Верка не знала, что сказать.

Грязная Юлька стояла около унитаза, переполненного картошкой. Картошка валялась везде, а ящик был практически пуст.

— Ты что творишь?! — взвыла я.

— Ты что орешь, — вздрогнула Верка и крепко сжала ноги. — Я чуть не обоссалась. Я домой погнала. Может, успею.

Юлька обернулась, улыбнулась, протянула мне картошку.

— Ня... — и обняла меня грязными руками.

Скоро позвонила Ася.

— Как там у вас?

— Нормально, — ответила я и закрыла воду.

Юлька стояла в ванной по колено в воде хлопала ладошками по своему мокрому животу.

— Что делаете? — осторожно спросила Ася.

— Моюсь.

— Вдвоем?

— Нет, моется Юлька, а я ее мою.

— Смотри, чтобы не простудилась.

И тут Юлька совком зачерпнула воды и метнула в меня.

— Ня!

— А-а-а, — взвыла я, стараясь, чтобы вода, которая потекла с моей головы на лицо и грудь, не попала на телефон. — Ась, давай я тебе перезвоню.

Ася перезвонила через пять минут.

— Что делаете?

— Едим. Юлька смесь, я суп.

— Смотри, чтобы Юлька не подавилась. Ты смесь подогрела?

— Да, — я поперхнулась, закашлялась. — Ась, давай, я тебе перезвоню.

Ася перезвонила минут через десять.

— Ты обещала позвонить, — сразу упрекнула она меня. — Что делаете?

— Я лежу, а Юлька катает по мне машинку.

— Хорошо, ложитесь спать. Если будет прохладно, в шкафу есть одеяло в синюю клетку. Ты молодец... совсем взрослой девочкой стала.

Я по голосу поняла, что Ася плачет.

— Ты чего? — оторопела я.

— Мама ушла, — тихо сказала Ася и отключилась.

— Куда ушла? — стала кричать я в пустой мобильник. — Куда?

И тут Юлька колесом машинки заехала мне в глаз.

— Больно же! — заорала я и сбросила машинку на пол.

Юлька заплакала. Я бы на нее так и злилась, если бы не последние слова Аси. Что-то жутко тяжелое было в этой короткой фразе. Мои губы предательски задрожали, я подняла машину, обняла Юльку.

— Не реви, — сказала я и забибикала пожарной машиной.

Юлька схватила машину и кинула в меня.

— Больно же! — замахнулась я на нее.

Естественно, Юлька в слезы.

И я тут же расстроилась. Все-таки я злая какая-то по отношению к Юльке. Я поставила машину себе на колени и понесла ахиною:

— В некотором царстве, в некотором государстве машин, жила-была королева Пожарная машина...

Юльке, похоже, понравилось. Она устроилась на моей правой коленке, потому что на левой я катала пожарную машину.

— ... и была у Королевы-мамы дочь и звали ее Пожарная телега.

Я рассмеялась над собственной глупостью. Пожарная телега — это скорее бабушка, чем дочь. И снова вспомнила Асю, ее маму...

Юлька уже спала на полу, а я все рассказывала сказку: в ней были войны, страхи, предательства, но самое главное — никто ни уходил. Хотя я понимала, что так не бывает.

Мы, обнявшись, спали на полу, и нам без одеяла было уютно и тепло.

## Открытый космос

Бежишь и смотришь на свои коленки, на загорелые пальцы ног, торчащие на сантиметр из сандалий, на мелькание травы, камешков, на трещины в асфальте, срывающиеся с одуванчиков парашютики, летящие вверх.

— Настена, Настя!

Настя любила бегать. Это весело, когда все летит и упругий воздух податливо расступается навстречу. Желтое пятно от сломанной песочницы, вывернутые качели, ржавая, изогнувшаяся кобылицей горка.

— Настена! Настя!

На полинявшей пятиэтажке их балкон был единственный незастекленный — просто покрашенный в синий цвет, с провисшими веревками для белья. Мать стояла и махала ладошкой.

— Ма, ты откуда? — крикнула Настена, задрав голову.

— Зайди домой!

— Иду!

Привычные надписи на стенах, кошачий запах и пыльный подъездный холодок. Она взбежала на третий этаж и толкнула дверь.

— Мам, а ты чего так рано?

— Билет поменяла и приехала. Не рада?

— Рада, почему? Боюсь только, ты меня сейчас припащешь.

— Настя, что за выражения? «Припащешь». Это Танька твоя может так говорить, а ты из интеллигентной семьи. Обедать будешь?

— Смотря что.

— Макароны по-флотски. Сварганила на скорую руку.

— «Сварганила»! Мама, что за выражения?

— Стараюсь быть на одной волне. Пошли. Я икру привезла.

- Баклажанную?
- Красную, как ты любишь.

Настена села за стол и осмотрелась. Раковина, где почти неделю лежала грязная посуда, была пустая и чистая. Вернулась мама — и на кухне опять стало уютно.

- Как вы тут без меня, не скучали?
- Некогда было. Отец с утра на дом уходил. Или там ночевал. Я с Танькой на карьере каждый день купаюсь.
- Ясно. Морковку не прополола?
- Прополола, почему? Я ж люблю полоть.
- Знаю, — мама погладила ее по голове. — Что на лето задали, читаешь?
- Блин, мам, я еще в прошлом году прочла.
- Ты моя умница! Горжусь тобой.
- Издеваешься?
- Восхищаюсь.
- Ну ладно, говори, что надо.
- Отцу поесть отнесешь? Голодный, наверное, сидит. Заодно скажи, что я приехала.
- А что мне за это будет?
- Давай уже, иди. Испеку что-нибудь к вашему возвращению. Чего бы ты хотела?
- Торт-суфле и крем-брюле.
- Губа не треснет? «Зебру» испеку.

Настена тащила вниз по лестнице велосипед «Салют» с привязанным к багажнику лотком, в который мать положила макароны с мясом и кетчупом, соленый огурец и три куска хлеба, завернутые отдельно в пакет. Отец даже макароны ел с хлебом.

Выйдя из подъезда, Настена опять остро ощутила лето. Запрыгнула на велик и понеслась, чувствуя лицом ветер, вдыхая запах истомленных на солнце трав. Теплая, разогретая даль расступалась, разворачивалась полями, холмами, уходила в горизонт, в салатовую дымку, в высокий небесный свод. Вдали торчала полуразрушенная колокольня, нестерпимо поблескивали на солнце перламутровые купола. Кроны далеких деревьев были похожи на брокколи, которую мама выращивала на грядках, хотя ее никто не ел.

Через несколько минут красота перестала занимать Настену. Она задумалась о школе. Начало занятий было далеко,

однако мысли о них уже заставляли тосковать по лету. Оно же когда-нибудь кончится, и уедет новый сосед, который приехал сюда на каникулы. Димка. Такой классный! На гитаре умеет играть. Увлекается космонавтикой. Рассказывал во дворе, как самому сделать ракету: фюзеляж из бумаги, целлюлозная стружка и сердечник от лампочки. Танька ей вчера гадала на картах, выпало «будете целоваться, но он не любит тебя». У Настены даже слезы навернулись. Не любит. Но будете целоваться. Она еще не целовалась ни с кем. Вот бы поцеловаться с Димкой! От мыслей об этом приятно заныло в груди, словно там стоял радиопередатчик и рассылал в пространство волны любви.

Интересно, подумала Настена, действительно ли есть любовь? Или ее придумали как романтическое оправдание, чтобы без стыда думать про секс? Настена уже знала про секс. О нем все ее друзья говорили. Она иногда рассматривала себя голую в зеркале, представляя, как бы это происходило с ней. Тело казалось неказистым: сутулая спина, грудь торчит острыми холмиками, ноги в икрах не сходятся. Танька говорила, что в икрах обязательно соприкасаться должны, иначе кривые.

Наверное, нет никакой любви, думала Настена. Димку, например, она любит или это только воображение? Или мама. Всегда такая усталая. Или отец. Маму как будто совсем не любит, обнимает редко, не говорит нежных слов.

Ей опять захотелось заплакать. Она бы и расплакалась, если бы не увидела на тротуаре Таньку.

— Эй! Ты куда? — крикнула Настена.

— За хлебом. А ты?

— Папе обед везу. Поехали со мной? На обратном пути за хлебом заедем.

— Ладно.

— Садись на багажник.

— Увезешь?

— Ты, конечно, растолстела за лето.

— Дура! Это гормоны.

— Да шучу я, шучу.

Велосипед медленно набирал скорость. Везти Таньку оказалось сложно. «А как бы ты раненого друга на себе не-

сла?» — думала Настена и изо всех сил давила на педали. Два раза руль вильнул, девчонки завизжали, едва не врезались в камень, съехали на грунтовку и дальше с горки легко понеслись, шурша колесами о гравий. Ряд гаражей, болото с зеленой водой, утки, торчащая из ряски кабина трактора.

— Тэ-сорок, — показала на кабину Танька.

— Что?

— Я говорю, трактор Т-40. Отец работает на таком! — крикнула подруга.

— Понятно.

С разгона они добрались до середины крутого подъема, дальше стало медленно и тяжело.

— Слезай. Не увезу.

Пассажирка слезла, и они пошли рядом. Настена, запыхавшись, пару минут молчала. Танька тоже молчала и смотрела по сторонам.

— Как дела? — отдышавшись, спросила Настя.

— Нормально. Мать запила.

— Опять? Почему она пьет?

— Кто же ее знает? Хочется, вот и пьет. Ей на всех плевать.

— Блин, жаль тебя.

— Ой, да ладно. А то я сама не справлюсь? Выросла уже.

Танька, действительно, выросла. Грудь второго размера, лифчики настоящие. Это казалось Настене удивительным, и она слегка перед подружкой робела.

— Прочла «Айвенго»? — спросила.

— Это чо?

— На лето задали.

— Не-а.

— А Грина «Алые паруса»?

— Даже не бралась. О чем там хоть?

— Про Ассоль.

— Фасоль? Про Золушку, что ли?

— При чем тут Золушка?

— Ну помнишь, мачеха заставляла перебирать рис и фасоль. Или гречку. Не помню. Моя мать меня гречку заставляет перебирать.

— Нет, Ассоль — это про другое. Про девушку, которая принца ждала.

— Я и говорю, про Золушку.



— Да, похоже, но по-другому. Она была фантазерка. Горд ее не любил, потому что она странная, не такая, как все. И ее отец...

— Пил?

— Почему — пил?

— Не знаю, все отцы пьют.

— Мой не пьет. Иногда только выпивает.

— А мой не просыхает. Но самое страшное, когда мать бухать начинает. Я к бабке тогда ухожу в бараки. Ну ты знаешь.

Настене стало неприятно. Она ревновала Таньку к баракам. В районе, который называли «бараки», у Тани была другая жизнь, с блатными пацанами, с сигаретами и пивом, с поцелуями взасос под железнодорожным мостом. Подруга не брала Настену в ту жизнь. «Это не для тебя: ты из интеллигентных. Тебе не понравится», — посмеивалась она. Настена обижалась и решала больше с Танькой не дружить. Однако дружить было не с кем, и она мирилась.

Ей хотелось еще поговорить про Ассоль, про любовь, благородство, которое, если верить Грину, все же встречалось в людях. Но Танька бы ее не поняла. Настена молчала и думала, что она та самая Ассоль, которую сверстники считают дурочкой только из-за того, что она любит читать.

Когда шли по Загородной улице, залаяла из-под забора собака. Она высовывала острую морду, скалила розовую пасть и показывала мелкие острые зубы.

— Такая маленькая — и такая злая, — удивилась Настена.

— Фу! — крикнула Танька. — Тупая шавка.

Собака послушалась ее, спрятала морду.

Подошли к участку, обнесенному горбылем. Мама не любила высоких заборов и мечтала, чтобы их дом окружала живая изгородь из кустарника, который она подстригала бы в форме шаров и ромбов. Но с неогороженного участка воровали: кирпич, мешки с цементом, однажды пытались бетономешалку утащить, проволокли два метра и бросили — тяжелая оказалась. Другая беда — козы: они забредали и съедали с грядок петрушку, капусту и салат. Пришлось отцу сделать этот уродливый горбыльный забор.

Просунув руку между досок, Настена повернула щеколду.

— Может, я здесь подожду? — спросила Танька.

— Да ладно, пошли. Дом покажу. Потом клубнику поищем. Может, еще осталась.

Она вкатила велик, бросила его на траву и дернула входную дверь дома. Закрыто.

— Надо с другого входа. Здесь отец иногда закрывает, когда в подвале работает. Чтобы чужие не вошли.

Они обогнули дом, облицованный светлым кирпичом, с грязноватыми, но уже застекленными окнами по первому этажу. Настена не любила дом: родители тратили на строительство все деньги, а ей хотелось иметь модную юбку, лосины перламутровые и куртку джинсовую, как у всех.

А вот огород, густо заросший сорняком, притягивал ее. Тонкие молодые яблоньки, на которых висели мелкие еще залепушки; аккуратно увязанные кусты малины с созревающими ягодами; большая неопрятная грядка клубники, листья которой местами пожухли, но еще можно было что-то найти. Она любила поживиться прямо с грядок, чтобы хрустела на зубах земля, чтобы ягоды были в легкой пуховой дымке, как бывает, когда только сорвешь. «Потом, — стойко решила про себя Настя. — Сначала обед отцу».

Другая дверь тоже оказалась заперта. Настена дергала и стучала.

— Нет никого. Пойдем, — сказала Танька.

— Да куда он мог деться-то?

— Может, уснул?

— Надо в окно заглянуть.

Взявшись с разных концов, они подтащили к окну лавку, заляпанную застывшим цементом. Высоты не хватало.

— Давай кирпичи класть, — решила Настена.

— Ну ты придумала.

Они таскали кирпичи и складывали в два ряда.

— На хрен я с тобой пошла? — бубнила Танька. — Могла бы дома тяжести потаскать.

Настена ее не слушала. Увлеклась. Ей почему-то показалось, что они сооружают космический корабль, который выведет их на околоземную орбиту. Первая ступень — стартовая, вторая — разгонная, третья — маршевая. Она смотрела вчера передачу про космос. Вот сейчас они построят свою ракету, и она понесет их в неизведанное космическое про-

странство.

Она влезла, придерживаясь за стену и осторожно покачиваясь, будто и правда была в невесомости, ухватилась пальцами за жестяной подоконник, подтянулась к окну, почти цепляясь за отлив подбородком, — и из темноты космического пространства выплыли две большие белые планеты, испуганно качнулись и отпрыгнули, исчезая в сумраке. Перед тем как свалиться, она увидела над белыми шарами оторопелое женское лицо.

Кирпичи посыпались из-под ног, и Настена грохнулась, ударившись щиколоткой о лавку. Она отбила о землю себе весь бок, но боли не чувствовала, только задохнулась на пару секунд от какого-то понимания. Она лежала и не двигалась.

— Эй, ты чего там? Убилась, что ль?

Настя молчала. Гудение заполнило голову и давило в уши.

— Баба у твоего отца. Пошли отсюда. Не откроют нам.

Она лежала и вглядывалась в траву, по которой ползла божья коровка. Захотелось сжать ее пальцами, чтобы хрустнул панцирь. Встала и взяла в руку ближайший кирпич.

— Разобью на хрен, — пригрозила она глухим голосом и отошла на два шага, замахиваясь, чтобы кинуть в окно.

Выглянул отец. Настя замерла с поднятым кирпичом и не знала, что делать. Она смотрела на отца. Он был другой, не ее родной и близкий, а какой-то чужой мужик, некрасивый, с мятым испуганным лицом, с неприятными складками вокруг рта, растрепанными короткими волосами. Но главное — выражение. Он смотрел на нее, как на досадное насекомое, которое хочется раздавить. В его лице не было ни капли любви.

Мысль о том, что отец ее не любит, больно резанула Настю. Выступили слезы на глазах. Лицо отца исчезло из окна, и загремел отпираемый засов.

— Вы чего здесь? — спросил он, недовольно выглядывая из сумрака дома.

— Обед тебе привезли, — холодно сказала Настена. — Макароны по-флотски. С огурчиком. Держи!

Она кинула в него пластиковый лоток, но промахнулась. Лоток ударился о стену и открылся, макароны рассыпались по земле.

— Идите домой, — сказал отец.

— Мама приехала! — вся трясась, крикнула Настена. — Что ей сказать? Что не придешь? Что у тебя баба?

Отец растерялся. Лицо его расползлось, как бесформенная половая тряпка.

«И как его можно любить? — зло подумала Настена. — Он же урод!»

— Настыка, это не то. Ты не понимаешь. Ты еще маленькая.

В голосе его была мольба и какая-то безнадежная усталость.

— А ты объясни!

— Я люблю вас с мамой. А это — другое, — тихо сказал он, и лицо его снова приобрело родные черты.

Они смотрели друг на друга. Дочь испепеляла отца взглядом. Но он не чувствовал или давно был испепелен.

— Уходите, — устало попросил он и закрыл дверь.

Настена оглянулась на Таньку.

— Ты же никому не расскажешь? — спросила она.

Всю обратную дорогу она молчала. Танька, наоборот, болтала без умолку. Видимо, ей и самой было неловко оказаться свидетельницей.

— Ладно тебе, ну подумаешь, другая баба! Мой вон дубасит мать. Я раз прихожу, а у нее вместо лица сплошная гематома. Так он даже не вспомнил на следующий день. Бывает, он ее бьет, бывает — она. Однажды табурет о его голову разбила, череп чуть не проломила, дура бешеная, как с цепи сорвалась. Так и живем. А у тебя что? Горе? Да ну, брось, смешно даже. Подумаешь! Все они кобели. Не один твой.

Настене хотелось толкнуть Таньку.

— Помолчи! — сдавленно попросила она.

Та обиделась и бубнила что-то невнятное. А Настена не замечала: она была как в невесомости, в открытом холодном космосе, которым вдруг обернулся взрослый мир.

Два дня Настя носила в себе тайну. Она измучилась, не могла есть, и сны снились какие-то дурацкие — будто она лежит в темноте и нечем дышать. Задыхаясь, она силится проснуться, но не может. И становится очень страшно от пони-

мания, что она сейчас умрет. Иногда на нее налетала большая белая планета, и от столкновения Настена просыпалась. Бывало, во сне рядом с ней оказывался Димка, они летели в скафандрах, но воздух скоро кончался и опять наступало удушье. И непонятно, что было страшнее, самой умирать или знать, что вот сейчас умрет он.

Мама, видно, почувствовала, что с дочерью что-то не так. Во вторник вечером, придя с работы, она усадила Настену на диван, взяла за руки и спросила:

— Настена, доченька, что случилось? Расскажи. Я не буду тебя ругать.

Настена взглянула маме в лицо, расплакалась и все рассказала.

Мать с отцом долго спали в разных комнатах: она — в детской, он — в родительской спальне. Настену отец как бы не замечал и будто не чувствовал себя виноватым, даже, наоборот, винил в чем-то мать. Они часто ссорились на кухне, потом он уходил, хлопая дверью. Настена осторожно выбиралась из комнаты, садилась у маминых ног, обнимала ее колени и плакала вместе с ней, мысленно обещая себе, что никогда не позволит ни одному мужчине обращаться с ней так, как обращается с матерью отец. Настена злорадно представляла, как он летит в безвоздушном космосе, задыхаясь, и она может его спасти, нужно только протянуть руку. Но она отворачивается и думает: «Ты сам этого хотел».

Мысленная месть успокаивала Настену, а мама все плакала и плакала.

— Ну ты чего? Хватит уже реветь! — говорила Настена.

— А вдруг он не придет? — всхлипывая, отвечала мать.

Но отец всегда возвращался — как планета, летящая по орбите.

## Школа

У нас в деревне всегда была своя школа. Вокруг были высажены кусты, которые к 1-му сентября обязательно зацветали. Стояла она на большаке, в тени раскидистых сосен. Сам дом уже старенький был, когда я его первый раз увидела. Дом был длинный, одноэтажный, но вот что я хорошо запомнила — это огромные квадратные окна, их было очень много. И крашеный пол с тёплым, коричневым оттенком, словно его намазали глиной и растерли до блеска. Раньше в деревне крашеный пол был не в каждом доме. Означало это, что избыток в доме есть.

Вот поднимаюсь я по школьной лестнице в три ступеньки и открываю тяжелую дверь. Захожу в прихожую. Лавки внизу стоят деревянные, на стене гвоздики вбиты для одежды. И две двери в разные части дома ведут. Захожу налево, в первый класс. Класс — светлый, просторный. Синие, тяжелые парты прямо к стульям прикреплены. Шкаф около окна. Книг видимо-невидимо в нем, как в нашей Челновской библиотеке.

Мне тогда восемь лет было. А Люде, с которой я дружила, тринадцать. Рослая была девушка, с косой тяжелой, лицо всегда было светлое, не брал Люду загар почему-то. И у сестры ее помладше тоже коса была, и у меня. Вот мы все мерили, у кого длиннее коса и толще. Жили они на нашей улице рядом, где я жила. Часто залезали мы с сестрой и с другими нашими подружками к ним в сарай и играли в больницу. Люда была врачом, как ее мама, сидела важно в сарае на старой соломе, а мы к ней приходили за помощью. А потом мы собирались около нашего дома, ставили пеньки, садились на них, а для Люды ставили самый большой пенёк — это был стол учителя. Вот сядет она на него и учит нас. Лечила она нас понарошку, то листик привяжет, то соломинкой укол сде-

дает. А вот учила Люда нас по-настоящему. Много нам рассказывала о природе, о животных, читала нам, давала задачи решать, каждому свои, по возрасту, и диктовала сказки, а мы их записывали. Мама у них фельдшером в нашей Челновском медпункте работала. Бабушка на хозяйстве была: две коровы у них было. А Люда училась в школе. Всегда говорила: «Вот вырасту я, выучусь и буду в нашей школе учителем». Много она мне тогда об этой школе рассказывала, вот и отвела туда меня посмотреть.

Это было мое первое знакомство со школой. До сих пор помню тот запах: он есть везде, где книги лежат, сладковатый и немного терпкий. И помню, как Люда открыла заветную полку в шкафу и показала главную ценность школы — учебные, сложенные в коробку, минералы. Каждый камень лежал в отдельной ячейке и к нему бумажка была прикреплена, на ней название минерала написано.

Только спустя много лет, на кафедре геологии в Тимирязевской академии, где я училась, я увидела подобные минералы, было их там уже намного больше, и лежали они прямо в наших партах, в ящиках: выдвигаешь их на себя, а там крупные такие камни лежат, каждый в деревянной ячейке и каждый ящик подписан, какие породы осадочные, магматические или метаморфические.

В моей школе в Москве, где я училась, не было минералов, даже библиотека была рядом со столовой совсем небольшая и в основном там только учебники за разные года стояли. А тут и книги, и минералы.

«Голубой халцедон, снежный обсидиан, дымчатый кварц», — читала я названия и бережно брала в руки каждый камушек, поворачивала его и всматривалась пристально в его тонкий рисунок и насыщенный цвет. Я, конечно, не сводила с них глаз и все просила после Люду отвести меня в школу хоть разок, чтобы на минералы посмотреть.

Когда я приехала в деревню через год, на следующее лето, я подбежала к Люде и очень взволнованно заговорила: «Люда, пошли в школу, отведи меня туда минералы посмотреть!»

Вот мы и пошли. Приходим мы к школе и вижу я, окон уже нет, только огромные дыры в темном дереве на меня смотрят, забегаю я в класс — все перевернуто, книги валяют-

ся на полу уже пожелтевшие и страницы волнистые все от влаги. Часть порвана уже, часть растоптана огромными резиновыми сапогами. И парты остались — две-три — самые сломанные. Уже совсем не хотелось, как раньше, сесть на стул, сложить руки и, глядя на сосновые ветки, которые бились в окно, тянуть руку навстречу своему любимому учителю.

Пол начали разбирать местные жители. Но если не разобрать, испортится, зальёт дождем, думали они. И совсем никому не достанется. Распорядились закрыть нашу школу. Переехали все наши ученики в соседнее село учиться. Учителя уехали. А школа, полностью готовая принимать учеников, осталась. Вот и начали ее потихоньку местные жители разбирать. Кому что нужно было то, и брали. Отвинчивали, отколачивали, пилили...

— Люда, а где ты учишься теперь? — не удержалась я

— Мы в Соловьево теперь ездим! Обещают там новую школу на все деревни ближайшие построить, а вокруг везде закрывают школы.

— Как же ты без нашей школы? Ты же здесь хотела учителем быть?

— Уже не получится, — грустно сказала Люда. — Но я за год привыкла уже к новой школе. Вот только памятник жалко очень. Смотри, зарос совсем!

Мы вышли с Людой из школы и в густой траве я увидела памятник с красной звездой.

— Это же нашим солдатам памятник ставили, что здесь сражались с фашистами, — сказала Люда. — Как же мы всей школой за ним ухаживали! Красили. Цветы рядом с ним высаживали. А теперь вот так стоит он не нужный никому...

И Люда наклонилась и стала обрывать траву вокруг него. Я тоже помогать начала. Бурьян кругом и крапива. Руки гудели потом, но хоть немного мы памятник наш обпололи.

— Люда, а где же минералы? — не могла успокоиться я. — Забрали вы их в новую школу?

— Нет, здесь все так и осталось, ты же видела, что с книгами стало. И минералы, наверное, там же.

Я так быстро побежала обратно в школу, будто бы хотела спасти мои минералы от пожара. Открыла шкаф, искала вокруг. Нигде их не было.



— Смотри, вот же они, — сказала вошедшая за мной Люда и показала рукой на пол: там, под учебниками, горел золотом мой любимый минерал «золотой сланец». А вот и серебряный.

Я, один за другим, доставала заветные камушки и бережно клала обратно в коробочку.

— Люда, а можно, я их возьму с собой? Я их сберегу. А ты станешь учителем, я их тебе отдам. Будешь ученикам своим показывать.

— Конечно, бери. Здесь уже ничего оставлять нельзя. И книги возьми, и, хочешь, можешь парту взять.

Я очень тогда обрадовалась. Отнесла домой и минералы, и книги. С бабушкой мы и парту одну забрали. Долго мучились, по кочкам через лестную дорогу несли ее до дома. И много разных учебников взяли. Книги я всегда очень любила.

А главным нашим достоянием были, конечно, школьные минералы. Как же нам с сестрой нравилось их рассматривать, одни золотом горели, другие серебром отливали. Можно было часами сидеть, перебирать их в руках и любоваться.

Считала я тогда, что спасла и парту, и учебники, и минералы. Да не знаю теперь, где бы им сохраннее было бы. Но видно, судьба у них была такая, сгорел по весне наш дом, а в нем и учебники, и парта школьная сгорела, и мои минералы. Долго не могла я поверить, что все сгорело. Долго я их в земле искала на месте нашего сгоревшего дома.

А школу каменную все же построили в Соловьево. И Люда теперь там детей учит, а после идёт в храм, она в хоре церковном поёт. Только вот нет в ее школе коллекции минералов. На картинках теперь детям показывает их. А наша Челновская коллекция так и лежит у меня где-то, уже под новым домом, что на месте пожарища построили.

А памятник военный соседи, что рядом со школой жили, отгородили забором. Участок школьный себе присвоили, а заодно и наш памятник. Забор высокий, глухой... Так и не знаю, ухаживают они за ним или стоит он один в траве заброшенный, без чести и почета, вспоминая былую славу, советские времена.

## Дикари

Вы помните эту татарскую легенду о двух братьях? Они ослушались мать, и та прокляла их в гневе: пожелала, чтобы они стали птицами. Птицы эти больше не могли встретиться, не могли поговорить друг с другом. Услышит один брат, как второй кричит: «Сак!», и отвечает ему: «Сок-сок-сок!», летит навстречу. Но между ними вырастает гора. Так и летают братья по свету... Я вот думаю, может быть, именно из-за них выросли Уральские горы? Когда папа был жив, то часто рассказывал эту историю. И я всегда спрашивала у него: «Неужели братья так и не встретятся?». А папа отвечал, что Сак и Сок смогут встретиться, когда умрёт проклятье, а оно умрёт вместе со старой матерью.

### 1

— Эти дикари хотят хоронить по мусульманским обычаям, прости Господи!

Я сидела на подоконнике, рисовала в блокноте Хита Леджера таким, каким он снился мне сегодня. Мама, сбросив звонок, ругалась непонятно с кем.

— И они думают, что я приеду на эти похороны? Идиоты! — мама задумалась. — Хотя... она сказала, что мы есть в завещании... ты есть.

Мама посмотрела на меня, решаясь отправить меня прямиком к дикарям ради наследства.

— Да, Лёля, ты поедешь на похороны прабабки. Но будь осторожна, приготовься.

— К чему же это?

— Ха! Ты просто не представляешь, кто они такие. Когда мне было 13, как тебе сейчас, мы с родителями поехали в татарскую деревню к каким-то там друзьям. И вот, они все на сенокос поехали, а меня оставили с шестилетней дочкой сво-

их друзей. Сказали, свари куриный суп, и ушли.

Они ушли, а я пошла доставать мясо из морозильника, но как достанешь то, чего там нет. Мяса нигде не было. А девочка их и говорит, что мясо-то вон во дворе бегаёт, а сама топор мне подаёт... И что ты думаешь, было дальше?

— Ты зарубила ни в чём не повинную курицу, и с тех пор не ешь мяса совсем.

— А я разве уже рассказывала тебе?

— Да, мам, — эту историю мама любила вспоминать, когда речь заходила о папиных родственниках-мусульманах, которых я никогда не видела. — Ты дашь мне топор с собой?

Мама вздрогнула от слова «топор» и предложила сказать им, что я не умею варить суп. Суп я действительно варить не умела, ни куриный, ни какой-либо другой, так что мы решили отправить меня без топора.

## 2

Шла я по душной неподвижной жаре совсем одна, не считая Хита в блокноте. На улице не было ни собак, ни кошек, ни птиц, ни людей... Деревня будто вымерла. Шла и эти нелепые поговорки вспоминала, которые любила моя мама: незванный гость хуже татарина; злой как татарин; рыжего зырянина создал бог, рыжего татарина — чёрт. Интересно, кто такой зырянин?

Мои шаги казались мне чересчур громкими и лишними в этой тишине. По спине стекал пот, и если был бы хоть малюсенький ветерок, то было бы даже прохладно... но ветерка не было. Ветерок забыл дорогу в эту глушь. А я не могла ему подсказать, куда лететь, сама ведь только-только дорогу узнала.

Я с трудом открыла тяжёлую подъездную дверь, прошла внутрь и отпустила. Та с грохотом захлопнулась, так что дом содрогнулся. Я поднялась на второй этаж и крикнула:

— Здравсти!

Мне навстречу вышли бабушки и тётеньки. В белых платках и фартуках. Я смотрела на них и думала, кто же они все такие. Они молчали, и я снова сказала, на этот раз по-татарски, сама не знаю, откуда я это знаю:

— Салам!

Люди стали перешёптываться:

— Бу кем?

— А, шул кызмы?

— Кайда Мирас?

— Рахим итегез, — наконец сказал мне кто-то, и люди расступились, пропуская меня в спальню.

— Юлдан ял ит, — сказали мне, закрывая за мной дверь спальни.

— Чего? — я испугалась, всё-таки это дикий народ.

Они верят, что их религия самая правильная, потому что самая молодая, а между тем, хотят хоронить старую язычницу так, будто бы она была мусульманкой.

— А, так ты не понимаешь, значит, по-татарски? Отдохни с дороги, говорю. Переоденься. Если захочешь помочь, приходи на кухню. Я тётя Роза, найдешь меня, если что, — и уже уходя, она добавила: — Не забудь надеть платок.

Я не очень-то и устала, поэтому достала из сумки чёрный платок, подвязала его под подбородком, надела домашние велосипедки, майку. Платок съехал набекрень, мне бы следовало и догадаться, что сначала надо надевать майку, а потом платок, но платок я надевала не часто.

Я высунула голову в коридор. В квартире кипело и бурлило, с кухни шли аппетитные мясные запахи: «Ну, слава Богу, сами с супом справились», — подумала я и пошла на кухню.

На всех четырёх конфорках стояла огромная кастрюля и в ней кипятилось не меньше половины коровы, целая курица и целый гусь — варили бульон. Кто-то пирог в духовку отправлял, кто-то фрукты мыл, тётя Роза резала лапшу. Это завораживало: резко, чётко, быстро. Я подошла ближе, потрогала лапшу:

— Как из магазина! — вырвалось у меня.

Тётя Роза ухмыльнулась. А все остальные уставились на меня, потом переглянулись. Тётя Роза вытерла руки о фартук и повела меня обратно в спальню.

— Нужна юбка и белый платок. У тебя есть? — спросила она.

Я недовольно хмыкнула:

— А где покойница?

— Я понимаю, что ты не знаешь татарского, но чтоб не знать про ковид...

— Я знаю про ковид, — обиделась я.

— Апа умерла от ковида, в госпитале. Мама говорила тебе об этом? Привезут к часу, в закрытом гробу.

Тётя Роза достала из шкафа фланелевый халат и надела его поверх моих шорт и майки. Развязала мой чёрный платок и бросила его на пол.

— Это не христианские похороны. Надеюсь, ты не собираешься здесь зажигать свечи?

Она отыскала в шкафу белый платок с мелким ободком из синих цветочков и повязала мне на голову узлом на затылке.

— Ну вот, матуркай! Пойдём, айран сделаем, сейчас придут мужчины.

Слово «айран» мне показалось знакомым, кажется, это...

— Водка? — вскрикнула я.

— На мусульманских похоронах не пьют! Это грех, — отрезала тётя Роза.

Оказалось, айран это катык, разбавленный водой, с солью. Но не тот катык, что продают в магазине, а какой-то совершенно чудной. Я попробовала и катык, и айран. В жару, в халате из фланели, на кухне, где закончился воздух, а осталось только пар от супа и пирогов, мне вдруг стало даже свежо от стакана айрана.

— Привезли! — крикнул кто-то из подъезда.

— Что привезли? — спросила я.

— Тело.

— Пошли, — сказала тётя Роза мне, — сейчас мулла будет читать.

Все пошли вниз, и я пошла за всеми.

На табуретах у подъезда стоял гроб. У гроба столпились мужчины в тубетейках. Женщины, за которыми я шла, остановились на расстоянии. Я вышла последней, и снова не придерживала дверь — она хлопнула, дом вздрогнул. Я увидела у гроба муллу, в белой одежде, с длинной бородой. Он говорил то по-татарски, то по-русски, то по-арабски.

Мне очень хотелось посмотреть на прабабку — мы не успели познакомиться, пока она была жива. Я растолкала женщин, потом мужчин и встала около муллы. Несмотря на слова тёти Розы, гроб был открыт, просто покойница была завернута в черный полиэтилен. Я отвернула край пакета

и заглянула в лицо. Я-то ожидала увидеть очень старого человека, ведь прабабка была рекордной долгожительницей, никто точно не знал, сколько ей лет, мама даже путалась в том сколько раз надо говорить «-пра» перед «бабка». Но в гробу лежала симпатичная, красивая бабуля... Мулла замолчал, тишина насторожила меня, и я посмотрела на муллу, а тот уставился на меня. Мой вид просто лишил его дара речи. Я обернулась: все двадцать пар глаз тоже смотрели на меня в немом ужасе.

— А что такого-то? — стала я оправдываться перед всеми сразу.

Тётя Роза подошла ко мне и потащила обратно в подъезд. Мужчины расступились, пропуская нас. Но я не далась и осталась стоять позади толпы. Тишина давила на меня, и почему они все молчат? Ко мне подошел парень, тоже в тюбетейке. У гроба с трудом снова заговорил мулла. Парень протянул мне антисептик.

— Обработай руки.

Я сердито посмотрела на антисептик, но руки обработала.

— Значит, это ты — Лёля? — шепотом спросил он.

Я кивнула, он представился Мирасом. Мулла заговорил по-русски:

— Эта женщина была истинной мусульманкой и праведным человеком. Может ли кто-то из присутствующих это опровергнуть?

— Святой отец, она же не была мусульманкой, — вырвалось у меня.

Мирас закрыл мне рот ладонью.

— Да замолчи ты! Какой святой отец? — прошипел он сердито, утаскивая меня в подъезд. Дикарь!

— Что? — мулла стал растерянно искать говорившего.

Но теперь все молчали. А что там было дальше я не знаю, мы зашли в квартиру:

— Женщины у нас на похоронах чаще всего молчат, особенно такие глупые, как ты. Ложки вон лучше разложи на столе. И где твоя маска?

— Какие ложки? — он наконец, убрал руку от моего лица, и я стала плевать, доставая из кармана маску, больше похожую на тряпку.

Да, духота духотой, а маски становятся постепенно нормой жизни.

— Ковид на всех надел хиджабы. И на неправедных тоже, — сказал Мирас.

Он всучил мне ложки. Я взяла их и так и осталась стоять в прихожей, с ложками. Мирас спросил:

— Ты так и будешь стоять? Чучка...

Я пошла на кухню, сама не знаю, зачем. Мирас перегордил мне дорогу, забрал ложки, прошёл в зал и стал раскладывать их у тарелок. А сам поглядывал на меня и качал головой.

— Что такое чучка? — спросила я наконец.

— Поросёнок.

Я опешила от такой наглости, но тот стал объяснять, что не обзывал меня. Мирас рассказал, что однажды люди начали страшно грешить, не все, естественно. Неправедные люди, ага. И Аллах превратил всех неправедных в свиней. И именно поэтому мусульмане не едят свинину, потому что это бывшие люди.

— Значит, кого-то он превратил в поросят, а кого-то в крещёных татар?

— Татар? Какая же ты татарка, ты же даже татарского не знаешь!

— Фу, как же ты меня бесишь! — не выдержала я и пошла на балкон.

Инстаграм прислал мне новость:

«Посмотрите десять лучших фильмов с Хитом Леджером».

«Ах, ну какой же он красавчик мой Хит! И почему Господь забирает лучших?» — подумала я, покосившись в зал, где остался Мирас.

Похоронная процессия грузилась в чёрный автобус. Мужчины уехали на кладбище, а женщины пошли домой. Мне захотелось раствориться где-нибудь, казалось, что сейчас все будут мне говорить, что я не умею себя вести на похоронах. На ИХ похоронах!

Но мне никто ничего не сказал. Женщины накрывали на стол, суетились на кухне.

Белый платок на мне насквозь промок от пота, я стянула его с головы и высунулась в окно балкона. Хоть какой-то воздух...

## 3

— Всё, что мы делаем, мы должны делать с именем Аллаха, — говорил мулла, когда все вернулись с кладбища.

Мужчины расселись у стола. Женщины тоже, те, что уместились, остальные сели в прихожей на табуретах, тех самых, на которых недавно стоял гроб. Я тоже села на табуретке около тёти Розы.

— Моя бабка рассказывала мне, когда я был маленьким, — продолжал мулла. — Она осталась без мужа с четырьмя детьми и стала бабкой повитухой. До того хороша была повитуха, что однажды за ней пришли черти, забрали к себе и велели принять чертенка, и чтобы непременно был мальчишкой. А там родилась девочка. Вот бабка и состряпала ей из теста орган. Черти ничего не заметили — радуются пируют. Усадили бабку за стол, значит. А там и арбузы, и конина, и плов! Кушай не хочу. Стала бабка имя Аллаха произносить, молитву читать Бисмилла. Глядит, а на столе коровий помёт, камни, помои. Не притронулась она к еде чертовой, отпустили домой. Да через некоторое время поняли, что она их обманула и что у них не чертенок, а девочка. Пришли они к ней ночью, стали в окна стучаться. А она знай творит имя Аллаха, Бисмилла да Бисмилла. И черти оставили в покое. Вот на что способна сила молитвы и одно только имя Аллаха...

Дальше мулла перешел на татарский, и я перестала понимать. Мне почудилось, будто я гуляю по набережной с Хитом. Я говорю ему:

— Хит, а я ведь всегда знала, что ты не умер!

— Ну, конечно, я не умер, Лёля. Хочешь, мы будем с тобой дружить?

Это он меня спрашивает? Каждый раз одно и то же. Да! Да! Да! Я хочу с тобой дружить, Хит. Ты-то не станешь называть меня поросёнком.

Но вдруг вместо Хита передо мной оказался этот дикарь — Мирас. Тянет меня за руку, говорит:

— Просьшайся.

— Фу, бесишь, бесишь! — закричала я и проснулась.

Мирас стоял около меня на коленях, а все присутствующие снова на меня тарацились. Я спросила шепотом:

— Это я в самом деле кричала сейчас «бесишь, бесишь»?



Лицо у Мираса было жутко сердитое, он взял меня за руку и повёл на кухню.

Мулла уже устал сегодня ужасаться от моего поведения, он снова заговорил, когда мы ушли:

— Вот моя жена говорит мне иногда, что я так мало зарабатываю, что нам денег не хватает. А я и говорю ей: главное богатство — это здоровье и дети. Нам их Аллах шестерых послал! А деньги... Деньги будут! Добрые люди всегда дают сверх меры!

Тут зашла на кухню и тётя Роза, со вздохом сунула двухтысячную бумажку под коврик на морозилке, а оттуда достала пять тысяч, и вернулась в зал. Я молча стояла на кухне и мечтала, чтобы это наконец кончилось.

— Есть хочешь? — спросил Мирас. Он подвинул ко мне тарелку с супом.

На столе стояли эмалированные миски, в одной лежали на дне варёная картошка с капустой, а в другой разное мясо. Мирас подвинул ко мне обе миски:

— Ешь.

Хотелось мне гордо отказаться, но почему-то не смогла и начала кушать.

Мулла красиво запел молитвы в зале. Я покрылась мурашками от его голоса. Вот бы он пел и пел, и никогда не прекращал. Но он пел недолго.

На кухню заходили люди по очереди и совали мне в руки полотенца, заварку, монеты десятирублёвые.

— Что это происходит? — спросила я у Мираса.

— Садака раздают, — объяснил он.

В зале было тихо, и я выглянула из кухни, чтоб хоть одним глазом увидеть, что там делают. Мулле подали влажное полотенце, он вытер руки и протянул полотенце дальше. Все гости один за другим вытирали руки об это полотенце.

Мирас снова потянул меня на кухню:

— Даже не суйся туда больше!

#### 4

Старая прабабка оставила мне в наследство половину своей квартиры, бани и сарая. А другую половину квартиры, бани и сарая она оставила Мирасу. По закону, в наследство можно вступить только через полгода. А по условию завеща-

ния, эти полгода я должна была прожить в этой квартире вместе со своим четвероюродным братом Мирасом. В случае, если я или брат откажутся прожить вместе полгода, то квартира отходит государству.

Я позвонила маме, в общем-то, попросить разрешения вернуться домой, отказавшись от наследства, потому что у меня же скоро школа и всё такое. Но мама сказала, что — спасибо ковиду — теперь можно учиться дистанционно, и нечего отказываться от наследства.

— Слушай свое сердце, — красиво закончила мама. — Поступай так, как оно тебе велит.

Было понятно, что сердце должно мне повелеть остаться. Всегда было интересно, как люди общаются со своими сердцами. Сердце не имело привычки со мной разговаривать, к сожалению. Поэтому я послушалась маму.

К вечеру все женщины ушли из квартиры, остались только я, Мирас и тётя Роза — мама Мираса.

— Ничего, Лёля, заживём, — сказала тётя Роза. — Завтра баню затопим. Татарскому тебя научим, если захочешь...

— А вы раньше бывали тут? — перебила я.

— Нет. Вчера приехали в первый раз.

— А почему похоронили, как мусульманку?

— Потому что это татарская деревня, и не осталось тут больше язычников. Что делать, Лёля, пришлось так. Поэтому мы привезли муллу издалека. Он не знал, кто она.

Тётя Роза порылась в шкафах, и постелила постели. Мне в спальне, Мирасу на балконе, а себе в зале.

Ночью мне, как обычно, снился Хит, почти в каждом сне он предлагает мне дружить, и я ведь так хочу дружить с ним, а мы никак не подружимся. Мы шли по набережной молча, ветер трепал мой белый платок с синим ободком. Я позвала Хита, он обернулся, но оказался Мирасом.

— Сок-сок-сок! — сказал он.

— Сак-сак! — неожиданно ответила я и обняла Мираса...

## Девятиклассницы

Звонок. «Здравствуйте, садитесь...» На среднем ряду у кого-то из девочек духи «Серебристый ландыш», а у окна — «Может быть». Школьная столовая успешно конкурирует с ними.

— Можно войти?..

Она всегда опаздывает, эта девочка, высокая, в очень коротком форменном платье и смешном фартуке без бретелек. Издевательский фартучек демонстрирует ее законопослушность: в школу надо ходить в форме. И не забывать сменную обувь. На ногах у нее тапочки. Принципиальные тапочки, и высокие желтые носки.

— Садитесь.

Она садится и погружается в отсутствие. Хотя, если спросить ее... Директор, грузный историк Сергеев, относится к ней с грозной нежностью, и, бывает, поднимает каким-нибудь крутым вопросом по очереди весь класс, прежде чем получить именно от нее тихий ответ. Не всегда, впрочем, тот, которого он ожидает. Но всегда ответ.

Она пришла в этот класс недавно, из другой школы. Физика, химия — плохо, очень плохо. Получая двойки, смотрит насмешливо, не скрывая неудовольствия и несогласия. Уроков не учит. Письменные задания делает едва. Говорят, что там, где она училась раньше, она была отличницей. Верится с трудом. Но аттестат о восьмилетнем образовании подтверждает слухи.

Отчего она дружит с этой крашеной блондиночкой?.. Что может связывать их, о чем они говорят на переменах, не разлучаясь, прогуливаясь под ручку?

Просто — та была первой, кого новенькая увидела на августовском сборе. Нежное лицо и розовая куртка. И почти неуловимое присутствие не школьной, вечерней жизни, когда сумеречный свет подчеркивает еще непривычную взрослую красоту.

«И терпкое имя — Ирина — // Из звуков, сомнений и бед, // Как будто цветы или вина, // Сплеталось в пьянящий букет...»

Это о ней, об Ирочке. У Ирочки свой сюжет, этим она и интересна. Герой и маленькая, почти детская пропасть, чем все это кончится? Чем все это отличается от пропасти большой и настоящей? Да ничем.

Короче говоря, девочки-девятиклассницы уже обменивались своими сюжетами, делились ими, рассказывали о своих героях, пытались объяснить друг другу, как жизнь вступает в едва округленные тела. Они обсуждали своих первых мужчин. О, это захватывающе интересно.

Во всяком случае, для меня. Ведь это я опоздала на урок, и вошла в класс с таким независимым и отсутствующим видом.

А в это время на первой парте у окна сидит самая тихая девочка, даже смешно, до чего тихая и аккуратная. Нелепей всего ее коса, длинная коса на прямой пробор, и курносый нос. Когда ее вызывают, она судорожным движением сбрасывает очки — молниеносно-аккуратно (!) их складывает и выходит к доске, ничего не видя — чтобы написать все, что надо, и сосредоточенно-пухлыми губами тихо сказать все, что надо. Учителя любят ее, но коса, основательность и стеснительность делают ее в наших глазах столь нелепой, что и слушать ее, и смотреть на нее как-то неудобно.

Вообще-то стесняемся мы все, но по-разному. Очки — общая трагедия, а без них невозможно: ничего не видно даже с первой парты. Я ношу очки вызывающе и (даже!) не снимаю их, выходя к доске. Ирочка смотрит на учителя поверх очков, демонстрируя нешуточно красивые, зеленые, миндалевидные, в пушистых ресницах глаза. Любая, самая безобразная оправа только подчеркивает нежность ее персиковой

кожи. Она встает молча, украшая собой тишину. В голову не придет упрекнуть ее в незнании или глупости, тем более что в эти моменты она всегда восхитительно, стеснительно задумчива. Да она и не глупа. Просто какое ей дело до того, что хотят от нее учителя?..

После девятого класса откуда-то взялась поездка в Карпаты. Группа была старшекласной.

Из нашей школы, кроме себя, я обнаружила Тихоню. По знакомству уселись в автобусе вместе.

Через несколько часов у нас невыносимо болели щеки. Щеки болели от смеха.

Чувство юмора — вещь загадочная, очень зависит от партнера и во многом напоминает теннис. В нас обнаружилось родство, и неожиданная сыгранность. Так, с уставшими щеками, мы и жили всю поездку.

Выяснилось, что девочка с косой наполнена до краев не только юмором. Она рисовала ни на что не похожей красоты и изящества картины, увиденные во сне.

Или почти во сне — в моих стихах.

Центром этих воплощенных видений почти всегда было обнаженное, совершенное, но как бы истонченное, истаявшее, предельно заостренное человеческое тело. Это были этюды будущего пантомимического театра, о котором еще никто не подозревал, и она сама тоже, — он будет только через десять лет... Через год мы вместе с ней пойдем в студию пантомимы.

— Кутлакова, к доске!

Ее звали почти так же, как и меня. То есть, кроме такого же имени, была еще почти такая же фамилия. В школе, на уроках, когда ее или меня вызывали, мы вставали обе.

Я вздрогнула и встала, но села, и стала разглядывать — мы уже вернулись из Карпат, и пошли в десятый...

Остановившееся «школьное» лицо — неподвижная слепая маска с неизбежными прыщами на лбу, коса с пробором, форма, застегнутая наглухо (на ней особенно наглухо) — все это слетело в один миг, и я увидела ее иначе.

Керженские луга и леса были ее стихией. Когда она говорила о них, проступало другое лицо: языческое. Проступало знание, которому не учат в школе и которому невозможно ничего противопоставить: оно слито с рождающей силой природы.

Ворожея. Что ей делать в этой жизни?..

Она останется в пантомиме, интуитивно выберет, даже не выберет, а сотворит театр. Театральную форму, столь же древнюю, сколь и новую: театр детской пластической импровизации. И будет работать с глухими детьми, с теми, кто больше всего нуждается в этом, для кого этот язык — единственно возможен.

Театр начинался с ее рисунков и продолжался в них. Рисунки перетекали в программки, буклеты и декорации, но самое главное: они перетекали в глаза, руки и тела детей. Дети, воспитанники и актеры этого театра, рисуют и двигаются так, как их когда-то нарисовала Мариша. Она исцелила множество детских душ и судеб.

Зрители Германии, Турции, Финляндии, Японии, Англии — всего мира — аплодировали этим детям, часто не подозревая, что они не слышат, не могут слышать аплодисментов.

«...Я как этот лоскут — легкий и воздушный. Не надо долгих речей и спортивных тренировок. Просто повиснуть, как этот лоскуток. Красная, плотно сжатая в руках ткань — медленно распрямляется, подрагивая и выплескиваясь из ладоней, как цветок, как жар моего сердца, моего желания. Ткань — идеальный партнер, и она вызывает желание быть идеальным партнером».

Так говорила она, и это было так... Вряд ли получилось бы, исполнилось бы, если б она была одна. Но это уже другая история. А сюжет с замужеством пока невозможен, неприемлем в моем девчоночьем мире, в моем воспоминании, где повествование, застыв на месте, долго смотрит из школьного окна, не слыша учительского голоса.

Мариша, Мариша, я столько лет верила, что ты можешь помочь, утешить и исцелить, я столько раз приезжала к тво-

ему порогу. Но весь наш мир — это слишком большая сказка, чтобы жить в ней. И нам нужен только маленький, маленький театр. Найди меня среди твоих глухих детей, Мариша. Я спрячусь за какой-нибудь маской или в складках детского балахона — и ты поверишь в это... — там, в углу, я никак не могу уснуть на ваших старых кожаных матах, все пытаюсь забраться повыше, и снова сползаю на пол... Научи меня чувствовать ткань партнером, идеальным партнером. Я тоже здесь, среди твоих глухих детей. Твой сын переведет на их язык: мы подружились в школе. Твои дети все умеют объяснить на пальцах. Боже мой, ведь это возможно.

...Ирина заведует детским садом. Она методист, и тоже знает — как надо. Прошло двадцать лет, тридцать лет.

А я по-прежнему ничего не знаю.

И лишь когда ты уходишь, мы готовы обнять тебя...

Лишь когда ты уходишь, мы готовы обнять тебя, время, и зарыться, уткнуться в твои желтые тихие листья, в школьный запах твоих перемен, в шум твоих пришкольных берез.

## Светкино лето

Лето начиналось с неповторимого ощущения свободы. Целых три месяца можно просыпаться во сколько хочешь, гулять с любимыми подругами, загорать, купаться и радоваться жизни. Летние подруги Светки были городскими, приехавшими на три месяца каникул в деревню к бабушке. Так радостно было ощущать ей, что подруг у нее несколько, а с городскими было особенно интересно общаться. Немного забытые за год, со взрослым мышлением и с новым видением простой деревенской жизни. Деревенская жизнь, видимо, им представлялась таким прохождением квеста.

Встречалась Светка с девчонками сразу же после утреннего завтрака, а чаще в обед, так как тело, почувствовав летние солнечные лучи, просыпалось только к обеду. И такое начало дня радовало только лишь избранных. Светке довелось испытать другие чувства этим летом. Особенности. Это было связано с семьёй.

Соседи жили как-то обычно, а в семье Светы жизнь проходила не так, как у других. Её отец не любил работать на простой «человеческой» работе. Был и сварщиком, и плотником, и строителем. Только всё, как он говорил, было не к душе. Было время, когда он долго проработал пчеловодом на большой совхозной пасеке, в соседнем селе. Вот это было по душе ему, потому что он был знаком с этими умнейшими насекомыми с детства. Сколько Светка помнила себя — всегда ульи с пчелами стояли в их огороде.

Жили они в центре села, рядом — почта, напротив — магазин, оживленная дорога, а в огороде стояли ульи, до десятка. Ранней весной у отца начинались пчелиные заботы, и дети были невольными свидетелями этого ритуального действия. В марте — апреле пчелы поднимали такой гул в своих жилищах, что было слышно в доме. А зимовали они в подполе их



старинного дома. Осенью отец опускал ульи, пчёлы укладывались на зимовку и тревожить их ни в коем случае было нельзя. А по словам отца нельзя было даже бегать в доме, тем более прыгать и играть в подвижные игры. Сложно было представить четырёх детей, всю зиму просидевших на скамеечке и разговаривающих на полутонах. Естественно, дети носились как угорелые, пока отец отсутствовал, но бывали промахи и, забыв, что он дома, начинали свои игрища. Вот тогда-то и происходило перевоспитание детей.

— Я вам что говорил? Бесполезно что-то вам объяснять! Успокойтесь, не носитесь. Если сейчас же не прекратите, я возьму ремень!

Но чаще он без предупреждения начинал заниматься воспитанием своих детей, тогда в доме возобновлялась тишина, о которой, видимо, мечтали пчёлы.

Сколько лет четверо детей были сдерживаемы отцом, но ни разу не было такого, чтоб несчастные пчёлы осыпались в ульях. По весне всё было с ними в порядке, они были рады вырваться на волю из тесного улья.

Отец, выбрав ясный солнечный день ранней весны, когда остатки снега казались иссиня-голубыми, торжественно выставлял ульи на отведенное им место в саду. Он открывал летки — и пчёлы, как будто никогда не видевшие свободы, вырывались в свой первый полёт. Это было что-то грандиозное — гул был слышен издали. Светка всегда была зрителем этого действия, иногда невольным помощником. Но это уже сложнее: издали она не боялась пчёл, а вот когда рука должна была держать рамку, на которой их было так много, вся бравада куда-то исчезала.

Так, летом, между гулянками и помощью по дому, бывало, останавливалась Светка возле ульев. Сидя в стороне, наблюдала, как протекает жизнь пчёл — суетливо, без отдыха и в бесконечном полёте. Она думала, как эти существа не устают за лето так напряженно работать. Повзрослев, она узнала, что пчела-трудяга и живёт-то всего около месяца. А ужалив врага, оставляет на месте сражения свое жало — и погибает мгновенно.

Отец, за неимением постоянной работы, выручал хоть какие-то средства для жизни своей многодетной семьи. Мёд в семье был всегда и в немалых количествах. Дети ели его от

души, иногда перебарщивали с порцией, отчего становилось очень плохо. Но проходило время, и они вновь принимались за это лакомство.

Был однажды случай. Подруга Наташа пришла в очередной раз в гости к Светке. День только начинался и впереди было много интересного. Наташа проявила чрезмерный интерес к пчёлам, а они, как известно не любят чужаков. Взяв небольшую палочку, она с интересом ковыряла в летке. Пчёлы зашумели и стали проявлять агрессию. В отместку за любопытство подруга была безжалостно ужалена в лоб, прямо промеж глаз. Наташа так в жизни не кричала — она бегала по огороду, махая руками, что больше привлекло насекомых. Одним укусом не обошлось. Светка помогла укрыться от врага, стряхнула обидчика с одежды и намочила прохладной водой ужаленные места. Наташе захотелось сразу же к бабушке, но она понимала, что за такое происшествие она еще получит. Карие глаза Наташи затекли к вечеру, ходила по дому бабушки она наощупь, держась за стены.

Наташа привыкала к новой реальности. Проснувшись на следующее утро, она поняла, что не плохое быстро заканчивается. Отёк не сходил. По единственному каналу в телевизоре с утра начинался долгожданный мультфильм. Сев поудобнее, она стала смотреть фильм. Зрелище, конечно, запоминающееся: она приоткрывала глаза пальцами, чтобы хоть что-то разглядеть. Через пару дней подруга Светки превратилась в саму себя, она могла уже гулять с подругами и не прятаться от их любопытных взглядов.

Светка в это время решала, как правильно распределить время на каникулах. У отца добавилась новая забота — требовался пастух на небольшое стадо коров, голов в пятьдесят. Во дворе их дома было две дойных коровы, лошадь, выпас требовался и им, заодно и заработок отцу обещали хороший. Согласился.

Человек до работы не очень охочий, он рассудил по своим правилам.

— Мне нужны помощники. Решайте сами, кто с утра со мной идет на выгон, а кто после обеда.

Светка, как более старшая, видимо, имела право выбора, и рассудила — пока подруги спят до обеда — я уже освобожусь. Так, с началом каникул каждый день Светы начинался

с росы прохладного утра и стада ревущих коров, рвущихся на волю.

Она вставала в шесть утра, к семи уже надо было быть на месте. Утром солнце в это время уже пригревало своими жаркими лучами, хотя прохлада была бодрящей. Птицы, радуясь лету, щебетали со всех сторон, особенно красиво было их пение в лесу. Березы раскинули свои пышные ветви и так приятно было идти среди них, наступая на сочную, мокрую от росы поросль. Коровы спешили ухватить травы как можно больше, приостанавливаясь на более густо покрытых ею опушках. Одним из раздражающих моментов были неугомонные, голодные комары, с утра аппетит у них был отменный, и никакие веточки, которыми Светка их отгоняла, не помогали.

А в обед совершалась пересменка — брат Иван приезжал на место отдыха табуна на велосипеде, с рюкзаком за плечами, в котором лежал обед для сестры с отцом. Брату выпала возможность поспать подольше утром, чтоб к обеду успевать к стаду. Перекусив, Светка мчалась на велике домой. Солнце светило всюю, припекая нещадно. Настроение было самым развесёлым, ведь весь день был впереди.

У ворот уже поджидали девчонки. Радостное настроение лета ощущалось повсюду. Посиделки у бабушки Шуры, в соседнем проулке, всегда были самыми интересными и увлекательными. Женщина в преклонных годах, она всегда приветливо встречала девочек, пила чаем и угощала жареной картошкой с молоком. Её внучка Наташка была очень весёлой и озорной девчонкой. В одной из комнат бабушки Шуры стоял проигрыватель «Мелодия». Он был аккуратно накрыт ажурной салфеткой. С каким-то особым интересом девочки доставали из нижнего ящика шкафа пластинки. На этот раз выбор пластинки был очевиден — София Ротару уже пела на весь дом «Луна-луна, цветы-цветы...» В руках Светки и Наташи уже были единственные духи бабушки Шуры и бусы из янтаря.

На следующее утро для Светки наступал день сурка. Роса, трава, коровы. К обеду нарастало ощущение воли и радостное настроение не давало сидеть на месте. Ближе к середине лета в рюкзаке добавлялось ароматное ведерко с ягодами, ядреными грибами. Мама Светки уже поджидала дочь, гото-

всясь мыть грузди, чистить подберезовики, перебирать клубнику. Мать большого семейства делала запасы на зиму.

А к середине августа к Светке подступала грусть. Лето кончалось, подруги разъезжались. Не хотелось прощаться с привычным укладом жизни, ведь через пару недель наступал новый учебный год. Со своими задачами и решениями.

В это время в ульях пчёлы уже приготовили себе запас мёда на зиму, рвения на дальние полёты у них уже поубавилось, и так же, как и к Светке, к ним подкатывала тихая грусть ожидания зимнего затворничества.

## Фотография

Сначала ей подарили фотоаппарат, и жизнь, прежде безбрежная, беспорядочная, растекавшаяся неспешно, распалась на кадры. Жизненные детали, выхваченные фотообъективом, показались ей пронзительными в своем одиночестве. Она увидела по отдельности: Иероглиф цветка. Беззвучный клин уток над городом. Закат после дождя. Шмеля, работавшего на последних цветах, не замечая осенней разрухи. Свет кленовой листвы, яркий, как солнечный. Цветок поникший, сложивший крылья — бесконечные вариации осенней темы. Она собирала увиденное в черную коробку фотоаппарата, на чувствительную пленку в его сердцевине, воображая себя таким же чувствительным материалом.

Потом сосед-студент, стоявший рядом в фотомагазинчике, вдруг обратился к ней, разгоряченный своими мыслями: «Я верю только в линию и свет. Цвет мешает, заслоняет главное. Линия же никогда не обманет. В ней столько же энергии, сколько у внезапной молнии, разрезающей небо. Линия лаконична, я бы сказал, что она мужественна и несентиментальна, как хорошая музыка или стихотворение. Да-да, линия — такой же магический знак, как слово. Линия, разделяющая свет и тень — вот что нужно, чтобы понимать жизнь, остальное лишь пустое шелканье».

В словах студента были страсть и сила, и она поверила им.

Теперь она видела осенний город четким, стремительным, таящим под росчерками и внезапными рисунками тайные значения. Свет и строгая линия скрывали другую жизнь, невидимую глазом, рассеянным пестротой мира. Она чувствовала тягучую белизну молока, твердость освещенных солнцем досок, сетку дождя, ретуширующего осенний пейзаж, всю геометрию жизни, вошедшую в кадр. Суровая гра-

фика осени, очерчивающая переходы от темноты к свету, захватила ее, и теперь она хотела только одного — увидеть на бумаге остановленные, выбранные ею из хаоса линии.

Она не решалась подойти к студенту и спросить, как все эти множества мгновений оживают на бумаге, и ждала случая, чтобы заговорить с ним, а пока изучала возможные пути к разговору так, как изучала линии и свет. Студент жил по соседству, и она нередко видела его. Она запомнила, как он стоял на остановке, и очертания его фигуры, вдруг ставшей незнакомой, растворялись в сгущавшихся сумерках; как зажглись фонари, и он опять стал другим, точно нарисованный углем; издали он казался случайным штрихом на темном поле. Для нее он был самой живой и непостоянной линией этой осени, скрипичным ее знаком, начинавшим все вариации. Она думала о нем с тем волнением, с которым слушала звуки пронесившейся осени, складывала воспоминания в коробку фотоаппарата. И когда вдруг настали дни, и она перестала встречать студента, то впервые испытала горькое чувство потери, такое же острое, как ощущение внезапной влюбленности.

Она не знала, влюблена ли или хочет быть влюбленной, искала ли любви или любовь находила ее, не знала, что делать с собою — с телом, жившим своею жизнью, душою, истомившейся — по чему, кому? Бог весть.

Она искала его повсюду: заходила в кафе, где он бывал. Тоска обрушивалась на нее всякий раз, когда она попадала в залитые светом здания из дождливой темноты. Потом, как будто случайно, набрав побольше воздуха, ныряла в переулки, которые он любил и всегда выбирал, торопясь в библиотеку; и прожив в этих коротких улочках так долго, чтобы понять, что он сюда больше не вернется, она неосознанно оканчивала поиски в библиотеке, переходила из зала в зал, всматривалась в лица — но все были чужие, глядели мимо нее; и она, устав сражаться с судьбою, садилась где-нибудь в стороне, листала газеты — напечатанные, сбитые в строки слова тоже были чужими — или смотрела в окно. Из окна видны были плиты старого кладбища, давно превращенного в парк. Мимо шли люди, не замечая ни огромных столетних деревьев, ни надгробий со стершимися надписями; и только из окна библиотеки, из неподвижности можно было почув-

ствовать неподвижность серых плит и ощутить что-то вроде счастья, оттого что самое важное, сокровенное не исчезло; оно где-то очень близко: в книгах, в полупустых залах, в бесплодных поисках любви.

Все устроилось само собой, внезапно, словно медленно шло к этому дню. Неделя дождей, насытив воздух сыростью и холодом, а сердце безнадежностью, вдруг прекратилась, и зыбкое неясное состояние, в котором она находилась все дни, исчезло, словно его и не было.

Они встретились в том же фотомагазинчике, она сказала буднично о черно-белых пленках, и он сам предложил помочь, пригласил к себе.

Дороги были пусты и прохладны. Она запомнила остывающий свет лиственниц. Внезапные капли охры на прозрачных березах. Золотое облако кленовой листвы, спустившееся на землю. Вбежала в комнату со всеми неостывшими шумами, красками. Здесь же все было медленно и тревожно, пропитано чужою жизнью.

— Ага! — он встретил ее с той стремительностью, которую она принесла с собой, и комната, захваченная новым ритмом, изменилась. Она увидела фотографии на стенах, книги, чужие и все-таки знакомые; и обстановка, подчеркнутая и освещенная музыкой, стала домашней, своей, такой, какую она любила — меняющейся в оттенках и перепадах ритма.

— Где твои пленки? Пойдем, — Он открыл дверь в маленькую темную комнату, где пахло химикатами, и там, включив красную лампочку, объяснял ей, как появляется на бумаге целый мир воспоминаний, рисунков, мелодий, и как сам человек насыщает их светом, придает им силу и глубину. «Все, что ты хранишь на этих пленках, — говорил он со страстностью одержимого, — только материал, из которого можно сделать что угодно. Можно сделать картину. Можно картинку. Но главное — не солгать. Когда вычерчиваешь мир заново, столько соблазна его переделать, приспособить под себя, но важно лишь то, что увидел. Ты понимаешь?»

Он был богом в черном своем подземелье, вдыхающим жизнь в мертвый материал. Она думала, счастлива ли она, оттого что сбывались ее самые заветные желания, и можно ли назвать теперешнее состояние счастьем, если она чувствует только неловкость и смущение.

— Ну вот, — сказал он, закончив объяснение, — теперь попробуй сама, — и она подошла к ванночкам, отчаянно стараясь не коснуться поставленной посуды и его горячего тела, стиснутая между ними, как бабочка между стеклами, вздрогнула, вспыхнула от неловкости, и священная утварь: колбочки, ванночки, подставочки, катушки — покатились на пол. Она бросилась поднимать их, споткнулась, ударилась о что-то тяжелое. Увеличитель, помигав, погас.

— Не ушиблась? — он помог ей подняться, и наконец увидел ее, раскрасневшуюся, неловкую, пятнадцатилетнюю, и засмеялся. Она улыбнулась смущенно в ответ, а потом прыснула совсем по-детски, и ей показалось, что страстная одинокая ее любовь к линиям и формам была лишь дорогой к этой минуте, к ответной улыбке, но другое чувство говорило ей, что эта минута и улыбка — тоже только дорога к краскам и цвету, к чему-то еще большему и прекрасному, имени которого она не знала.



## Жизнь на воздушном шаре

Я раньше дружила с Каринкой, но поняла, какая она дура, кроме того, она еще и вредная. Это мне стало понятно по ее улыбке, пустой, с глупой растяжкой ничего не значащих губ. Даже зубы ровные и тупые, похожи на пробки тупых гномов, устроивших попойку. «Сытый голодного не разумеет», — говорила моя прабабушка моей маме, и я поняла, что это — истина. Вообще, мне все давно надоели: дед, как жвачное животное. Спит и видит булку с маслом, бабка — жадина, конфетки не даст никогда, о моих зубах заботится, а зубы у меня лучше, чем у нее в ее детстве. Брат надоел: он живодер и хам. Старшая сестра — тупая, хочет стать красавицей, причесывается, а у самой скудоумие выпирает почище дури ее: причешется и выдранные волосы бросает противным серым волосатым комком. Я даже однажды напугалась и вскрикнула, думала, что это мышь, а это ветер принес на мою половину ком ее злых волос. У злого человека не только речь зла, но и всё, что у него есть, даже зубы. Сеструха вырывает волосы массажной щеткой, выпрошенной у мамы в дорогом гипермаркете, а потом плачет, что у нее голова болит. Баба Нюра всегда говорила, что волосы свои бросать нельзя, а то их птицы подберут и вплетут в свое гнездо, и тогда голова болеть будет. Вот гнусавая Лерка бросает свитки своих мышинных волос, а потом орет, голова болит у нее. Глупо было бы, если б не болела. Много болезней у людей от жадности: шоколадки для ребенка им жалко, и придумывают всякие отмазки типа сахарного диабета. Вот поэтому я от них улетаю на воздушном шаре, бросаю их, как мешки, берущиеся на шар для тяжести: гнусавую сестру Лерку, брата Кириллу, твердящего перед родителями навязанные нам постулаты о поведении, вызубренные на зубок, а сам с Риткой из соседнего двора целовался в сирени, я видела. Бросаю деда-

бегемота, диванное животное в полете, на диване, выглядело бы более чем странно. Бабку жадную бросаю: у нее от жадности аж челюсти свело вчера, когда она увидела, как я шоколадную конфету развернула и в рот себе положила. Ее бы больше устроило, если бы я ей эту конфету вежливо предложила, как дура какая-нибудь. А вот дудки! Вообще старым и страшным вреден шоколад, а то зубы выпадут все тридцать два, и так не полный рот из-за шепелявости. В их время конфеты были витаминными, видимо, от этого зубов слишком много во рту, и они мешаются, а из-за этого шепелявят. Мать с отцом тоже не возьму в полёт: орут много, судятся и рядятся, кто прав, кто виноват. А я виновата? Почему спать не дают, и жить не дают мне спокойно своим ором? Всех мешками с шара долой! Пусть знают, как с детьми себя вести надо: вежливо, деликатно, угощать вовремя сладостями, мороженое предлагать — вдруг я уже его хочу? А не так: «Уроки выучила? На обед что ела? Посуду помыла?» Судомойку нашли восьмилетнюю! Всех долой с шара! Всех выкину сейчас! Дед застрял со своим диваном немереным, никак не скину его со своего воздушного корабля современности. Валики застряли. Жует резину своих обещаний — купить мне велосипед. Да когда он купит мне этот несчастный велик, у меня ноги уже будут не того размера, пусть уж лучше сразу моему младшему братику Васечке покупает его: Васька орет день и ночь от зубов. В мире во всем виноваты зубы: в старости зубы выпадают и крошатся, а в молодости болят, то есть в младенчестве. Как у Васьки. Лучше бы кота завели, ну и глупые эти родители! Все им подсказывать надо! Утопили они меня своими уроками и назиданиями. Улечу в край умных детей, которым не надо делать уроки и выслушивать замечания. Жадины и злоюки!

Когда мир вокруг приобретает негативные черты, родители ругаются или несоответствие желаний и возможностей довлеет над мыслями, я забираюсь на воздушный шар и улетаю от всех в край, милый сердцу. Впервые я ощутила резкую противоположность жизни с родителями и жизни в пионерском лагере, где глотки свободы были так громадны, и всем на тебя чуточку наплевать: можно бегать босиком по шишкам в лесу, не затыкать уши во время мытья головы, пробовать

мороженое, не подогретое в железной кружке на газовой плите. Ну, правда, случались казусы, например, попала вода в уши, и я орала на весь лес всю ночь от стреляющей боли, мешая спать всему отряду, а наутро мне капнула неизвестно откуда взявшаяся медсестра борного спирта, и спасла меня. Медсестра спросила:

— Ты всегда так орешь, когда хочешь привлечь к себе внимание?

— Я никогда не ору, просто мне в бассейне попала вода в уши, и я очень скучаю по моей бабانه, очень. Она ведь, может, плачет без меня, а я тут комаров давлю.

Тогда медсестра сказала, что родители готовят меня к жизни, поэтому стараются предугадать плохое заранее, чтобы со мной не произошло ничего страшного. И надо слушаться, чтобы потом не страдать.

Я кивала головой, но мечтала о бабانه, чтобы мы с ней пошли на базар, бабана купила бы мне арбуз, клубнику, «Мишек на севере», и чтобы обязательно показать язык как можно длиннее, если мимо будет проходить задира из соседнего двора, тоже со своей бабушкой.

Прошло года три, и мы с этим задирай катались на лыжах по снегам, топтали его и приминали, вздыбленный дворничьими лопатами снег. А когда пришла весна, я не заметила, и снова вышла гулять с лыжами. А Сережа не пришел, но мы встретились в школе. Тогда мы на природоведении вместе отметили «солнце» в предназначенной для этого графе. Но особенно дружить-то было некогда: у меня же была музыкальная школа, надо было «не ударить в грязь лицом» и выступить на экзаменационном концерте с пьесой, а это требовало усердия. Самое главное — чтобы пальцы слушались. Пока я воспитывала пальцы, играя на пианино, Сережа подружился с девочкой из параллельного класса, и поехал с ней и своими родителями на Кавказ в летние каникулы. Вот была досада, но горевать долго не пришлось: надо же было ходить в сад к деду и бабе Лизе, а там есть чудесное озеро с красивой высокой травой по левому краю. Трава казалась мне зеркальной: в ее длинных стеблях отражались небо и облака, бабочки, стрекозы и дети, купающиеся рядом, и назидательно впередсмотрящие из-под козырька рук их бабушки.

Меня в детстве всегда мучили отношения между родителями, их вечные споры о том, что «для ребенка лучше». Сначала было страшно, что если я убегу из дома от их неразберихи, то меня «схватят и украдут циркачи», как мне сказала бабушка Елизавета Орефьевна. Я представляла свою жизнь в шапито, шапку для собирания денег со зрителей, цирк и пляски с медведями и бубнами. Но на самом деле мне хотелось не этих плясок и собираний денег. Я мечтала стать мореплавателем. Для этого нужно было родиться мальчиком. Это портило всю картину мечтаний, я же девочка. Но моя баба однажды, узнав о моих мечтаниях, о морях, сказала в задумчивости: «Кому же тогда отойдет после моих похорон бархатная скатерть?»

И это прозвучало так трогательно, что я чуть не расплакалась, и сказала, что скатерть нужно завещать мне, и я обещала беречь эту скатерть, как флаг Отечества, и рассказывать и детям, и внукам, что моя бабушка — лучшая на свете. Но умирать тоже не надо, а то как же я без бабушки...

Когда я подросла, то меня еще больше стала волновать жизнь моих родителей, а также исключительно все вопросы их бытия. Особенно проблемы происхождения чудовищных звуков за стеной, которые мешали спокойной жизни: моим занятиям рисованием, кукольной спальenkой под столом, которую я склеивала из спичечных коробок, английским языком, чтением, а потом и музыкой, и просто даже простому человеческому ночному сну.

Однажды, выйдя из спальни из-за ночных воплей за соседской стенкой, я вышла в комнату к родителям, смотрящим телевизор, и попросила их вежливо в шутку:

— Отрежьте мне, пожалуйста, мои уши. Они мешают мне спать.

— Да ты будешь Ван Гогом, Аленка! — пошутил папа, переглянувшись с мамой.

У моего папы был абсолютный музыкальный слух — это сказал директор музыкальной школы Юрий Владимирович Мальшевский. У меня — сначала относительный, потом он еще развился, но я и до того слышала через стенку всё, абсолютно всё.

Отношение моих родственников к ночным бдениям соседей, на пришествие главы семьи в дом, как «яйцо всмятку»,

формировало и мое негативное отношение к пьянству, и вызывало жалость к вечно плачущей от родительских скандалов Оле Смирновой. Так хотелось дружить с ней, но ее отец в пьяном виде был свиреп, рычал по-медвежьи, и все во дворе от него убегали, а через стенку я начинала тихо подвывать маленькой, обиженной оплеухой от отца, Оле Смирновой, понимая, как нелегко маленьким получить спокойную жизнь для фантазий, рисования, развития и игры. Как же было вместить весь мир на воздушный шар и улететь с ним вместе? Вот была задача: надо же было взять с собой все реликвии, выбросить всех почемучек желтых в оранжевую точку, и оставить самое главное на свете. Почемучек из веселой ткани сшила мне баба Лиза, и они всегда цеплялись остренькими коготками-липучками за всю одежду, не давая спокойно выйти из дома во двор.

В детстве я не понимала всей трагедии жизни моего отца, когда ему надо было то же, что и мне: письменный стол, уединение и нормальное питание. И этого мне лично было достаточно, чтобы улететь на воздушном шаре. Вот только как быть с театром? Не уместится же весь реквизит, а мы так любим играть. Папе всегда требовалось больше положенного: дружеское общение с его интеллигентными друзьями, где он был центром внимания, его культурной программой. Это были беседы о литературе, театре, культуре, иностранных языках. Мой слух ловил интересное: имена Мейерхольда, Марины Цветаевой, — и это в 70-х годах прошедшего столетия, когда такого широкого доступа к книгам не было, и томик Цветаевой однажды попал к нам в дом из библиотеки ДК ГАЗ под строжайшим секретом и строго на неделю. Но добраться до стихов Марины Цветаевой папе можно было только через мое понимание, что читать книги для взрослых детям нельзя, а этого понимания-то как раз и не было. Так наперегонки с папой в 11-12 лет я прочла, выписывая в отдельную тайную тетрадь особенно понравившиеся мне стихи Марины Цветаевой, которую боготворила, как мифы Древней Греции, которые тогда в школьном обучении еще не присутствовали, и роман «Голова профессора Доуэля», письма Владимира Леви, романы Стефана Цвейга.

Позднее, когда мои воспоминания детства улеглись и начали вытесняться новыми ощущениями жизни, воздушный

шар оказался лишним. Все мечты вписывались в круг визуально знакомый, мечта о мореплавании растворилась в рассказе моей мамы о страшных бурях и высоких волнах, Сиренах, которые своим пением топят корабли, и я уже была согласна поедать викторию и малину в саду вместо привычных макарон по-флотски.

Еще в детсадовском возрасте я с ребятней во дворе играла в войну: мальчишки воевали, бегали и стреляли, а девочки бинтовали раненых. Потом наступал мир, мы подписывали и дарили всем ветеранам открытки, собирали охапки цветов, преимущественно одуванчиков, и устраивали салют, высоко подбрасывая множество веселых желтых пушистиков.

Родной брат моего отца и его жена были студентами-медиками, и я подслушивала, когда они готовились к лекциям, усваивая строгую интонацию. Жизнь становилась все строже, и все меньше оставалось в ней сюрпризов. По дворам тогда разносили так называемые «письма счастья», и нам в почтовый ящик попало такое письмо. Соседские девочки шепотом сообщили мне, что кому придет такое письмо, его нужно переписать семь раз и разослать семи человекам, которые тоже распространят эти письма. Рвать письмо нельзя, а то Бог накажет. В письме рассказывалось о маленьком мальчике, который умел ходить по водам, и как заклинание, с возвышенной патетикой, читались слова веры, нечто вроде: «Верьте, Иисус Христос жив».

Внезапно папа попал на хирургический стол, — у него оказался перитонит. Мне было тогда девять лет. Я подумала, что папа порвал письмо, которое я ему сунула в карман пиджака вместе с конфеткой. Мы с мамой пришли навестить послеоперационного папу. В больнице был жуткий запах йода вперемешку с кипяченым бельем. Отец лежал на койке белый, как труп, одеяло доходило ему до подбородка. Глаза двумя углями светили потустороннему миру. Капельница с отвесным наклоном, подобно Эйфелевой башне, пыталась держаться стойко, но время капало на мои щеки с ресниц. «Папка, не умирай!», — капала весенняя капель, принося на окно палаты какую-то занудную пыль, так что и окно лишний раз в палате не откроешь. Сыпалась песчаная крупа, постоянно попадая в глаза и сердце через горло — это подавлялись приступы плача.

Мне было тогда девять лет. Я даже два дня жила совсем одна в квартире: утром вставала, пила чай с булкой и шла в школу, потом в музыкалку, делала уроки, пыталась играть на пианино, и играла жизнь среди хаоса судьбы. Мама сутками дежурила возле кровати отца, чтобы эта кровать не стала ему смертным одром. Потом приехала бабушка, — она была на экскурсии в Ленинграде, который давно уже теперь возвышенно именуют Санкт-Петербургом. С папой случилось несчастье именно в отсутствие бабани. Я даже не ждала никого, уже считала себя совсем взрослой, и внезапное появление бабушки на пороге дома оказалось для меня стрессом. Я осознанно одиноко жила, никому не говоря о своих проблемах. О том, что нельзя никому ничего говорить, меня предупредила моя одноклассница Анджелика Хазова, у которой умерла мама, и тогда в ее дом начали ходить разные глупые тетки, соцработницы, ничего не знающие и ничего и никого не понимающие в жизни, особенно детей. Эти глупые женщины задавали очень идиотские вопросы, на которые нужно было во что бы то ни стало отвечать, иначе они грозились сделать жизнь еще хуже. В школе узнали на четвертый день о моей одинокой жизни, и пыточный комитет заставил меня проходить их идиотские тесты, и мне снова захотелось на воздушный шар. Смысл вопросов сводился к тому, с кем я хочу жить, и из этого всего следовало, кому достанется наша квартира, если мама на работе всегда или у койки отца в больнице, бабушка находится в Ленинграде, ходит по Эрмитажу с тетей Раей, а я одна хозяйничаю. Тут без воздушного шара никак было не обойтись, и всех этих соцработниц я грузовыми мешками сбрасывала, для того чтобы улететь. Они улетучивались быстро и без особого писка, будто им сообщили, что сейчас дают на работе зарплату.

На вторую неделю после операции папа уже чувствовал себя лучше, и маме разрешили взять меня с собой. Чтобы выжить моему отцу, мне пришлось врать. Папин врач подозвал меня к себе во время капли из глаз, и заворожённо сделал мне комплимент, сорвав цветок из горшка на подоконнике и галантно протянув его мне. Я застенчиво поправила на талии пионерскую юбочку в складку, и челку, заправила аккуратнее кофточку. До этого случая цветы мне дарил только Вадик Овчинников после моего выступления в музыкальной

школе на концерте. Мои брови поползли вверх, а врач папы сообщил мне, что мой папа останется жить, но для этого надо мне сказать отцу неправду, которая вызовет в сердце папы бурю эмоций. Эту «бурю» мы сочиняли вместе: про мальчишек из класса, которые знают, как это делается, и хотят всех девочек и меня сделать женщинами. Эта новость взвела над одеялом негодующие брови, и даже ноздри моего отца раздулись, как у бегемотика с картинок из книги Маршака о прививках. Я и не знала до этого, что жизнь можно выдернуть у смерти врачами. А кто знал?..

Папа вернулся из больницы, и снова потянулись мои музыкальные учения и радость поэтического творчества после сделанных уроков. До возвращения отца из больницы внутри меня будто находилась холодная паутина, на конце которой висело и билось сердце. Мама сказала, что надо терпеть, это называется «мужество». Мне тогда еще только предстояло узнать, что является настоящим мужеством, и что самый хороший муж тот, кто помогает жене мыть посуду и наводит порядок в доме, пылесосить, ходить в магазин за продуктами, не курит и не пьет вино, галантен с дамами, но остается верен жене. В праздники покупает ей цветы и билеты в кино или театр.

Игра на пианино стала для меня кодом жизни, моими корнями, которые держали меня на земле. Жизнь оживала вместе с Моцартом, Бахом, Паганини, спектаклями ТЮЗа, куда мы ходили с бабушкой. Одноклассники смешили меня своим ползающим интеллектом. Карачки их мыслей брели не далее постельных сцен их родителей, яро обсуждаемых в группе, а впоследствии и их новых открытий из области взрослой жизни. Да кого теперь удивишь этим! В советское время секреты держались на замках, и оттого их строгим хранителям отдавали во владения родовые замки в высотах гор под облаками. Туда-то и стремились все воздушные шары нашего детства.

Когда сгладились в памяти отца его страдания, снова появилась в поведении нотка отчуждения и право власти брать верх над слабым и маленьким птенцом самолюбия моего. Уничтожая, никогда невозможно вернуть любовь и доверие, оттого в моих глазах отец читал не радость при встрече, а вы-



нужденное присутствие печали. Но я любила родителей обоих вместе. Для меня было невыносимым вдруг остаться с кем-то одним из них.

Стихи витали вокруг меня своим магическим спектром. Поэзия была и остаётся моим кислородом. Дополнительным источником вдохновения для меня стала живопись, и стала она в начальной школе для меня спасением, когда в конце учебников давались репродукции художников, а нам на дом задавали рассказ по картине, что художник изобразил в лицах своих героев. Копаться в психологии человеческих лиц стало моим хобби. Особенно мне запомнилась картина «Опять двойка», хотя самих этих «двоек» я не получала, но получал сполна Алик Ахов. А когда я выросла, то однажды в новостях передавали, что попался злостный садист и маньяк Алик Ахов, и показали в зале суда зачуханного Алика со злорадной гримасой на лице и в наручниках. Алик в школе всегда беспощадно больно дергал за косы девочек, и мне тоже досталось, и вот тогда папа сказал, что Ахов вырастет бандитом, у него для этого есть все предпосылки.

Под убожескую, грохочущую музыку за соседской стенкой сочинять линии горных вершин требовало самосознание, а пружинные интересы соседских детей раннего возраста лет через десять вырастали в суды по алиментным делам. Какая уж тут альма-матер!.. Так я и существовала между мифами Древней Греции, «Дальними странами», Моцартом, Бахом и Бетховеном.

Дедушка Матвей привёз мне из Москвы «Нотную тетрадь Анны Магдалены Бах». Играть по ней было сложно, но я преодолевала лень.

Когда мама приходила с родительского собрания из школы, гордости отца не было предела. Иногда только в музыкальной школе моя учительница Татьяна Сергеевна Постникова не хвалила меня, а выговаривала такое, что из уст мамы звучало скандалом. Я слабая, не хочу заниматься спортом, а сижу за столом и пишу, это плохо. А вдруг я влюблюсь? И что им всем тогда делать со мной? Свить из меня веревки или свитер... или сижу за пианино и играю, а надо заниматься спортом и дышать свежим воздухом. Что такого в свежем воздухе хорошего, когда рядом дымит завод, алкоголики рыгают за углом дома, а под окнами и за дверью подъезда просто

испражняются, где этот ультра-свежий воздух-то? Поискала бы я его лучше у Лермонтова при белом парусе, у Пушкина в Болдинской осени, у Паганини и Грига в этюдах, да и у Левитана сам Бог послал поискать!

Я смотрю вниз на исчезающую под моим улетающим воздушным шаром Землю. Она кажется несущественно малой частью Вселенной. Но в самый ответственный момент побеждает жалость и любовь: я хватаю папин телефон и звоню ему, сообщив мои координаты: как я без них-то, без родных? Кто за бабаней присмотрит: ей сладкое нельзя, а я ее оставила одну с конфетами и печеньем?! Кто деда поднимет с воплями: «Хочу в сад! Там сейчас медведки всю викторию поедят, пока ты спишь тут!» Кто маму ласково обнимет, как котенок, мяукнет шаловливо, и получит яблоко? А уж о папе и говорить лишне: он без меня никуда! Его же без меня в музыкалку на концерт не пустят без второй обуви, а напомнить о ней могу только я, и играть ему буду я. Братьев и сестер я выдумала, но кто их родителям сочинит, если не я? Полет частично отменяется, то есть полет возобновится во время ночного сна.

# Коммерсантка

*Моему папе. Вадиму Алексеевичу Николаенко*

Это сейчас у меня денег куры не клюют, и я могу их хоть вместо обоев расклеивать, хоть в макулатуру сдавать, хоть суп из них варить, а тогда у нас денег не было, потому что папа с мамой только что купили польскую стенку.

Стенка эта была, надо сказать просто ого-го, а не стенка, замок, а не стенка, в общем — красота, и мама еще в нее ничего не ставила, а только смотрела на нее с благоговеньем, и вытирала полочки и дверцы бархоткой со спиртом.

Я ходила под этой стенкой туда-сюда, со шваброй в руках, и воображала себя рыцарем, как в «Черной курице», или «Айвенго».

Это все было здорово, конечно, но, тем не менее, денег у нас не было, а папа собирался ехать на научную конференцию в город Севастополь. Мой папа ученый. Он профессор, доктор технических наук. И вот он собирался на их ученую конференцию.

Правда, тогда папа еще не был профессором, а был младшим научным сотрудником, и поэтому денег у нас не было. К тому же мы, как назло, купили эту польскую стенку.

Стояло лето. Родители решали «вопрос со мной». Папина поездка была оплачена институтом, с гостиницей, билетами и питанием, а «вопрос со мной» повис в воздухе, и я ходила под стенкой со своей шваброй и ждала.

Чтобы сократить папины расходы «на питание» мама собирала в папин альпинистский рюкзак резервные консервные банки с зеленым горошком и тушенкой. Каждый завтрак мама доставала у нас с папой на глазах из холодильника «заказную сырокопченую» колбасу, которая тогда называлась не «Сервелат», а «На праздники» — и, достав эту праздничную колбасу, нежно вытирала ее газеткой и убирала обратно.

Газетка называлась «Правда». Шел 1987 год. Примерно. Колбаса была тоже резервная, но этот резерв мама жертвовала папе «на Севастополь».

Наконец, папа как-то раз пришел с работы очень веселый, то есть навеселе, как сказала мама, и сказал: «Саша! Ты едешь!»

«Еще не хватало», — сказала мама, но было поздно. «Папа! Ты же мне обещал», — стало моим смертоносным оружием. Если бы это оружие вдруг не помогло (мама могла просто так не сдать позиций), у меня еще были в запасе слезы и бабушка. Бабушка должна была в крайнем случае сказать папе: «Как вам не стыдно, Вадим! Возьмите девочку в Севастополь!»

В этом месте я должна была зареветь, а папа взять меня в Севастополь.

Однако план, разработанный мной и бабушкой, не пригодился. Деньги на мой билет откуда-то взялись, как всегда бывает с этими странными деньгами, и однажды вечером я бережно поставила свою швабру к стенке, мы все посидели «на дорожку» на табуретках, и мы с папой поехали в Севастополь, а мама — нет!

Маму мы с папой не взяли, а сами поехали в Севастополь, с праздничной колбасой, зеленым горошком и тушенкой. Мама осталась без колбасы и без нас, а мы поехали...

«До свидания, Стенка!» — думала я, оглядываясь на наше окно, пока мама махала нам из него, а папа вел меня за руку.

«Я к тебе, Стенка, еще вернусь, жди меня!» — думала я, и накрапывал дождь. Но папа сказал мне, что этот дождь Счастливый, и я без всяких расспросов с ним согласилась.

Мы ехали сначала на 61-м троллейбусе, потом на метро за пять копеек (или за три? я уже и не помню), а потом мы с папой оказались на очень красивом вокзале и сели в очень красивый зеленый поезд. Так мы сначала сели, а потом пошли вдоль вагона к своему купе, и там сели уже окончательно и разложили свои «пожитки». То есть я «разложила» свою резиновую собачку и поглубже задвинула под полку свой ненавистный горшок, который нам с папой «в нагрузку» все-таки подсунула мама. А папа достал из своей куртки два те-

плых бутерброда с помидорами и, виновато покосившись на меня, ту самую гадость, которую все папы на свете прячут от мам и называют «пол-литра».

Я посмотрела на папу, как мама, когда она так смотрит на папу, и сказала: «Да ладно уж, пей».

И поезд тронулся!

Не буду тут рассказывать, как позвякивали в подстаканниках граненые стаканы, а в стаканах чайные ложки, и как в окошке, под шторкой, перед моим расплюснутым носом, мелькал лес, рельсы, полустанки и огоньки деревень — ведь это вы сами все знаете не понаслышке, а моя история все еще впереди. Ее ведь еще все-таки рассказать нужно!

Ну, так вот...

Мы проснулись, умылись (как-то в детстве не замечаешь, какие в поездах противные туалеты, а помнишь только запах зубной пасты «Жемчуг» и вафельного полотенца), попили чайку, позавтракали яйцами и печеньем «Юбилейное» — и как ни в чем не бывало, ехали себе дальше.

Как я уже говорила — стояло лето, и на полустанках, и долгих станциях, куда мы с папой выходили «покурить», — продавались ягоды. Сперва все было нормально: ягоды были самые обычные, человеческие, из тех, что растут у моей второй бабушки Тани на даче: клубника, земляника, крыжовник. Но потом все пошло наперекосяк. Все пошло так, потому что на станциях, куда мы с папой теперь выходили «покурить», стали продавать персики, абрикосы и...

ЧЕРЕШНЮ...

Вы любите Черешню так, как люблю ее я? Потому что я очень люблю Черешню. Скорее всего, даже больше, чем ее любите вы. Я даже просто уверена. Я могу, если что, съесть целое ведро черешни! Хоть бочку! Хоть всю черешню вообще...

Между тем у нас с папой не было денег. Я это знала точно, и не просила у папы даже кулечка... Я не просила, но папа! Папа взял и прямо у меня на глазах купил себе пива! А мне купил пирожок. И себе купил пирожок. А на следующей станции папа вообще купил себе СНОВА ПИВА! А мне мороженое...

А себе мой папа купил вяленого леща...

Далеко от проводницы мы с папой не отходили: в нашем поезде ехал вместе с нами какой-то папин большой началь-

ник, и папа его видимо недолюбливал, и не хотел с ним встречаться. Или папа просто боялся, что начальник подумает, что папа везет меня в Севастополь на его деньги. Поэтому мы с папой вели себя очень осторожно, и когда я видела какого-нибудь большого (то есть толстого) человека, я пряталась за папу, вцеплялась ему в рубашку, и делала вид, что я не его.

А мимо носили ЧЕРЕШНЮ! А я ее не просила. Я знала, что мы только что купили Стенку!

Я знала: у нас нет денег!

И вот мы снова сели в свое купе, и папа стал такой веселый, что я поняла, почему маме это не нравится, и она называет это «навеселе»...

Я подумала об этом немножко, подумала еще немножко, и еще... Но когда мимо моего носа снова пронесли назад ведро с Черешней, да еще закричали так, что слышно было даже через стекло: «Черешня! Сладкая ЧЕРЕШШШШШНЯ!!!» — я заревела...

— Ты чего? — спросил папа, у которого на бороде повисла противная чешуя от его противной рыбы, и я заревела так безнадежно, что папе, наверное, стало не по себе. Ему стало не по себе, потому что он тут же перестал так уж радоваться своей вонючей рыбе и своему противному вонючему гадкому пиву и спросил:

— Ты чего? Ты черешни, что ли хочешь?

И я сказала: «Хоч-ууу!»

А папа смахнул с бороды рыбью чешую, и, как настоящий Рыцарь, воскликнул:

— Погоди, принцесса, я сейчас, — и исчез, как самый настоящий Рыцарь...

Я всхлипнула и стала ждать своего Черешневого часа.

Я смотрела в окно, как Златовласка из своей башни: мимо меня бегали глупые люди, которые не могли понять, что такое Черешня.

И тут поезд тронулся. Поезд тронулся без папы и без Черешни, и сперва я даже не могла понять, что хуже: остаться без папы или без Черешни? Или одной в поезде без папы, без мамы, без денег и без Черешни...

Все эти «без» как-то слились в одно, и я заревела уже «почестному» — без надежды.

И тут вошел мой папа! С ЧЕРЕШНЕЙ!

С ведром черешни...

Папа вошел в купе с целым эмалированным черешневым ведром. Да, это было целое ведро с черешней, но! Я-то знала, что у нас с папой нет денег даже на пустое ведро!

Я посмотрела на папу.

Папа посмотрел на меня.

«На!» — сказал папа.

«Спасибо», — едва слышными губами сказала я (ну бывают такие едва слышные губы) не знаю как у вас, а у меня в тот момент были именно такие...

А поезд уносил нас все дальше и дальше от Москвы, к городу-герою Севастополю. Однако теперь поезд уносил нас с папой совершенно нищими. Мы были разорены, и во всем была виновата я одна, со своей глупой черешней.

Последние деньги мой Рыцарь «ухлопал» на это дурацкое эмалированное ведро.

Тогда про «черешню» я впервые подумала с маленькой буквы «Ч». Мне совершенно расхотелось есть ее. Да. Папин подвиг перебил мне аппетит и убил во мне любовь к этой черной, сладкой, разноцветной, прекрасной, замечательной... Самой лучшей и вкусной на свете ЯГОДЕ...

Тем временем папа со спокойной совестью сел, и как ни в чем не бывало опять стал потрошить свою вонючую рыбу...

И тогда я встала.

Я встала, а папа спросил:

«Ты куда это?»

«В туалет!» — холодно, как моя мама, ответила я.

«А...» — сказал папа.

И я вышла вместе с ведром черешни и крепко-накрепко закрыла от папы дверь нашего купе...

Маленькая девочка, с перепачканной слезами и мороженым физиономией топала с ведром черешни по вагонам, зажмуриваясь над железными пропастями, и заглядывала в купе.

«Черешня! Сладкая черешня! Очень вкусная, сладкая-пресладкая черешня, попробуйте сами!» — говорила она. Как я могла решиться на такое? Теперь мне даже подумать об этом страшно. Но тогда... Ведь надо же было как-то спасти своего Рыцаря от разорения? И вот...

Спасала.

Никто мне не отказывал (наверняка жалели эту «Девочку со спичками»), и не успела я еще пройти и пары вагонов, как ведро мое опустело. И только какой-нибудь трехкопеечный кулек черешни устилал теперь его дно.

Я огляделась и увидела, что стою не в обыкновенном вагоне, а в каком-то очень красивом: на полу в проходе лежал красивый ковер, как у бабушки в коридоре, шторы были с ленточками, а на стенах висели зеркала...

«Тут можно еще подзаработать как следует», — смекнула я, оглядевшись, и хотя мои карманы уже ломились от мелочи, а остатки черешни я собиралась съесть сама, но жажда обогащения пересилила, и я решительно отодвинула в сторону первую попавшуюся мне на глаза дверь...

«Черешня... Сладкая черешня!» — сказала я.

В двухместном купе с диванами сидел большой-пребольшой, очень толстый дядя.

«Если не верите, сами попробуйте», — пролепетала я отступая.

«Почему-же не верю, девочка, а ну-ка поди сюда», — сказал толстый-претолстый. Я подошла.

«Ну, давай свою черешню, высыпай сюда», — сказал толстый-претолстый и показал мне на хрустальный вазон.

Я высыпала свою черешню в вазон и снова попыталась.

«На!» — сказал дядя и протянул мне пять копеек.

Ведро я бросила по дороге.

Я ворвалась в свое купе с победой, и если бы вы видели глаза моего папы, когда я доставала из карманов и выкладывала перед ним на стол мелочь и даже смятые рубли, вы бы поняли, что мое коммерческое предприятие того стоило!

Так, богатые и счастливые, поздней ночью мы приехали в город-герой Севастополь.



Бушевала гроза, и черные мачты кораблей, грозные пушки эсминцев, крейсеров и броненосцев, озаренные вспышками молний, были первым, что я увидела в окне, по которому хлестал дождь.

«Это наша эскадра!» — с гордостью сказал папа, а потом мы вышли на перрон, и промокли как мыши, пока искали свою гостиницу.

На следующее утро, гроза прошла, и мы с папой пошли на белую-белую пристань, и искупались в синем-синем море. Потом мы позавтракали купленной на рынке ряженкой с булочками, и папа пошел на свою конференцию, показав мне здание, где эта конференция проходила, и велел мне ни в коем случае туда не ходить, чтобы меня не увидел его страшный большой начальник.

Я ходила в ожидании папы по длинному коридору нашей гостиницы туда-сюда, от скуки воображая, что у меня в руках снова швабра, и я хожу дома, перед стенкой, охраняя покой своего короля.

В общем — честно несла свою службу.

Я честно несла свою службу, и не заметила, как в конце коридора появился папа, с еще каким-то очень большим-пре-большим дядей. Я шагала им навстречу, воображая, что охраняю замок...

«Папа!» — сказала я и медленно перевела взгляд на большого-пребольшого дядю, что стоял с папой рядом. Это был тот, из купе с диванами, что дал мне пять копеек за мою последнюю черешню. Папин большой начальник, которого мы так боялись...

«А ты что здесь делаешь, девочка?» — спросил он.

«А это моя дочка, Саша!» — с гордостью сказал папа.

## Светлячки над могилой

В детстве я часто обижалась на сверстников: они меня дразнили и не принимали в свои игры. И испытывала горестное разочарование, глядя на некоторые поступки взрослых и выслушивая от них замечания. Наверное, у многих детей так происходит. Мне тогда казалось, что стоит мне повзрослеть и все мои горести закончатся, ведь я стану большой, самостоятельной и независимой. И никто не будет мне указывать, что делать и как себя вести.

Однако сейчас я понимаю, что именно из детства в мою память приходят и хранятся самые светлые и радостные дни, дни, полные тихого счастья первого осознания своей жизни. На что похожа эта осознанность?

Я представляла себя в виде фонаря, и люди для меня были в сущности своей фонарями, только разной формы и содержания. Готические фонари в стиле старой Англии, изящные ажурные плафоны с цветными стёклами, уличные фонари, освещающие по ночам ларьки, и величественные огни у драматического театра. Все они находились там, где им предписывала находиться их судьба: на городской шумной улице, в детском саду или на тихой парковой аллее. Судьба занесла меня в маленький деревенский парк на самую окраину, под крону старой развесистой берёзы. Я была незаметной долговязой конструкцией, только формой и ничем более. Но иногда со мной что-то происходило: я зажигалась изнутри и лучилась чистым ярким светом такой силы, что он стирал границы моей формы. Я вдруг переставала быть просто телом с его странными и одновременно привычными инстинктами. Я осознавала себя чем-то большим, чем тело из костей и мышц. Во мне обнаруживалось некое присутствие, которое древние люди называли душой! В такие моменты я задавала себе вопрос: а что способствует этому внутреннему возгора-

нию? И ответы приходили благодаря таким воспоминаниям, как это...

Одно из самых ярких... — светлячки над выкопанной могилой, они смешивались со звёздами на ночном небе, сплетались в узор, путая созвездия, словно играли с ними и переговаривались...

Мне было около двенадцати лет. Летом мы почти всем классом жили за деревней, в местечке под названием культастан, — отработывали школьную практику: на совхозном огороде пололи высокие, в человеческий рост сорняки на длиннющих, почти в километр грядках капусты, моркови и свёклы; косили траву для коров, которых выделил совхоз, чтобы у нас всегда было свежее молоко и кашу варили на молоке. И, конечно же, чудили, как только могут двенадцатилетние подростки. После работы толпой носились на речку купаться, устраивали вечерние посиделки, где наши вожакие — старшеклассники рассказывали занятные истории, а после отбоя устраивали разные каверзы и проказы.

Честно сказать, мне было не до проказ: я работала на огороде, как меня приучила бабушка, то есть не покладая рук — и выматывалась так, что после отбоя засыпала, как говорится, без задних ног, крепко и до побудки. Я и не вспомню, сколько раз ночью мне мазали щёки зубной пастой. Я всякий раз просыпалась: паста была холодной. Хотя одноклассница Лена убеждала всех, что долго грела зубную пасту под мышкой, но она равно была холодная, блин! Мне удалось избежать самой жуткой забавы — огненной балалайки. Это когда между пальцев ног тебе вставляют спички, затягивают ниточкой и поджигают. Я так боялась этого, что всегда ложилась спать в колготках.

После жаркого дня с его трудами на огороде мне постоянно хотелось спать. Но одноклассницы шумели, хихикали, шушукались о мальчиках, бегали по ночам на огород, завернувшись в белые простыни — играли с мальчишками в привидения. Несколько раз я уходила в палисадник и, укутавшись в одеяло, спала под кустами смородины до самого утра, благо ночи были тёплыми.

Но случилось так, что однажды в палисаднике меня поджидали девчонки, прознавшие, где я от них скрываюсь, и решившие снова подшутить надо мной: канавки между кустами

смородины оказались залиты водой. Уставшая, сонная, закутанная в одеяло, я не знала, куда деваться от хохота и визга одноклассников и ребят из старших групп. Я брела в темноте ночи почти наугад, стараясь уйти подальше от этого шума, пряталась за кустами от белых прыгающих теней, изредка душераздирающе вопящих: «Отдай сердце!». Незаметно для себя пересекла огород, аллеи с яблонями и незнамо как очутилась около кладбища. Оно, кстати, располагалось не так далеко от культстана, почти сразу за огородом.

Сейчас деревенское кладбище обнесено высоким забором из железной сетки, поставлены ворота для въезда машин. А тогда забора почти не было, большей частью кладбище ограждали кусты клёна и берёзового подлеска. Меня занесло именно туда, я пробралась сквозь кусты и через несколько шагов свалилась в неглубокую яму. Мне так хотелось спать, что я не стала выяснять, куда свалилась. Потыкалась в ровные стенки ямы и решила лечь тут же, плотно завернувшись в одеяло.

Заснула, как провалилась, сразу и крепко. Но неожиданно на самой маковке ночи проснулась, может, мне что-то приснилось-привиделось, но я будто сквозь сон услышала, как кто-то зовёт меня по имени. Я открыла глаза и увидела ночное небо. Вокруг, как парное молоко, разлилась тишина, я мгновенно её полюбила. Знала ли я до этой ночи, как эта тишина притягательна, какая она наполненная и объёмная?

На ночном небе светились звёзды, я сразу поняла, что с ними что-то не так. Часть звёзд отказывалась висеть на одном месте, они словно бы парили, медленно двигаясь и нарушая привычный порядок созвездий. Потом я поняла, что это совсем не звёзды, а светлячки, облако светлячков, парящих над моей ямой. У меня возникло необыкновенное и одновременно пугающее ощущение, что я не только тело, что я живу не в маленьком пространстве своей деревни, любимых заливных лугов и речного полесья, — пространство гораздо шире, неохватнее, и оно больше чем деревня, район, город и дальше, и выше, гораздо дальше и выше. Лучше и не объясню...

Я опять заснула и проспала до позднего утра. Не было слышно побудки, никто не стягивал с головы одеяло, никто не поливал из стакана водой. Я сейчас вспоминаю это сонное забытие и понимаю, что так крепко и сладко мне раньше не

доводилось спать. Но когда я проснулась, не сразу и поняла, где нахожусь. Выбралась из ямы и обнаружила, что ночные мытарства в поисках спокойного места для сна завели меня на кладбище, а моей ямой оказалась не до конца выкопанная могила...

И почему-то мне совсем не было страшно, я не испытала мистического ужаса, да я попросту и не знала тогда, что надо бояться и сторониться кладбища и могил. Я даже в какой-то мере была благодарна этой могиле за то, что она помогла мне так славно выспаться. Бодрая и полная сил, я побежала на культстан, в надежде перехватить в столовой хоть бутерброд с сыром на завтрак. У меня было странное, не поддающееся объяснению — «почему?», «откуда?» и «каким образом?» — ощущение, что этой ночью мой фонарь светился. С этим светом внутри я возвращалась в мир людей.

Меня и не искали: думали, что я убежала в деревню, домой. Но когда вожатый увидел меня с одеялом на плечах — быстро идущей на кухню, он спросил:

— Ну и где ты была?

— На кладбище! — честно ответила я.

У вожатого вытянулось лицо:

— Что ты там делала?

— Спала.

— Спала? Где?

— В могиле! — быстро ответила я и пошла в столовую, за бутербродом.

Надо ли говорить, что после этого обо мне по деревне поползли слухи, один другого мистичнее. Я же после этого случая стала частенько задавать себе один и тот же вопрос: а происходит ли с другими людьми что-то подобное? Зажигаются ли они от странных, неподвластных уму, необъяснимых озарений? И если зажигаются, то от чего? Что вообще зажигает нас изнутри: чувство, красота, судьбоносное событие?

Мне припомнилось, что и раньше со мной приключались такие светоносные моменты, но только после сна в могиле, после того как ум сумел ухватить это необыкновенное ощущение, я стала более внимательно наблюдать за всем, что происходит в моей жизни. И ожидать, ожидать того момента, когда мой фонарь снова зажжётся.

# Река и незабудки

(фрагмент из повести «Неземной цветок»)

## Поздняя осень

Неожиданно для себя я полюбила позднюю осень: низкое слезящееся небо, шуршащие ворохи опавшей листвы, покорное страдание деревьев. В этом милом для глаза пейзаже было столько тишины и раздумья, что оно было ближе и роднее шумного тщеславного лета.

Эти линиялые краски заставляли глубже взглядеться в мир, в себя.

Внутренним глубинным зрением я видела маленькую девочку у окна. Она смотрела на долгий скучный дождь, которому, казалось, не будет конца, и впервые в своей жизни грустила. Она не знала, что за этим дождём будет первый снег, который удивительно преобразит мир вокруг. И она скучала. Даже целлулоидная большеглазая кукла не могла развлечь.

Но каким нежным теплом манила в такие промозглые дни уютная комната! По оконным стёклам круглые сутки струился дождь. А в комнате пахло сладкими пирогами, и ждала толстая, растрёпанная книга сказок. И бабушка что-то рассказывала из своей прошлой, деревенской жизни, из своего далёкого, дореволюционного детства или про незнакомого Бога — Иисуса Христа, который молчаливо смотрел с иконы и казался таким непостижимым.

Но вечером приходили с работы родители. Бабушка торопливо прятала икону: «Не дай бог, увидят — заругают». Бабушке шел уже восьмой десяток, вообще-то, она была моей прабабушкой.

Она приехала в Уфу в конце 30-х годов с сыном, моим дедушкой, которого перевели сюда по службе, и с маленьким внуком — моим отцом, оставшимся без матери.

## Детство

Умывальник, крашенный синей или зелёной масляной краской, висел в тёмном углу, слева от узкой крутой лестницы, ведущей в полуподвальную кухню. На полочке над умывальником стояла круглая картонная коробочка с зубным порошком, зубные щётки и мыльница с куском дешёвого мыла. Висело мутное прямоугольное зеркальце. В него смотрелся отец во время бритья. А на боковой стене на крючке всегда белело свежее полотенце.

Если спуститься ниже, на две ступеньки, то мы попадали в просторную кухню, которую отец выстроил во время капитального ремонта дома. А до ремонта, прямо в крошечной прихожей громоздилась большая русская печь, которую топил дровами и на которой готовили. Над печкой были полаты, на которых спала бабушка.

На новой кухне под небольшим квадратным окошком, которое светило почти под самым потолком, стоял большой прямоугольный стол с толстыми резными ножками. За ним наша большая семья завтракала, обедала и ужинала. Этот стол сделал сам дед, как и два широких деревянных стула, напоминающих по своей ширине, кресла. И резной буфет с многочисленными дверками и полочками.

В верхней части буфета хранилась посуда, в ящиках — документы и всякий шурум-бурум. А в нижней — мамины выкройки и рисунки вышивок — она ходила на курсы кройки и шитья в Дом офицеров, сама шила нам платья и вышивала сквозное узорное ришелье, которое сдавала в комиссионку.

Одна из полок принадлежала мне. На ней я хранила свои заветные тетради со стихами и дневниковыми записями, которые вела с двенадцати лет. Свои тетрадки я засовывала подальше, к самой стене. Мне казалось, что так их можно спрятать от посторонних глаз. Но отец, как-то, будучи под хмельком, проговорился, и я узнала, что мать постоянно читает мои дневники. Он сказал: «Я никогда твои тетради не трогаю, а вот мать читает твой дневник». Меня словно палкой по голове ударили! Я-то воображала, что имею свой обособленный мирок, в который посторонним нет входа. А оказалось, что это не так. Да и отец себя облагородил. А на самом деле, как я узнала позже, он мои стихи, втайне от меня, носил

на работу и читал своим сослуживцам, и в мою школу, показывал их Афоне, нашей классной, которая вела русский язык и литературу, но, я уверена, ничего не понимала в поэзии. Помимо стихов, там были тетрадки с первыми опытами прозы, которая мне никак не давалась. Я начинала писать, но о чём писать дальше — не знала. Мои детские радости и горести были малозначительны. Их надо было увидеть на расстоянии, чтобы понять и описать. А этого чувства расстояния у меня тогда не было.

Отец работал художником-оформителем. Но, как и дед, бывший военный, полковник в отставке, писал картины маслом. Дед — портреты, а отец делал копии с картин великих художников и пробовал работать самостоятельно. У меня хранится незаконченный им портрет молодой матери с чёрными, распущёнными по плечам волосами, с серьёзным взглядом синих, почти васильковых глаз. Все свои картины отец раздаривал друзьям и соседям, а мать его постоянно за это ругала. Сколько помню себя, столько помню картины, которые висели в зале, так мы называли главную общую комнату в нашей небольшой квартире. Помимо зала, были три крошечные спальни.

С раннего детства я привыкла к резковатому запаху масляных красок, к картинам. У нас было много книг по искусству. Я любила прикорнуть в тихом уголке с тяжёлой книгой на коленях. Читать я тогда не умела, но подолгу, с интересом, разглядывала репродукции с картин известных художников. Они будили мою фантазию, я получала первые уроки добра и зла, вечного и сиюминутного. Они первые рассказали мне о красоте нашей русской природы, показали, что в каждом уголке нашего мира таится отблеск Божественной Вечности, будь это запущенный уголок старого сада или затянутый рясской пруд в Домотканово, с плавающими белыми лилиями у потемневших от времени мостков.

Но больше всего я любила картину Фёдора Васильева, талантливого художника, умершего совсем молодым. Называлась она «Оттепель». Копия, выполненная моим отцом, висела на стене нашей квартиры с того самого времени, как я помнила себя. На ней была изображена чёрная, подтаявшая дорога. В начале дороги стояли, взявшись за руки, дед и внуч-



ка — ребёнок, вступающий в жизнь, и старик, заканчивающий свой путь. Они смотрели вдаль. Каждый из них думал о своём. Эта картина была очень грустной. Но она так верно передавала переломное настроение природы и человека, что трудно было оторвать взгляд, и я подолгу смотрела на неё, тогда не понимая заложенного в ней смысла, чувствуя только настроение.

Рядом с ней висели копии картин «Дети, убегающие от грозы» Константина Маковского и «Грачи прилетели» Алексея Саврасова.

А пониже картин, овальный барельеф — золочёный профиль курчавого Пушкина.

\* \* \*

«Я маленькой была.  
А рой огней дрожащих  
светился и мерцал  
в морозной дымной мгле...»

Когда я научилась читать, отец принёс мне красивую толстую книгу «Волшебные сказки». Я осторожно, с благоговением, перелистывала белоснежные страницы, рассматривала цветные иллюстрации. Эта книга запомнилась мне на всю жизнь.

Но интерес к чтению у меня зародился намного раньше. С нами в ту пору жил дед. У него была большая, хорошая библиотека. На самой верхней полке книжного шкафа стояло собрание сочинений Аркадия Гайдара. Когда дома никого не было, я забиралась на стул и подолгу разглядывала переплёты сливочного цвета. Рассказы Гайдара подарили мне необыкновенно светлый чистый мир его героев. Особенно я любила рассказ «Голубая чашка».

Главное место в моей жизни занимала поэзия. Первой книжкой взрослых стихов, которая попала в мои руки, был томик стихов Лермонтова. Его порекомендовали мне в детской городской библиотеке, которую я посещала с первого класса. С томиком Лермонтова прошли мои отроческие годы. Многие его стихи я знала наизусть. Зимой темнело рано. Приготовив уроки, я выходила погулять. С нашей улицы Тукаева была хорошо видна гора, усыпанная огнями Старой Уфы. Я тогда не предполагала, что когда-нибудь на этой горе

вырастут современные девятиэтажки и я буду там жить. Я просто любовалась этими огнями. Небо было чистое, морозное. Вверху, над моей головой, светилось множество ярких звёзд. И всегда в эти минуты вспоминались стихи Лермонтова:

«Вверху одна  
горит звезда.  
Мой взор она  
Манит всегда.  
Мои мечты  
она влечёт.  
И с высоты  
Меня зовёт».

## Художник

В один из летних дней в нашем дворе появился настоящий художник. Он установил посреди двора этюдник, сел на раскладной стульчик, достал краски и начал делать наброски мечети.

Тут же сбежались наши любопытные, как дети, соседи и стали наперебой, возбуждённо, ему рассказывать, что в нашем дворе тоже живёт художник, и он тоже нарисовал мечеть!

Особенно старался Картатай, высокий худошавый старик в тубетейке, который жил в доме напротив, на втором этаже. Он сбегал домой, принёс картину отца и стал ему показывать:

— Вот, смотри, смотри!..

Но художник с ленцой, высокомерно, глянул на картинку и сказал с насмешкой, что это вовсе не художник. Композиция неправильно построена. И какие-то там недостатки в работе выявил. Но Картатай не унимался:

— Художник, художник... Смотри, как хорошо мечеть нарисовал!..

Потом замолк, озадаченный и обиженный...

Я стояла за спиной художника, в толпе соседей, краска жгучего мучительного стыда захлестнула лицо. Я была готова провалиться сквозь землю. Оказывается, мой отец вовсе не художник. Где та грань, которая разделяет профессионализм и любительство?

Позже мой отец окончил худграф Нижнетагильского пединститута и стал работать главным художником Комбината торговой рекламы. Руководство его ценило, посылало в загранкомандировки. Но он перестал писать картины. А в тех, что иногда писались, уже не было прежней свежести и эмоциональности. Они не затрагивали душу, хотя теперь отец знал законы живописи.

Что за художник тогда, в детстве, приходил в наш двор, я теперь никогда не узнаю. А жаль! Хотелось бы посмотреть на картину, которую он написал в тот день в нашем дворе.

## Река и незабудки

Отец был заядлым рыбаком. Летом он ловил карасей в расположенных поблизости от Уфы озёрах. Возвращался всегда с хорошим уловом. Выпускал в таз с водой серебряных рыбок. Некоторые были живые, и плавали в воде, другие — широко открывали свои крошечные ротики — ловили воздух. А про остальных отец говорил — уснули.

Возвращался всегда в хорошем настроении, с букетом полевых цветов, которые пахли солнцем и ветром, или с букетом мокрых кувшинок и лилий. Иногда привозил бархатистые коричневые камыши.

Мы не ездили на море. Каждый отпуск мы проводили в палатках где-нибудь на берегу Уфимки, Дёмы, Белой. Или около озера. С нами обычно отдыхали две-три семьи ближайших друзей и сотрудников отца. Дядя Лёша Полторацкий жил в Пугачёвской слободе, у него была моторная лодка. На ней мы добирались до выбранного для отдыха места. А иногда на резиновых надувных.

Главным занятием мужчин была рыбалка, а женщины готовили на кострах еду и присматривали за нами, детьми.

В этих безлюдных местах мне особенно нравилась тишина летних вечеров. Я часто сидела на берегу реки, в сгущающихся сумерках, слушала реку. Вода казалась зелёной, в нейплыли отражения деревьев с противоположного берега. А где-то вдаль, на высокой горе, золотились огни нашего города. Было тихо, лишь шелестела вода, проплывающая мимо.

Однажды, в 1962 году, мы чуть не утонули в реке Белой,

возвращаясь домой на моторной лодке. Уже была видна Уфа, мы были почти дома. Неожиданно началась страшная гроза. А наша лодка была на середине реки. Мы, дети, не особенно осознавали опасность момента, ведь с нами были всемогущие взрослые — папы и мамы. Но дядя Лёша, когда мы причалили к берегу, сказал угрюмо:

— Я думал, что мы не доберёмся до берега.

В двенадцать лет я самостоятельно научилась грести. Это произошло, когда мы гостили на кордоне Козарез, у родственников бабы Стеши.

Я помню озеро Чёрное, оно было узкое и длинное — извивалось, как змея. И походило на реку. Но у берегов рос камыш, а в воде солнечные жёлтые кувшинки и атласные белые лилии с круглыми зелёными листьями. На том озере я училась грести. Садилась в резиновую лодку, брала вёсла: вначале меня мотало от берега к берегу, но потом лодка стала меня слушаться.

Я любила прогулки по лесу. Когда ранним росистым утром, совсем сонные, мы шли по лесной дороге, то из всех укромных уголков выглядывали мелкие глазастые незабудки. Такой чистой небесной сини я не видела никогда. Нет ничего трогательнее на земле этих цветов. И рвать их жалко. Одно желание в душе — смотреть на них.

## Старый каретник

Я не ходила в детский сад, и вольное детство способствовало развитию моей души. Во дворах росли сирень и черёмуха. Весной все эти деревья разом цвели, а с Белой по всей улице плыл дурманящий воздух весны. Прямо под нашими окнами пестрели цветы, на грядках зрели покрытые нежным пушком огурчики, на кустах лениво краснели помидоры. Со всех сторон наш двор, как тиски, сжимали чужие сады. Забор был деревянный, из старых досок. Между досками были прорехи, в которые нет-нет да просовывала свою ветку любопытная вишня или смородина. А с яблонь перезревшие яблоки сами сыпались к нам в подол.

Мы любили забираться на крытую толем, напоминающую своим видом татарскую смородиновую листовую пасту-

лу, крышу сарая. Рядом с сараем росла старая липа, она давала тень и прятала нас от взрослых глаз. В этом укромном уголке мы грызли краснобокие ранетки, разглядывали чужой сад, в котором вызывало интерес, даже старые тазики и лейки, брошенные рядом с грядками. Мы знали, что там живут две девочки, наши ровесницы. Одну из них зовут Валя, а другую — Виолетта.

В глубине двора, в самой глухой его части, под горкой, стояли высокие добротные каретники, возможно, дореволюционной постройки. В наше время эти каретники были поделены на отсеки, и в них хранились дрова. А у моей подруги Тайки в каретнике стояли высокие фанерные ящики, набитые до отказа небольшими по размеру гипсовыми статуэтками и фрагментами скульптур. старший брат Альберт в молодости учился на скульптора, но запил и стал простым слесарем. А его ученические работы пылились в сарае. Статуэтки были изящные и гладкие, для меня это было первым прикосновением к искусству.

Потом их вынесли на улицу. Многие статуэтки побились и теперь являли собой памятник разбитых надежд. Почему многие мечты не сбываются? Наверное, впервые я задала себе этот вопрос, стоя около фанерных ящиков с разбитыми скульптурами.

## Тайка: как в лучших домах Филадельфии...

Посреди нашего двора, рядышком, стояли три старых тополя. По их крепким кряжистым стволам можно было легко забраться наверх, до первой развилки. Почему-то в детстве нас всегда тянуло куда-то вверх: на крыши домов, сараев, на деревья. Главной выдумщицей была Тайка. Она была старше нас на четыре года. Меня всегда удивляла бойкая неистощимая фантазия, и я ей втайне завидовала. Мне казалось, что я сама ни за что не смогу такое придумать. Она выходила на улицу, тоненькая и грациозная, оглядывалась по сторонам и, не приметив ничего более интересного, подходила к нам. И начиналась игра. Перевернутые веточки деревьев или цве-

ты становились у нас принцессами в пышных платьях. Прямо на песочнице или под тополями разыгрывались настоящие любовные драмы. А мы от восторга замирали. Принцессы влюблялись в простолюдинов, а их выдавали замуж за принцев соседних королевств, и они страдали. А потом им помогала добрая волшебница.

С Тайкой всегда было интересно. Может, потому что она была старше меня? Её идеалом был мой рано погибший дядя Юра. Тайка тоже мечтала стать геологом, как он. Бывая у нас дома, она всегда просила показать его фотокарточку, подолгу вглядывалась в мужественное бородатое лицо и весёлые добрые глаза.

У меня осталось несколько открыток, присланных мне, десятикласснице, из Сибири, куда Тайка после окончания школы поехала работать в геологическую партию. Она писала: «Светик! Как твои дела? Пиши на Тюмень, а я вообще-то сейчас в «поле», плывём с «поля», стоим в Тобольске. 10-го сентября буду дома. Тобольск — старинный город, здесь построен кремль на горе. Церквей до чёрта. Самый первый русский город в Сибири. Пока, С пр. Т.М.»

От неё я впервые услышала про Салехард, о народе ханты-манси. Потом она вернулась домой, мать напекла горы чак-чака и баурсака, это стояло в комнате на отдельном столе, накрытом вышитыми белыми полотенцами. Мы с Тайкой ели баурсак и тайком, пока никого не было дома, курили в печную вытяжку. Потом она, довольная, обронила свою любимую в то время поговорку: «Как в лучших домах Филадельфии», и мы пошли гулять. Спустились по нашей улице к монументу Дружбы, прошли мостик через Сутолоку и свернули к церкви на пригорке. Я никогда не была в церкви и предложила ей: «Давай зайдём?» Она легко согласилась, хотя была башкиркой. Мы переступили порог, в церкви было темно. К нам подошла пожилая женщина и сказала, что служба уже закончилась. Но скоро привезут старушку отпевать. И мы зачем-то остались. Отпевание произвело на нас тяжёлое впечатление. Особенно на Тайку. Вскоре умер её отец. И она всегда говорила, что тогда, в церкви, она, вероятно, испытала предчувствие скорой смерти своего отца.

Той же осенью она поступила в университет и, окончив его, стала работать в геологическом НИИ.

## Чердак

Когда мне хотелось побыть одной, я забиралась на чердак.

Там было темно. Лишь в кривые щели меж старых досок пробивались узенькие, горячие полоски света и ложились ровными линиями на земляной пол, расчерчивая его по диагонали.

В маленькое запыленное оконце свет с улицы почти не проникал. Но тянула свои ветки старая черемуха, и можно было прямо оттуда рвать темные спелые ягоды и есть.

Там было душно от низкой, прогретой беспощадным июльским солнцем крыши.

Там было много пыли.

И я чихала.

Но там было тихо. И главное, никому не пришло бы в голову искать меня в этом месте.

На чердак годами складывали старые, ненужные вещи. Вещи, которые было жаль выбрасывать. И поэтому чердак смело можно было назвать музеем моей семьи.

В углу на полках какого-то доисторического шкафа лежали старые книги, учебники и тетради всех поколений, начиная с предвоенных лет.

Были там и мои первые школьные тетрадки со старательно выведенными перьевой ручкой кривоватыми палочками, крючочками, а затем и буквами. Мои первые учебники «Букварь», «Родная речь», с картинками, которые я запомнила навсегда.

И там, в этой свалке, я нашла книги по незнакомым мне предметам — логике, психологии. Эти школьные учебники принадлежали дяде Юре — тогда, в послевоенные годы, учились по другой программе.

И томик Пушкина в бордовой тканевой обложке, с замечательными иллюстрациями. Я запомнила одну из них: темноволосая девушка в белом платье стоит у высокого окна и с задумчивым видом что-то чертит на стекле. Эти две буквы, «Е» и «О», на запотевшем от домашнего тепла зимнем окне будоражили воображение. Я стала листать книгу, и мне захотелось узнать хоть что-то о жизни этой девушки, которой было так грустно в тот зимний вечер. И я нашла роман в стихах, который назывался «Евгений Онегин».

Это была моя первая, такая необычная, встреча с Пушкиным. Мне было лет десять-тринадцать.

Как туда попал этот томик? Наверное, его вынесли, нечаянно прихватив вместе со старыми, ненужными учебниками.

Ведь дома у нас была хорошая библиотека, и там был другой Пушкин, парадный. Но к тому изданию у меня не было такого притяжения. С ним надо было аккуратно обращаться, бережно переворачивать страницы, не пачкать, не ронять.

А этот был «свой», и я читала его взахлеб. Судя по дате издания, этот Пушкин тоже принадлежал дяде Юре. Как раз в тот год они должны были проходить его по школьной программе.

Но дяди Юры давно нет. Он погиб молодым, ему не было и тридцати: перевернулся грузовик, когда их геологическая партия возвращалась с поля.

Дядя Юра тоже вырос в этом доме. Он был младшим сводным братом моего отца.

Отец рос с мачехой, Варварой Степановной, медсестрой, бывшей фронтовичкой. Она курила «Беломор» и была прямолинейна.

Но прабабушка, бабуся, как мы, дети, ее называли, недолюбливала невестку. Она рассказывала, как Варвара Степановна в тяжелое послевоенное время пекла большие, обсыпанные сладким сахаром плюшки и прятала их от бабушки в старый сундук. Угощала ими только свою многочисленную родню, часто гостившую в доме. А когда отец принес домой редкие в то время, особого качества валенки, тоненькие и белые, очень нарядные, и подарил их матери, то Варвара Степановна изрезала эти валенки втихаря острой бритвой, чтобы они никому не достались.

Но на работе ее ценили и уважали, она была хорошим специалистом и старалась всем помочь. С дедом они часто и бурно ссорились. И в конце концов развелись.

Как-то, совсем недавно, мать сказала: та ему изменила, а он не сумел простить.

Дед и Варвара Степановна развелись, но она оставила фамилию мужа и продолжала жить в нашей квартире, в маленькой боковой комнатухе с окном в сад. Помнится, в то время она все читала роман Дюма «Граф Монте-Кристо». И толстая книга с закладкой валялась то на ее кровати, то на столе.



Она долго ждала, но дед к ней не вернулся.

В доме отдыха он познакомился с дородной простоватой женщиной, намного моложе его. Она родила ему двоих детей. С военной службы он к тому времени ушел на пенсию, его назначили директором ремесленного училища. И при училище дали квартиру, большую и удобную. И он съехал от нас.

... Все эти семейные истории невольно вспоминались на чердаке.

Но больше всего мне нравилось просто смотреть в чердачное окошко.

Из него была видна река Белая, густо зеленеющий лес на противоположном берегу и далекая туманно-голубая линия горизонта...

Я помнила, как мы сажали картошку за рекой. Вехой были стоящие рядом три дерева. За этими деревьями было наше поле. Мы туда ездили с отцом на велосипеде, пересекая реку по плашкоутному мосту. Велосипед постоянно подпрыгивал, а мне казалось, что у меня от страха вот-вот выпрыгнет сердце. Ведь внизу, под этим хлипким мостом, плескалась глубокая река.

Однажды нас застала гроза, и мы до нитки промокли. Но дожди раньше были совсем другими — теплыми, бурными, и вода на асфальте быстро испарялась.

Все это мне вспоминалось, когда я смотрела в запыленное чердачное окошко на далекую, туманную линию горизонта.

В детстве я всегда думала: а что там дальше, за горизонтом?

В ту пору я еще не знала, что дальше ничего особенного нет.

## Зима

Зима. Сказочное время. А снега тогда наметало выше заборов. Алька со своими родителями жила на окраине городка. Напротив их дома был стадион. Сугробы громоздились выше человеческого роста. Алька натягивала ватное пальтишко, старенькие подшитые валенки, укутывалась шалью, на руки вязаные рукавички, и на улицу! И мороз не страшен. Они с ребятами рыли в снегу огромные норы и прятались в них. В норке было тепло, ветер туда не проникал. Выходила мама, звала Альку к обеду и тихонько выговаривала:

— Не забирайтесь в эти норы. Снег обвалится, засыплет вас.

Но Альке это было непонятно. Почему снег должен осыпаться? Как? Ведь он такой толстый и плотный. Ребята лопатами рыли норы. Алька тоже пыталась помочь, и скребла руками. Но рукавички быстро намокали, и руки зябли. Тогда она забиралась в пещеру и, согревшись, начинала дремать. И снилась ей волшебная фея, которая прилетала к ней и напевала чудесную песенку. Кто-то из ребят начинал толкать ее:

— Не спи! Нельзя на морозе спать. Замерзнешь.

Алька обиженно бормотала:

— Я не сплю. Не замерзну. Тут вон как тепло.

Глаза ее сами по себе закрывались, и хотелось спать. Но старшая сестра уже сердито тормозила ее и тащила домой.

— Не хочу домой, я гулять хочу.

— Не хнычь, — сердилась сестра. — Вон, уже и нос посинел. Смотри, как ты замерзла.

— Ничего я не замерзла, — продолжала канючить Алька. Но сестра уже не слушала ее и тащила домой.

Дома раздевались, вешали мокрое белье за печкой, чтобы просохло. Мама затапливала лежанку, и они все вместе уса-

живались у печи и долго-долго смотрели на огонь и слушали треск сгорающих поленьев. Порой в горячей золе они пекли картошку. Когда дрова прогорали, дети забирались на теплую лежанку и слушали, как мама поет им песни. Иногда она рассказывала разные истории.

А на крещение они гадали. Зажигали комочек бумаги, а потом смотрели на тень от сгоревшего комка. Если увидишь гроб — это к смерти близких. А если карету — к богатству. Чаще они видели карету, но богаче жить не начинали. Так и жили в нищете.

Зимой на сугробы ночью частенько усаживались волки и, видимо, высматривали себе добычу. Как-то мама возвращалась домой поздно. Вбежала, запыхавшись, в дом, и позвала нас:

— Смотрите, вон на бугре волки.

Алька глянула в окно. На сугробе, что высился поверх забора, сидела стая волков. Глаза их горели. Алька даже вздрогнула и ойкнула.

— Не бойтесь. Они нас здесь не тронут. Всю дорогу меня преследовали. Но наброситься не решились. К санкам сзади веревка привязана, а у пояса бидончик бренчал. А у дома на бугор вот уселись. Ишь, как глаза-то горят. Думала, уж разорвут.

Подрастала Алька. Часто вечерами с сестрой они прикручивали палочкой по одному коньку и пытались научиться кататься. Каждый день они бегали на горку за театром у реки Ворожа и на больших санях гурьбой съезжали вниз до самого берега. Здесь собирались ребятишки со всей улицы. Весело было. Визг, писк...

Как-то на горку пришел Стас, парень с другой улицы, с двумя огромными волкодавами. Видя, что Алька боится собак, он вдруг нарочно науськал:

— Взять ее!

Собака бросилась на испуганную Альку и с маху повалила на землю. Алька уткнулась лицом в снег и отчаянно закричала.

— Ты чего делаешь? Обалдел, что ли? — возмутились ребята.

Стаса недолюбливали, и не потому, что он с другой улицы, просто он еще и задавака. На Алькиной улице жили в ос-

новном многодетные бедные семьи. А у Стаса — богатый дом. И жили они зажиточно, богато. Вот и смотрел он на всех свысока.

Стаса в тот день ребята прогнали с горки:

— Чего ребенка пугаешь?

И все же зима была волшебным временем года. И морозы были не страшные.

Потом Алька подросла и пошла в школу. Вскоре она научилась кататься на лыжах. И с горки все уже съезжали на них. А в старших классах их водили на крутой берег реки Мологи, и они лихо спускались вниз.

Вначале Альке было очень страшно, сердце замирало от страха. А внизу еще и трамплин... Но отважившись однажды, Алька уже не боялась и трамплина.

Как-то в морозный солнечный денек поехали они в лес. Девочки должны были пройти два километра, а мальчики пять. Алька бежала впереди всех. Окрыленная успехом, она не заметила поворота и промчалась дальше. Едет, едет, а уже ни впереди, ни сзади никого нет. Лыжня ведет все прямо и прямо. Вдруг слышит, вроде в стороне как коза блеет. Алька свернула по целине в лес, глядь, а там коза.

— Значит, рядом селение? — подумала она. Прихватила за веревочку козу и отправилась вперед.

Впереди действительно показалось селение. Алька зашла в крайнюю избушку. Вышла старушка, услышав голос козы:

— Ах ты, беглянка! Ты где ж была?

— Да вот, в лесу нашла, — ответила Алька. — А это что за деревня? До города далеко?

— У-у, милая. До города двадцать километров.

— Ничего себе! — подумала Алька.

Бабулька помогла сесть Альке на попутку, и та благополучно добралась до города. А вот в классе все были обеспокоены, особенно преподаватель физкультуры. И долго еще прочесывали лес. Они и не думали, что девчонка умчит так далеко. Но назад вернулись ни с чем.

Алька, ни о чем не думая, спокойно спала дома, и снилось ей, как она всех обогнала и пришла на финиш первой.

## Явление верблюда...

— Ты начинай с главного...Что у верблюда главное? Ну, что отличает его от всех? Горб! Нарисуй его, попробуй...

Художница Нина говорит со мной шепотом. Потому что мы сидим на летучке. Летучки на телестудии проходят так же часто, как планерки. А меня, начинающую первоклассницу, не с кем оставить. Мама, телеведущая, едет на передачу, у папы, военного, — ночные полеты. Уроки я сделала еще до летучки. И теперь притулилась рядом с Ниной, которая рисует мой очередной портрет. Если бы не Нина, детских портретов у меня бы не было.

Я пытаюсь рисовать верблюда, пока главный редактор, товарищ Велиев, распекает творческий коллектив.

— Я вам еще раз говорю, нельзя так безответственно поступать! Вы сняли диетическую столовую и сказали, что там творог не свежий! А мне позвонила заведующая и сказала, что там никогда не бывает творога! Слышите? Никогда! И кто в этом виноват?

— Пищеторг, наверное, — сказал кто-то из корреспондентов...

— Нет! Не пищеторг! Это вы виноваты, вы все! Потому что надо проверять, пробовать творог или что там, — товарищ Велиев самозабвенно углубился в процесс.

— Ну вот, теперь веди линию влево и увидишь, как у верблюда появляется шея. Потом над головой будем работать.

— А пусть Дима голову нарисует, у меня не получается...

Дима тоже художник. На телестудии их два. Дима очень высокий и красивый, он может нарисовать кота, не отрывая руки от бумаги, одной линией. А я потом пририсовываю усы. Но верблюд — это, конечно, другое. Когда Нина встречается взглядом с Димой, она всегда немного краснеет. А недавно у нее в ящике рабочего стола завелось зеркало. Она тайком

смотрится в него и поправляет хвостик или челку. Я очень переживаю за Нину. Она едва заметно хромает и очень стесняется этого. Но всё равно красивая...

— Кто за что — прошу голосовать, — предлагает товарищ Велиев: видимо дело далеко зашло. Дружный коллектив, не вдаваясь в подробности, голосует и разбегается по местам.

— Нина, ничего, если она у вас побудет? Мне надо тут еще дописать концовку...

Это мама пытается соблюсти политес. На самом деле я на студии своя, и все отделы давно смирились с моим присутствием.

Вчера, например, я была на монтаже. Там работают тетя Рая и тетя Роза. Но главное — там стоит третий стол. Он завален старыми пленками и у меня есть возможность научиться этому ответственному ремеслу. Вытаскиваешь огромный рулон из металлической коробки, надеваешь его на катушку, приматываешь второй конец к другой катушке. Потом вращаешь ручку, и пленка перетекает из одного рулона в другой. А ты ее проверяешь. Если есть какой-нибудь разрыв или шероховатость, выкладываешь на маленький верстачок, зажимаешь с двух сторон, специальным резакотом отрезаешь, зачищаешь края, мажешь клеем и прижимаешь. Все! Потом эту склейку не отодрать. В монтажной очень интересно и весело, только пыльно...

А сегодня я у художников. Они рисуют заставки с названиями сюжетов. Дима подмигивает мне и дорисовывает «о» в слове «Погода». Буковки у него ровные, у меня такие никогда не получаются. Еще в углу стоит вертушка. На ней нарисованы кружочки, а сзади ручка. Если ручку крутить, кружочки разбегаются. Это Дима придумал так изображать телевизионный сигнал. В центре поместили телевышку и все вместе сняли. Такая заставка и шла перед началом новостей.

Нина рисует каспийские волны и чаек. Это для литературной странички. Волны получаются, как настоящие, барашками. У художников светло, много картона и бумаги, пахнет краской. Иногда Нина открывает ящик стола и смотрится в зеркальце...

Верблюды мне надоел. Горб нарисовать легко, но вы попробуйте изобразить верблюжью голову! Поэтому я беру чайник и отправляюсь за водой. Сразу после летучки Дима сообщил

мне, что ходил в магазин и купил халву. Теперь моя задача сходить к машинисткам и стрелкнуть у них заварки. Если придет Дима, ему уже не дадут. Даже в обмен на кусочек халвы. Потому что чай он покупать всегда забывает, а потом побирается. На этот раз побираться иду я, ребенку никто не откажет.

Захожу в машбюро и настроение поднимается: Аглен на месте. Она стучит по клавишам с космической скоростью. Кивает мне — и продолжает стучать, как из пулемета. Аглен набирает текст для передачи на казахском языке. Она носит плюшевый жилет, расшитый бисером, и платок, который повязан вокруг головы. До сих пор не знаю, каким способом казашки это делают. Сколько раз сама пыталась, получается бандана. А у них платок впереди крепится жестко и напоминает кокошник.

— А мы будем вышивать? — спрашиваю я знаменитую на всю редакцию рукодельницу.

— Обязательно, закончу и сразу тебя позову...

Вторая машинистка, Гульнара, пока свободна. Она туркменка, и платок у нее покрывает голову безо всяких узлов и завязок. Просто ниспадает. Платок Павлово-Посадский. Но я всю жизнь называю его туркменским, по привычке. Гульнара добрая. Пока она поливает цветы, я беру листок бумаги, сворачиваю кулек и уже собираюсь попросить немного чаю. В это время в машбюро влетает со своими текстами третья машинистка, Татьяна.

— Ты ж посмотри, опять ребенка за чаем прислал! Димка! Думаешь, я не понимаю твоей стратегии?! Халву тащи!

Гульнара тем временем насыпает мне в кулек чаю, и я убегаю за водой. Чайник большой и тяжелый, а вода на первом этаже. Когда я, наконец, взбираюсь с водой и заваркой снова к художникам, вижу в студии главного редактора и очень модную девушку в очках.

— Я хочу представить вам коллегу, художника Аллу Тарновскую, — говорит товарищ Велиев. — Она закончила институт в Ленинграде и приехала к нам, теперь будет здесь работать...

Алла была хороша собой и носила невиданную тогда в Туркмении вещь: брючный костюм. Еще у нее были туфли на высоком каблуке и маленькая разноцветная сумочка. Как

раз такую недавно я видела в одном французском кино. Главред Велиев ушел. Алла улыбнулась, медленно обошла студию и остановилась прямо перед Димой.

— Ну что, давай, показывай, где у вас тут обедают, — сказала она как-то лениво и, не оглядываясь, пошла к двери.

Дима, бросив букву «а» в слове «погода», как-то подскочил и побежал вприпрыжку к вешалке за пальто...

Нина с каменным лицом дорисовывала барашка на каспийской волне. На шее у нее появились красные пятна. Она молча встала, взяла у меня чайник и включила его в розетку.

Мне эта Алла сразу не понравилась. Зачем она куда-то увела нашего Диму? Мы всегда его кормим прямо здесь, за разрисованным столом. Аглен говорит, что стол этот старинный, его на помойке нашли. Стол кто-то выкинул, а Нина сказала, что он из хорошего дерева. Они с Димой его отмывали долго какой-то жидкостью, чистили и красили. Получился весёлый такой столик. Мы с мамой специально для него клеенку покупали. Дима потом притащил смешной сервиз, который купил у какого-то мастера. Керамические тарелки были разрисованы весёлыми верблюдами. Нам с Ниной очень нравилось. Мы клали на них бутерброды и резали салат. Во время обеда Дима рассказывал нам смешные истории, а потом Нина учила со мной стихи, которые задавали в школе.

На этот раз мы с Ниной обедали вдвоем. Она сидела в задумчивости и крутила в руках вилку. В это время к нам заглянула Аглен:

— Ну что, пообедала? Пойдем, покажу тебе, как вышивают...

Я пошла в машбюро. Теперь Гульнара там строчила на машинке, как из пулемета. Это означало, что новости на туркменском языке уже готовы, скоро подойдут на русском. Потом девушки все будут печатать сценарии больших программ. Аглен вытащила из стола блюдо с белым бисером и фрагменты вырезанных из плотной бумаги орнаментов.

— Вот смотри: крепишь булавкой орнамент на ткани и обшиваешь его бисером...

Аглен села, взяла иглу и одним движением нацепила на нее из блюдечка целую кучку бусинок. Потом еще и еще. Красивая загогулина, которая только что лежала на бархате куском бумаги, превратилась в бисерный узор.



— Иди, попробуй, — предложила она мне, достав из ящика лоскуток.

Я взяла иголку, ткнула ее в блюдо и смогла поймать только одну бусинку. Затем долго ее прилаживала к лоскутку. В это время в машбюро зашла Алла. Она холодно окинула взглядом машинисток, взяла со стола папку, которая формировалась специально для художников, и не сказав ни слова, вышла.

Аглен продолжала творить чудеса, но настроение в машбюро как-то испортилось. Я взяла свой лоскуток и пошла к маме, в надежде, что она закончила свою программу — и мы пойдем домой.

По дороге я встретила Нину. Она шла, прихрамывая чуть больше обычного, верный признак того, что нервничает. В руках у нее было несколько картонок с иллюстрациями. Она шла с ними к большому баку, куда художники выбрасывали неудачные работы. Не глядя, выкинула туда несколько своих рисунков и маленькое зеркальце.

Мама уже была готова и искала меня. Мы пошли домой. Я рассказала ей про новую художницу Аллу и про то, как расстроилась Нина.

— Ничего, они подружатся, — сказала мама. — Ты завтра после школы за мной заходи. Заберем папу и будем принимать гостей.

Оказалось, что за нами зайдет старинный папин приятель. Его называли красивым непонятным словом: кавторанг. К первому классу я уже научилась разбираться в армейских воинских званиях. А вот иерархия военных моряков была мне недоступна. Потом мне папа объяснил, что кавторанг по-морскому — это капитан второго ранга, а по-нашему — подполковник. Кавторанга звали Алексей Николаевич, а фамилия у него была Заборчик. Наши машинистки считали, что он в свои 35 не был женат именно потому, что становиться мадам Заборчик не соглашалась ни одна девушка.

Но мы, дети телестудии (а я там обитала не одна), очень его любили. Он был бравым, добрым и красивым. Время от времени его приглашали на какие-то передачи. И тогда он обязательно переодевался в костюм, чтобы никто не догадался, что он военный моряк. Это был большой секрет. А главное — Алексей Заборчик часто ездил в командировки в Баку

и всегда привозил нам настоящую пахлаву.

Но тот вечер мне было не до кавторангов, я очень переживала из-за Нины. Мне казалось ужасно несправедливым, что Дима пренебрег нашими обеденными традициями и ринулся за красоткой Аллой, которая мне так не понравилась.

На следующий день я еле высидела уроки. Вскочила со звонком, схватила ранец и побежала на студию, прямо к художникам. Дима рисовал заставку к самодеятельному спектаклю, а Алла стояла у Нины за спиной и смотрела, как она работает.

— А ты ничего, не бездарная, — изрекла Алла — Есть проблемы с перспективой, а так вполне...

Нина аккуратно вытерла кисть и сказала мне:

— Пошли, чаю купим, а то сегодня допоздна работать.

Но меня позвала мама. Папа с кавторангом Заборчиком уже сидели у нее в кабинете и ждали меня, чтобы идти домой.

И тут у меня возник план. Я побежала назад к художникам, взяла за руку Аллу и церемонно сказала:

— Мы приглашаем Вас в гости. Пойдемте, я по дороге покажу вам город...

Нина от неожиданности уронила почти готовую заставку. Алла, глядя поверх моей головы, томно сказала:

— Спасибо, чудный ребенок, пожалуй, я соглашусь...

Мама с папой с удивлением наблюдали за этой сценой, а кавторанг Заборчик галантно подал Алле плащ. Не глядя на растерянного Диму, Алла взяла Заборчика под руку и пошла с нами. Дома мы накрывали на стол, а Алексей Николаевич пел под гитару романс «Гори, гори, моя звезда». Алла сидела молча и потягивала болгарский коньяк. Прищурившись, она изучала мой портрет, нарисованный Ниной на одной из ленточек.

— Вполне сносная работа, — вынесла свой вердикт ново-явленная художница. — У Нинки с перспективой проблема, а так ничего, для такой студии, сойдет...

Вечер пролетел быстро, Алла засобиравалась домой, и Заборчик пошел ее провожать.

— Зачем ты это сделала? — едва удерживаясь от смеха, спросила мама.

— А я ничего не делала, просто Аллу в гости пригласила, — ответила я, глядя абсолютно чистыми глазами.

— Перспективу увидела, — засмеялся папа...

В конце недели мы с мамой должны были поехать на телецентр. У нее была передача в прямом эфире. А у папы, как всегда, ночные полеты. Телецентр находился в часе езды от города, там, где уже начиналась пустыня. Я ездить с мамой на передачи не любила: уставала от дороги и от того, что уроки приходилось делать в дикторской. Это было очень неудобно: там собирались дикторы, режиссеры, гости. Они все говорили, причесывались и красились. А потому я математику решила сделать еще на студии, до отъезда. Лучшим местом для изучения наук считалась монтажная, где был свободный стол.

Но любопытство не давало мне покоя. И я пошла к художникам. Они работали в прежнем составе: Дима и Нина. Дима рисовал рюмку, которую обвивала тонкая змея, а Нина писала заставки. Аллы не было.

— Чаю хочешь? — спросил Дима — Вот черт, я опять забыл его купить... А к машинисткам уже совсем неудобно, да? Может, у монтажниц стрельнуть?

— Не надо стрелять, я купила, — сказала Нина и вытащила из сумки мягкую упаковку грузинского чая.

Мы с Ниной поставили чайник, достали тарелки с верблюдами. В это время пришла Аглен и принесла нам казахские лепешки. Они были пышные, в виде ромбиков. Это означало, что в семье кто-то женился или замуж выходил. В нашем подъезде жили две большие казахские семьи. У них часто бывали свадьбы. И тогда прямо во дворе разжигали огонь, ставили на него огромный казан с хлопковым маслом. Женщины раскатывали обычное дрожжевое тесто, нарезали его ромбиками и бросали туда. И мне с балкона было видно, как эти ромбики надуваются, желтеют, а потом становятся золотистого цвета. В это время их вылавливают, складывают на блюдо и посыпают сахаром. У Аглен были такие же: женился младший брат.

Во время чаепития к художникам заглянул товарищ Веллиев. Он ухватил самую красивую лепешку и, ни к кому не обращаясь, спросил:

— А это у нас что, телестудия или дворец бракосочетания? Работать некому! Рисовать почти некому, а они лепешки едят и по свадьбам ходят!

Товарищ Велиев расстроился, оказывается, потому что Алла решила не работать на телестудии. Она еще ничего нарисовать не успела, а уже собралась уходить.

В телецентре все суетились и бегали. Оператор, дядя Нурлы, катал свою камеру по студии и призывал всех сесть на стул, тот что справа. Или лучше встать рядом со столом, что слева. А еще лучше повернуться в сторону входа. Я взяла учебники и пошла в дикторскую. Чем несказанно обрадовала дядю Нурлы.

— Подойди-ка сюда, пожалуйста, и посмотри на верблюда.

Верблюд был мой. Эта старая игрушка давно жила у операторов. Они по ней регулировали свои технические тонкости.

Мама сидела за столиком и наносила легкий грим. Я подошла и спросила, почему Алла передумала работать с нами на телевидении, это ведь так интересно? Только спать все время хочется. У мамы почему-то заблестели глаза. Она мазнула кисточкой мне по носу и сказала:

— Я тебе разрешаю сегодня не делать уроки. Завтра позвоню учительнице, извинюсь, что таскала тебя с собой — и ты ничего не успела.

Конечно, такая идея мне нравилась. Я убрала учебники и пошла гулять по телецентру. У входа стояли девчонки, ассистенты режиссера, и трепались.

До меня долетали обрывки разговора:

— Странно все это... Но Нинка ничего не рассказывает...

— И не расскажет... Неужели все правда? Заборчик! Кто бы мог подумать...

Близился вечер, наступало время, когда наше телевидение начинало свое вещание. Тогда, в далекие семидесятые, не было круглосуточных эфиров, новости начинались ровно в 19.00.

— Салам, кадарлы томашечлар. Красноводск телевидение студиясы геплешик программ навашлыяр...

При звуке мягкого голоса диктора, красивой девушки БекЕ, я выходила гулять. Прямо за порогом телецентра начиналась пустыня. Она очень отличалась от того, что мы сегодня видим на снимках или видео, в изобилии поставляемых туристами. Настоящие Каракумы — не только пески. Я и

барханов-то там не видела. Пустыня полна мелких камней, которые разбегаются под ногами. И еще там есть горы. Не Гималаи, конечно, а небольшие холмы из твердых пород. Но нам вполне хватало для игр в бесстрашных альпинистов. Если пройти чуть дальше от телецентра, можно было выйти к горе с большой пещерой. Кто-то назвал ее орлиным гнездом. Все понимали, что орлов там отродясь не бывало. Но звучит-то красиво! Однако я никогда не отваживалась отходить далеко от дверей: страшно.

Ко мне на крыльцо вышли дикторы покурить. Обсуждали звезду экрана Таисию. Она вчера, анонсируя фильм «Москва, любовь моя», сказала:

— В главной роли известная японская актриса Курихара Макаки.

— Комаки, — свистящим шепотом пыталась подсказать режиссер. — Скажи, что вместе с Комаки Курихара играет Олег Видов, исправь!

Но Таисия вошла в ступор и смотрела неподвижным взглядом прямо в зеленый огонек камеры дяди Нурлы.

Однако дикторша так и осталась до конца не обсужденной, потому что темой №1 у всех была Алла. Дикторы, ассистенты режиссера и редакторы пытались переварить ошеломляющую новость: Алла выходит замуж за нашего Алексея Николаевича!

— Уму не постижимо! — горячилась ассистент режиссера Лида. — Она же только что приехала! Неделю не отработала, а уже притулилась к нашему Заборчику! Ну что делается, не понимаю...

— Да тебе-то что? — спросила освободившаяся от новостей Беке. — Можно подумать, если бы не Алла, он бы на тебе женился...

— Стойте! — Лиду озарила мысль. — Так что, Алка теперь будет мадам Заборчик? Ну и чудеса!

— Ничего подобного. Алка на это не согласилась. Это Алексей у нас теперь капитан второго ранга Тарновский, — сказала Беке. — Такие вот дела...

После вечернего эфира мы возвращались в город. Автобус ехал медленно, и под разговоры съемочной группы я задремала. Помню только, что нас встречал папа и домой он нес меня на руках. Дома, уже в кровати, окончательно засыпая,

я услышала, что Алла с Алексеем Николаевичем уезжают в Баку. И зачем только я их познакомила! Кто же мне будет теперь привозить пахлаву?

На следующий день, возвращаясь из школы, я увидела, как Алексей Николаевич, вместе с грузчиками, упаковывает контейнер. Рядом ходила Алла, оживленная и веселая...

Я пошла к художникам. Нина открыла окно, и теперь студия была наполнена прохладным воздухом, даже краской пахло меньше. Прямо под окном росла акация, и это было очень красиво. Дима стоял чуть сбоку и собирался делать какой-то набросок. Нина рисовала заставку. Вдруг прямо в окне появилась губастая жующая морда. Это был он! Верблюд! Он стоял, как ни в чем не бывало, и объедал колючку, которую Нина поставила в вазу для декорации. Чувство собственной значимости, которое переполняло эту горбатую животину, просто ощущалось физически.

— Смотри скорее, — шепотом сказала Нина.

Я взяла картонку и карандаш. Помню, что должна начинать с главного. А что у верблюда главное? Горб!.. Разве? Главное у верблюда взгляд! Мудрый и спокойный. Так Дима сказал. У него на картоне горба вообще нет. Есть забавная рожица верблюда, жующего остатки колючки. Колючка верблюжья? Верблюжья! И он ее ест.

— И это правильно, и просто, — сказал Дима — Правда, девчонки? Все должно быть правильно и просто! Как же я раньше-то... Чаю мне нальет кто-нибудь?

Нина насыпала заварку в новый чайник и залила ее крутым кипятком. Она немного покраснела и приоткрыла ящик рабочего стола... Там по-прежнему лежало маленькое зеркальце. Я положила картон и потихоньку вышла из студии. Сегодня мне, пожалуй, лучше к монтажницам...

## Мелок в кошельке

Лёшка Тимошенко, или как его называла Катька — Тимошенков, нравился Лерке больше других мальчишек. Почему — трудно было объяснить. Вроде бы Андрюшка Лебедев был гораздо симпатичней, а Андрей Юшин из подъезда — вообще спортсмен: ходил в спортзал и бассейн. Лёшка по сравнению с ними смотрелся полным хулиганом и разгильдяем. Зато с ним, как ни с кем другим, было интересно разведывать чужие дворы, находить на свалках всякие занятные вещицы вроде старых столовых ножей и сломанных телефонов.

Можно было прятаться, как в домике, внутри гигантских проломанных деревянных катушек для проводов, играть в салки под окнами в палисаднике, где какая-то добрая тётка спускала со второго этажа пакет с барбарисками и печеньем. Единственное, что приходилось утаивать от него — это девчоночьи «секретики»: в саду роется ямка, туда кладётся цветочек, красивый камушек, ракушка или фантик, прикрывается бутылочным стеклом и засыпается землёй — если вновь отрыть, выглядит красиво. У мальчишек же всегда было странное и неумолимое желание — отыскать и разрушить.

Другим занятием, которое просто невозможно было делать без Лешки, — это пролезать через дырку в заборе в соседний детский сад — естественно, в то время, когда дети не гуляют на верандах. Конечно, песочницы, «черепахи» и прочие лазалки там были почти такие же, как у них во дворе, но тут Лерку и Лёшку привлекала одна опасная игра — скрываться от зловещей бабки-сторожихи, которая неожиданно появлялась во дворе из-за кустов. Особое удовольствие состояло в том, чтобы успеть ускользнуть и с безопасного расстояния кричать всякие, придуманные на ходу, весёлые дразнилки.

Правда, однажды случилась неожиданная вещь: Лерка и Лёшка... познакомились с бабкой. «Я ж не против. Играйте, ребятки, сколько влезет, только заходите через калитку, и в то время, когда директора нет», — благодушно сказала она. Эта невероятная история была тут же рассказана Катьке и Наташке, которые сначала не верили. Впрочем, посещать садик по разрешению стало как-то не интересно — вдруг куда-то напрочь улетучилось ощущение опасности и игры. Лерка, Катька и Лёшка крепились неделю, но потом не выдержали и... опять проникли в сад через дыру и в неположенное время. Так ультиматум был разорван — уже навсегда.

Надо сказать, что сама Лерка была стеснительная и вообще тихоня, а Лёшка, в отличие от других мальчишек, своей отчаянностью и придумками всегда помогал ей совершить что-то запретное, рискованное. Или, может быть, дело было в том, что они взаимно подзуживали друг друга. Как-то они, по идее Лерки, смастерили из деревянного ящика ловушку для голубей, причём Лерка (тихая, заметьте, Лерка!) для этой цели отправилась в «Булочную» и, рискуя, похитила там четвертинку чёрного хлеба, которая стоила 5 копеек. Она никогда не воровала, но тут уж очень нужно было — для дела.

А в другой раз — это уже был целиком план Тимошенкова — отряд детворы отправился в далекий поход. Такие прогулки они потом называли «ходить в историю». Обычно квадрат, в котором они играли, был ограничен кинотеатром «Байкал», школьным двором в конце переулка, жёлтой бойлерной и детской площадкой у магазина «Овощи». Теперь же Лерка, Катька и малолетний Сашка, под началом Лёшки, пройдя пару кварталов, дошли до самой железной дороги и, сделав круг, затемно вернулись к «Байкалу», на автобусе. От родителей — ой как влетело, но осталось гордое ощущение — покорителей новых земель.

А потом они всей дворовой компанией пошли в первый класс — в ту самую школу в конце переулка. Конечно, там было много нового. Была очень-очень толстая и страшная классная Нина Ильинична, которую Лерка боялась, была белокурая и невозмутимая Света Плотникова, которой Лерка дико завидовала: у них обоих были пятёрки по технике чтения, и при этом Светка была явно красивее. Была очень милая и весёлая вожатая-старшеклассница Лена Соловьёва.



А вредная соседка по парте, Зульфия, однажды украла у Лерки хорошенький, беленький кошелёчек с кнопочкой. Сложное и приятное чувство посетило Лерку, когда Лешка поймал противную Зульфию на перемене и, прижав к стене, заставил вернуть кошелёк. Кошелёк, впрочем, Лерка обратно не взяла. Почему-то стало противно. Зульфия положила внутрь розовый мелок, который перепачкал всю подкладку, но зато в этот момент Лерка твёрдо решила — когда вырасту, выйду за Лёшку замуж. И, может быть, так бы и случилось, если бы на следующий год семья Лерки не переехала в новую квартиру, в далёком районе.

Впрочем, как рассудила Лерка гораздо позже, Лёшка, наверное, и был её мужем. Тогда, в детстве.

## Изумрудное пёрышко

Война длилась полтора года. Между Зинкой и Петькой. Петька появился в их дворе позапрошлым летом. До него у них жил незаметный белый петушок, который плохо пел по утрам и, по возрасту уже, не справлялся со своими петушинными обязанностями по отношению к курицам. Старого тоже звали — Петька. Зинкину мать, Степаниду, не заботили петушинные имена. Петька, он и есть — Петька. И когда появился новенький, совсем молоденький, но горластый, огневой, охочий до кур петушок, он тоже сразу стал Петькой.

Старого зарубили, сварили и съели. Впрочем, Зинку это не взволновало, она не шибко задумывалась, откуда берётся любимая куриная лапша. Лапшу она обожала, это вам не магазинная, скользкая вермишель, а настоящая, домашняя лапша. Она сырую из-под рук у матери выхватывала. Только Степанида раскатает на кухонном столе лист теста до прозрачности да чуть подрумянит его на плите, Зинка обязательно кусочек оторвёт. До чего вкусно! И в супе потом эти узкие, бесконечно длинные ленточки, тянуть в себя из тарелки — одно удовольствие.

Первое время девочка любовалась новосёлом. Прежде у них лишь невзрачные, белые, куры водились, она на них и не глядела. Разве только мать кормить птицу заставит. Тут уж приходилось, не дыша, а то стошнит от вони, вывалить им в корытце мешанину и бежать. В мешанину Степанида кроме картошки обязательно добавляла отруби, чтоб витамины были.

— Зачем им витамины? — недоумевала Зинка.

— Тебе нужны, а курам так, думаешь, нет? — возмутилась Степанида. — Летом-то они и травкой полакомятся, чего надо, доберут. А зимой без отрубей зачахнут, и перья повылезут.

Зинке казалось, что пахнет от кур потом и пылью. Когда она, набегавшись с подругами, возвращалась летним вечером домой, мать говорила ей:

— Иди, мойся, от тебя курицами воняет.

Ничто не заставляло девочку так быстро исполнять сказанное, как эти материны слова — не любила она кур.

А тут такой красавец! Новый петух буквально заворожил Зинку. Он был ярче самой яркой радуги, которую она когда-либо видела, а радугами она любовалась всегда. Чуть после дождика вспыхнет на небе эта невиданная радость, она уже кричит:

— Смотрите, смотрите, какая радуга!

Каких только цветов, оттенков и переливов не было в Петькином оперении: от пастельного бледно-розового до грозового тёмного фиолета, который с одного бока переходил в изумрудный, а с другого отливал серебром и перламутром. Из-под крыльев алой кровью выглядывали тонкие пёрышки, соперничающие с гребнем и бородой. Хвост сиял и переливался так, что Зинке хотелось зажмуриться. Девочка любовалась бы Петькой часами, если бы он позволил. Слишком неугомонным был кавалер и командир куриный. Стрелой носился из одного конца двора в другой, куры разлетались от него в разные стороны, но и на скаку он успевал уделить им внимание.

Вскоре предметом его внимания оказалась и Зинка. Едва освоившись на новом месте, он начал воевать с девочкой. Причину этой вражды не мог понять никто. Едва девочка появлялась на крылечке, в каком бы конце двора не находился Петька, мигом оказывался рядом и воинственно расправляя крылья, он кидался в бой. Если Зинка не успевала убежать, на ногах оставались кровавые следы. Война была объявлена не на жизнь, а на смерть. Никого больше Петька не обижал.

Теперь девочка перелетала через двор только с огромным прутом в руках, отбиваясь им от врага, который, впрочем, прута не боялся. Двор, любимое место игр Зинки, стал чужим, его захватил пришелец.

Степанида посмеивалась, когда девочка появлялась на кухне в слезах, с очередной поклёвиной на ноге.

— Да чтоб деревенская девка, да петуха боялась, отучи его!

Зинкина жизнь изменилась. Теперь нужно было всё время помнить про врага. У неё было припасено несколько пру-

тов, одни стояли в сенях, другие в палисаднике у калитки. Только вооружившись, девочка отваживалась появиться во дворе. В школу, из школы, в магазин, по Степанидиному заданию, играть с подругами — через двор бегом и с прутом. Петька завладел её мыслями. Как только она не расправлялась с ним в мечтах. Какой только казни не придумывала, даже за ногу к столбу привязывала. А один раз ей приснилось, что отец принёс в дом другого петуха, огромного, белого. И этот новый петух смертным боем клевал теперь красавца — забияку. Зинка проснулась счастливой, но взглянув в окно, запечалилась. Петька носился по двору, разгоняя кур.

Но больше всего ей хотелось, чтобы они с Петькой подружились. Девочка воображала, как она демонстрирует подружкам разные чудеса, которые вытворяет красавец Петька, такой домашний цирк. А в реальности было иначе, даже бывалый кот Васька теперь появлялся во дворе только поздно вечером, когда куры во главе с хозяином гарема отправлялись в сарай на насест.

Девчонки подружки предлагали Зинке утащить петуха куда-нибудь подальше от дома. Но это было неосуществимо, как к нему подойдёшь? Только если ночью подкрасться к спящему и накинуть на него мешок? Но ночью она сама крепко спала, да и темно-о. Один раз всё же проснулась, мешок был приготовлен загодя, припрятан от матери в кладовке. Выскользнула из дома, подобралась к сараю, но тут Петька как заорёт: ку — ка — ре — ку! Так ничего и не вышло.

Теперь она могла безбоязненно любоваться красотой Петьки только через окно, но красота петуха уже так не радовала. И когда кот Васька, разъярённый Петькиной наглостью, повредил ему крыло, Зинка торжествовала. Степанида перевязала крыло любимцу, словно гипс наложила, и привязала забияку к штакетине забора, отделявшего двор от огорода. Уберечь хотела, но петух так рвался на свободу, что повредил себе и ногу. Пришлось отвязать.

— Беги, дурак неугомонный, — ворчала хозяйка, — это какая же силища в таком небольшом теле, ногу себе готов переломить.

А Петька, чуть хромая, кособоко, щадя большое крыло, уже нёсся по двору, догоняя облюбованную курочку. Раны зажили быстро, стойкий был характер у бойца. И Зинкины

беды не прекращались. А Степанида радовалась, собирая яйца для наседки, красивое потомство будет.

Зимой девочка отдохнула, мать не выпускала кур из сарая, лишь иногда, в оттепель, выгоняла размяться. В такие часы Зинка сидела дома. Хотя толстые штаны и валенки защищают, но страх сидел так глубоко, Зинка просто боялась смотреть, как петух летит в её сторону.

Развязка наступила неожиданно, в конце февраля. Степанида доила в сарае корову, куры квохтали где-то рядом, вскрикивая иногда от грубого ухаживания Петьки. И вдруг петух, разъярённый тем, что какая-то молодка клюнула его в ответ на петушину ласку, — налетел не на обидчицу, а на хозяйку. Удар пришёлся прямо в глаз. Женщина слетела со скамейки, сидя на которой доила корову, выронила подойник и, зажав глаз рукой, как ошпаренная, выскочила из сарая.

Сам глаз не пострадал, но веко заживало полмесяца. Вот тогда и решена была судьба Петьки. Вернувшись из школы, Зинка потянула носом, пахло любимой куриной лапшой. Мать налила ей полную тарелку.

— Ешь, сегодня лапша особенно хороша. Руки только вымой с мылом.

Зинка, сидя за столом, всасывая в себя очередную длинную лапшину, смотрела в кухонное окно. На дворе уже вовсю властвовал март. Из лужи у сарая, смешно забрасывая головы, две курицы пили воду. Краешком сознания она отметила, что не видит Петьки. Повела глазами, выискивая на сером фоне яркое подвижное пятно. Тревога коснулась сердца, она даже и не знала, что куры выпущены из сарая. Глаза двигались, осматривая двор, а сердце наполнялось дурным предчувствием. У самого забора девочка увидела толстое бревно, на котором рубили дрова. Рядом топор, на потемневшем снегу капельки крови и сияющее зелёное пёрышко. Девочка с силой оттолкнула от себя тарелку, вывалив лапшу на стол, и выбежала во двор, стошнило. Степанида выскочила вслед за ней.

— Ты что, сдурела? — увидела, что Зинку вырвало, забеспокоилась. — Заболела, что ли?

Но девочка подняла на мать угрюмые глаза.

— Ты Петьку зарубила?

— Зарубила, ну и что? Мало он зла натворил, мало ты от него наплакалась? Я чуть без глаза не осталась! Туда ему и дорога...

Жизнь Зинки стала безопасной. Выходя по утрам из дома и возвращаясь из школы или от подружек, она привычно хваталась за прут, но тут же вспоминала — Петьки нет! На его месте появился новый петух — ленивый, медлительный, белопёрый и важный. За новым Петькой куры ходили табуном, он лишь снисходительно на них сверху поглядывал.

Новый петух девочку не интересовал. Теперь она могла сколько угодно времени проводить во дворе, но почему-то ей этого не хотелось. Может, отвыкла, а может, повзрослела за полтора года. Любой острый звук, какое-то движение за спиной вдруг взрывались в ней надеждой — Петька! Она молнией оборачивалась — увидеть! Нет, это была зряшная надежда.

Зелёное пёрышко, валявшееся рядом с местом казни, Зинка прибрала. Теперь оно хранилось у неё в заветной коробочке вместе с другими драгоценностями: камушком, который два года назад выпал из колечка маминой сестры, и осколком любимой фарфоровой чашки, которую сама же Зинка и разбила. Чашка была с ней с первых моментов памяти о собственной, такой коротенькой, жизни. Даже так, в виде осколка с изображением одного лишь лепестка, оставшегося от того великолепного цветка, что цвёл на чашке когда-то, она присутствовала в жизни девочки со всей полнотой существования.

И зелёное пёрышко Петьки, пусть совсем немного, но всё же давало ощущение его присутствия, его неполного исчезновения. Всё-таки, в отличие от чашки, петух был живым. Зинка прикасалась к пёрышку, прикладывала его к губам, и слёзы наполняли глаза. Конечно, вздыхала она, если бы он не клонул маму в глаз... Она согласна была убежать от него, бояться сколько угодно, хоть десять лет, только бы он был.

Впервые она так остро поняла, что даже самое красивое, самое живое, может исчезнуть из жизни, словно его и не было. Вот останется тебе только пёрышко.

Степанида купила ей к пятому классу новый портфель, выбрала поярче, чтобы сгладить потерю, но разве неживой портфель, хоть он и понравился Зинке, мог заменить Петьку? Жизнь, конечно, наладилась, и тоска прошла, вот только куриную лапшу Зинка больше никогда не ела.

## Заброшка

...Едва Алиса спустилась с брусничного склона, как услышала за амбарами громкий шёпот:

— В заброшку идём!.. Сегодня... Когда взрослые на вечернюю рыбалку уедут...

— Но туда нельзя... Опасно...

— Кто трусит, не с нами!..

Амбары стояли в рядок. Это считалось историческим местом в деревне Кугонаволок. Приехав к дедушке с бабушкой, Алиса сразу же наказ получила: «К амбарам одной не ходить!»

Ну, раз нельзя туда ходить, значит, надо это место проведать, подумала Алиса и пошла. Заодно ей хотелось дедушку встретить. Дедушка с утра ушёл диковинные коренья в лесу искать, чтобы одно сказочное существо в огороде смастерить. А лес как раз и начинался за дальним полем со стороны старинных амбаров. Услышав загадочный шёпот про заброшку, Алиса пошла в ту сторону, откуда он доносился. За третьим с краю на крыльце сидели Маринка с Олей и Пашка из соседних домов. Рядом стоял тот незнакомый мальчишка в рыжей бейсболке, который утром один забрался в лодку и отчалил от берега, а на просьбу Алисы — прокатить, сурово ответил: «Девчонок на рыбалку не беру. Они трусихи... Всех окушков визгом своим распугают». Маринка с Олей потом сказали, что новенького зовут Армас, и он чудной какой-то...

Так вот этот чудной, облокотившись на бревенчатый выступ приземистого амбара, как раз и предлагал пойти к заброшке.

Увидев Алису, он подбоченился и замолчал.

— Продолжай, — сказала ему Маринка, отмахиваясь от вечерних комаров, — это Алиса. Она своя...

Маринка славилась в деревне своим отчаянным характером. Хотя ей еще не было восьми лет, она не боялась лазать по деревьям и отплывать от берега озера на глубину, за что мама Таня её всё время ругала. А Оля, наоборот, вся послушная и правильная. Всегда в чистеньком нарядном платьице, в отличие от поцарапанной и перепачканной Маринки. А Пашку все учёным звали. Книги всегда читал и серьёзно к походу в первый класс готовился.

— Ладно, — окинув взглядом Алису, сказал Армас. — Объясню цель нашего путешествия. Как вы знаете, заброшка — это вон та когда-то сгоревшая конюшня. — И он показал в сторону уходящего к лесу иван-чаевого поля. Иван-чай там разрастался буйно и был выше даже взрослого человеческого роста. И за его розово-сиреневыми пирамидками цветов едва-едва виднелась обгоревшая крыша бывшей конюшни. Никто туда не ходил, потому и тропы не было. Взрослые говорили детям, что там, после пожара нечистый дух поселился...

— А что, если нечистый дух станет нас преследовать? — испуганно произнесла Оля.

— Мы ему не нужны, — ответил Армас. — Нечистый дух заброшки охраняет подкову счастья. Её там оставил царский конь. Он был самым красивым и быстрым... и никому не давал себя приручить. Однажды пришли на конюшню конокрады и захотели изловить этого коня. Когда накинули на него лассо, конюшня сама вдруг сразу загорелась. Кони разбежались по полю, а царский совсем куда-то исчез... Так вот там в конюшне и должна где-то храниться его подкова.

— Так прям нечистый дух нам и отдаст! — возразил Пашка.

— Нечистый дух смелых и отважных боится! — прыгнула с крыльца Маринка. — Вот давайте прямо сейчас пойдём и проверим!

— Нельзя взрослых не слушаться... — пролепетала Оля.

— Тогда одна скучай себе! — с отвагой в голосе сказал Армас и первым нырнул в иван-чаевые заросли. И все, даже Оля, отправились за ним.

Как ни странно, в зарослях всё-таки обнаружилась едва заметная тропинка.

— Может, мой дедушка по ней ходил, — мелькнуло в голове Алисы, и она произнесла эту мысль вслух. На её предположение никто не обратил внимания. Всем приходилось раздвигать



заросли с гудящими шмелями и комарами, роем витающими в лучах закатного солнца. Алисе было не то, чтобы страшно, но как-то немножко тревожно. Время от времени крапива обжигала не прикрытые шортами колени. Хотелось повернуть назад и оставить эту затею с путешествием к заброшенной конюшне за какой-то там подковой... И всех вернуть домой. Но то, что утром Армас не взял в лодку, потому что девчонки, по его мнению, трусы, не позволило ей отговорить всех от продолжения похода. Хотелось доказать этому заносчивому мальчишке, что девчонки вовсе не трусы. И ей удалось это доказать.

Когда они оказались среди обгоревших брёвен и с опаской вошли внутрь, из-за перегородки с обвалившимися брёвнами раздался стон.

— Это нечистый дух... — с ужасом прошептала Оля и бросилась из конюшни. И все, и Армас тоже, выскочив из заброшки, снова нырнули в иван-чаевые заросли.

— Стойте! — крикнула им Алиса. — У нечистого духа нет голоса. Вдруг там человек... Человек, которому надо помочь.

Армас остановился, и все тоже остановились.

— А что бы там мог делать нормальный человек? — хотел было возразить Алисе Армас.

— Спрятаться от дождя, например... — предположила Алиса. — Ведь днём был дождь. Кто-то мог возвращаться из леса и спрятаться от дождя...

— А потом? — с вызовом спросил Армас.

— Может, ему стало плохо... — предположила Алиса. — Давайте вернёмся и проверим!

И теперь Алиса пошла первой. И первой вошла в конюшню и заглянула за бревенчатую перегородку, откуда доносился стон.

И там, как ни странно, прислонившись к стене, сидел дедушка.

— Алиса! — воскликнул он удивлённо и радостно. — У меня спину прихватило, и мобильник сел. И позвонить никак... И встать не могу...

Алиса тут же достала из кармана шорт свой мобильник и позвонила бабушке...

Вскоре Пашкин папа на своём джипе вместе с Олиным папой приехали. Подняли дедушку, усадили. Олю с собой взяли, а Маринка с Алисой и Армасом сами домой пошли.

Дедушка, кряхтя, крикнул Алисе в приоткрытую дверцу:

— Я же тебе не разрешал... — но осёкся.

Зато на следующее утро, когда Алиса подошла к берегу озера, Армас уже ждал в своей лодке.

— Садись, — предложил ей, немного смущаясь, — я и для тебя удочку взял. У каменного берега окуни сейчас хорошо клюют... Ты смелая... Окуней не распугаешь!

— А как же подкова счастья из заброшки? — насмешливо спросила Алиса.

— Пусть остаётся там, где царский конь её оставил! — ответил Армас и протянул Алисе свою крепкую загорелую руку.

# Школа как школа

Рассказ-воспоминание

## «Розовая школа»

1978 год. Наша семья только переехала в Рязань из Ростова-на-Дону: последствия маминого распределения. Мы с бабушкой идём мимо красивого розового здания в тени белых акаций. Бабушка говорит, что это хорошая школа. О школе для меня задумались, когда я вылезла из пелёнок. Ведь я была пятым поколением семьи, сознательно выбравшей город и образование при Александре II!

Я: — Хочу учиться в розовой школе!..

До конца учёбы бабушка напоминает мне, что я сама «хотела в розовую школу»!.. Я понимаю справедливость пословицы: «Слово — не воробей...».

## Добрый директор

1980 год. По месту жительства мне полагается школа с физкультурным уклоном. Она от нашего дома через два квартала. «Розовая» школа — через двести метров.

Конец лета. Дедушка приходит в «розовую» школу со мной и просится на приём к директору Борису Вячеславовичу. Они — два ветерана партии. Они с Борисом Вячеславовичем беседуют, дедушка рассказывает, что я хочу учиться в этой школе. Директор задаёт мне вопросы. Я не боюсь их — я умею читать (особенно про себя) и писать печатными буквами. Директор обещает дедушке принять меня в «розовую» школу. Правда, в класс 1 «Б». Я не понимаю, чем «Б» отличается от «А». Меж тем в «А» учатся дети рязанской элиты. Вообще-то это спецшкола с углублённым изучением английского языка, таких две на всю Рязань, поэтому в неё «с ули-

цы» не приходят, а если и приходят, то ненадолго — из нашего класса за первые три года перевели в соседние школы «без статуса» человек пять.

## Простые принципы

1980 год. Перед первым сентября дедушка — главный человек моей жизни, которому я обязана своими жизненными принципами, сегодня архаичными и нелепыми, даёт мне важные наставления. Они простые: надо исполнять свой долг перед страной, хорошо учиться, слушаться старших, не перечить учителям, не ссориться с ровесниками и не обижать их — тогда никто не обидит и меня. На обиды не обращать внимания, тогда задиры отстанут. (В корне ложное убеждение! Не отвечаешь на обиды — значит, слабак. Ату его!..)

## На человека похож

1981 год. Одноклассница, часто приходящая к нам, доверительно говорит мне:

— У вас в семье один отец на человека похож!

Она, как и мой отец, коренные рязанцы.

У нас дома не поют и не слушают блатных песен, не ругаются ни матом, ни как-либо иначе и читают книги, и девочку это искренне удивляет. Во дворе пятилетний пацан залихватски исполняет: «Вот иду и курю «Беломорканал»...» В классе девочка Маша, когда думает, что ей врут, парирует: «Не перди, моя черешня!».

Я не знаю, что такое 200-й километр...

## Фото мам

1982 год. Всех учеников 2 «Б» обязывают принести фотографии родителей с именами и должностями. Разубедите меня, что не собирались понять, к кому как относиться!.. Но применили эти знания почему-то не сразу.

В первом классе отличников было много (в основном отличницы, девочки, и даже я). А вот с 4-го стал формировать-

ся настоящий костяк классной элиты. Отличницы с 4-го класса по 10-й: дочери институтского преподавателя, известного врача, заводского начальства и учительницы нашей же школы. Да пришедшая с 5-го класса девочка, переехавшая в Рязань с родителями — приличной военной семьёй.

Дочь инженера и рабочего — какая это, к шутам, «элита», по меркам советского общества!.. В лучшем случае, «хорошистка», а вообще-то — троечница. Правда, дедушка — персональный пенсионер республиканского значения, но у него в прошлом, да и в другом городе. В Рязани он настойчивый старик, надоедающий всем инстанциям (в основном коммунальному хозяйству) письмами о том, что можно усовершенствовать в этом городе...

## Ни ши-ши!..

1983 год. Заканчивается начальная школа, начинается средняя с разными предметниками. У меня три похвальных листа «авансом», я считаюсь хорошей ученицей, ибо прилежная и тихая.

Нам говорят, что 4 «Б» очень повезло с учительницей математики Галиной Ивановной — отличницей преподавания. О ней по школе ходит мем «строгая, но справедливая». Она немолода, в очках, держится несгибаемо (во всех смыслах). В начале учебного года мы пишем контрольную, на следующем уроке Галина Ивановна раздаёт тетради. Я не боюсь плохой оценки...

— Сафронова — три! — летит над классом зык математички.

Я в шоке. Мой сосед по парте вскрикивает:

— Ни ши-ши!..

Впредь от Галины Ивановны мне достаются в основном тройки. В виде исключения — двойки. Я быстро понимаю, что лучшего не достойна, что в математике полный дуб. Каждый урок с Галиной Ивановной напоминает мне об этом (вплоть до 9-го класса, когда «строгую, но справедливую» сменила молодая и более мягкая Наталья Михайловна). Перед каждой математикой мне хочется в петлю. У меня спазмы желудка, тошнота, дрожь в руках — и мой животный страх подкрепляется новыми «парами». Редкие четвёрки не спасают. Знаю твёрдо одно: в точных науках я тождественна нулю.

Классе в 7-м мама, отчаявшись от моих «ступоров» и истерик над заданиями по математике, идёт к Галине Ивановне за советом: как улучшить мои знания? На что обратить внимание?..

— Ни на что особо, — лучезарно отвечает Галина Ивановна. — Как знает, так и будет знать. «Тройки» я ей нарочно ставлю, чтобы стимулировать лучше заниматься. Чтобы оценки по математике сравнила с отметками по другим предметам.

Отличница преподавания заблуждается. К тому времени я уже сравнивала отметки по всем наукам, где требуются вычисления, с «тройками». И даже сдачу в магазине не способна подсчитать...

## Просто осторожнее

1984 год. 4 «Б» что-то нашкодил. Классная всех «строгаёт», ребята отнекиваются. Одноклассник Кирилл произносит, как плюёт: «У неё спросите, она честная!» — и кивает на меня.

Мы заканчиваем 4-й класс и переходим в 5-й. На торжественной линейке перед окончанием года нам сообщают, что нельзя гулять в пустынных местах, в том числе и в ЦПКиО, плавно переходящем в сад психбольницы. Почему? Нельзя — и всё тут! Преступности в СССР нет, особенно маньяков-педофилов, просто детям следует быть осторожнее.

## Чучело и Чапа

1984 год. Наш класс ведут на воспитательное мероприятие — фильм «Чучело». Мальчишки весь сеанс гогочут и плюют семечки. Я знаю точно, что травля «чучел» выглядит не так, как на экране. Она проще, грубее и без идейного подтекста. «Чучелам» не объявляют гражданскую казнь (а эт чё такое?!). Им сморкаются в школьную форму.

В классе в святость дедушки Ленина, победу коммунизма и клятву пионера верю одна я. Девочка Маша перед историей раскладывает на столе наглядные пособия — портреты революционеров — и называет их: «Чапа» — Чапаев, «Козёл бородой трясёт» — Дзержинский и т.п.

## Нечитайка

1985 год. Мама традиционно приходит в школу. Это у неё субботнее мероприятие. За это весь класс надо мной и над ней ржёт. Мама честно хочет узнавать о моих успехах и недоработках. Последних всегда больше. В ней сразу раскусили интеллигентскую слабину. Рабочие и крестьяне посылают учительш туда, где им самое место. Мама выслушивает любые их пожелания с пиететом и передаёт мне, требуя повиновения. Этим она добивается, чтобы у меня не было проблем с педагогами. На сей раз она общается с учителем русского языка и литературы Сергеем Васильевичем. Казалось бы, тут не должно быть проблем... Но дома от меня прячут недочитанную книгу Дюма. Как, почему?! Я же не могу не читать, это для меня — как дышать! Мама не хочет говорить. В слезах я вцепляюсь в пачку ваты: «Всё равно буду читать!» — на аптечной упаковке буквы...

«Русак» посоветовал маме:

— Не давайте вашей дочери много читать, она выражается слишком книжным языком, никто не понимает!

Надо мной за начитанность смеялись даже отличницы. Сейчас они почти все учителя. Одна работала в той же школе, назвавшейся в 90-е годы гимназией и наравившей больше амбиций.

## Руки из...

1985 год. Мне нравится Наталья Петровна, учительница по домоводству. Мне хочется удостоиться похвалы, но она мною недовольна. Я болею, когда все шьют прихватки, но дома старательно шью их сама, после болезни гордо приношу на труды...

Прихватки летят назад вместе с фразой «домоводши»:

— Тебе их бабушка сшила!..

Дома я реву несколько часов. Мама, кое-как выудив у меня причину истерики, идёт объяснить Наталье Петровне, что я сама шила прихватки, очень старалась, да, потратила много времени, но зато без чьей-либо помощи... Та отмахивается:

— Что вы мне рассказываете? У неё руки не тем концом вставлены!..

## Гренада, гренада, гренада моя...

1986 год. В школу не приходят разом Борис Вячеславович и Сергей Васильевич. Учёба парализована на полгода, с чего — детям не говорят. Много позже мама с обиняками рассказывает, что ребята из «А», у которых был классным Сергей Васильевич, пытались изнасиловать соученицу в ЦПКиО. Но подростковой преступности в СССР нет! Директора проводили на пенсию, учителя — в другую школу. Уроки истории и литературы ведут кто придётся. Историю Средних веков читает географичка. На истории у нас Европа XV века, а на географии я произношу «Гранада», свято помня про Гранадский халифат, и получаю:

— Нет никакой Гранады! Есть Гренада! Учи названия лучше!

## Герой

1986 — 1987 годы. Мальчик Кирилл изображает из себя бывалого урку, снимая с чужих почтовых ящиков замки и подбирая ключи, которыми вскрывает дипломаты, чтобы списать «домашки». Он герой.

## Пасквиль на историка

1987 год. Приходит новый историк, только что из института. Он разительно отличается от артистичного и знающего Бориса Вячеславовича. Никому в классе он не нравится. Мы с двумя приятельницами пишем ядовитое стихотворение про нового историка. Читаю домашним — думаю, посмеются. Дедушка не на шутку испуган:

— Пасквиль на историка! Как можно?!

Поняла деда спустя лет десять...

## Только не это!

1988 год. Я принимаю судьбоносное решение: никогда ни за что не пойду работать в школу! Сделаю всё, чтобы в неё не



попасть даже случайно — а не за горами выбор профессии, то есть, по меркам нашей семьи — института. Я знаю: не смогу стать хорошим учителем. А быть таким, как почти все мои учителя, не хочу.

Хороший Учитель — это Януш Корчак. Хорошими учителями для меня были Борис Вячеславович Булатов, Тамара Павловна Мерзлякова, Светлана Анатольевна Мошковцева, Владимир Андреевич Добровольский, Владимир Васильевич Гусев. Остальных не то что не помню — называть не хочется.

## Пыль глотать

1990 год. Я собираюсь поступать в Московский государственный историко-архивный институт. В Рязани для безнадежных гуманитариев — только пединститут. Только не это! (см. выше) Мне нанимают репетитора по истории — после дискретного преподавания предмета в школе. Новый директор школы (бывшая наша классная) звонит маме и контролирует меня. Зачем? — не знаю. Услышав про историко-архивный, бросает презрительно:

— Да ну, пыль глотать...

Архивную пыль я глотала восемь с половиной лет. Хронический ринит и хроническая бедность стали мне наградой за честность. Но самым добрым делом своей жизни я до сих пор считаю то, что не пошла в пединститут.

## Выше моих сил

2014 год. В магазине встречаю одноклассницу, с которой некогда писала «пасквиль на историка». Здравуемся, и я прохожу мимо. Мы можем говорить только о школе, но это выше моих сил.

P. S. Альбом со школьными фотографиями где-то лежит, но смотреть их не хочу.

## Зачем?

У Галки тогда появилась мания: не терять его из виду. Они с мамой провожали отца в аэропорт, отец говорил:

— Ну, не скучайте.

Мама молчала, и Галка тоже молчала. Как чужие. Отец пожимал плечами, протягивал паспорт на контроль и больше не оборачивался. В машине Галка находила на телефоне сайт отслеживания самолетов, говорила маме:

— Взлетел.

Мать кивала.

Потом Галка докладывала:

— Приземлился. Встретили, наверное.

Закрывала глаза, представляла себе, что отца встречает женщина с ребенком на руках. Девочка похожа на отца и на нее, Галку, потому что Галка — отцовская копия. Она никогда не видела свою сестренку, но предполагала, что та похожа на отца. Потом приходилось просто ждать. Отец не появлялся в сети и ничего не сообщал о себе. И Галка всякий раз боялась, что он может не вернуться. Не то чтобы предпочтет ей, Галке, Светочку, нет, конечно, своих не бросают. И Светочку отец тоже не бросил, потому что она своя. Но Галка как-то вдруг поняла, что ничего не бывает навсегда: все конечно, все имеет начало и завершение. Все — любовь, счастье, доверие, покой.

Отец уезжал и возвращался, а потом умер. Сердце не выдержало, значит, его душа тоже рвалась и двоилась. Отца похоронили та, другая женщина, и пятилетняя Светочка. Галка каждый день писала отцу письма и отправляла по электронной почте, ответа, естественно, не было. А однажды пришло сообщение, что письмо не может быть доставлено. Последняя ниточка оборвалась. Галка спросила маму:

— Поехали к папе на могилку?

— Нет, знакомиться не хочу, — качнула головой мать.

Для общения с соперницей нужны силы, а их не было. Отец забрал последние — своими бесконечными поездками в ту семью. Но лучше так, чем эта пустота. Галка подходила к окну, прислонялась лбом к стеклу. На улице шел дождь, и Галке казалось, что дождь плачет за нее, потому что ее глаза оставались сухими. Мама тоже не плакала. Галка написала пальцем на стекле: «Папа, зачем ты умер?» И быстро стерла, потому что мама заглянула в комнату, позвала пить чай.

— У Светы наша фамилия? — спросила девочка.

— Нет, — нахмурилась мать.

— Значит, мы одни Акимовы? — уточнила Галка.

— Одни на всем белом свете, — усмехнулась мама. — Ты да я, да мы с тобой.

С отцом всегда было не просто, однако он занимал огромное место в Галкиной жизни, а теперь там оказалась дыра и подсасывала, и грозила затянуть в свою черноту и саму Галку. Девочка думала иногда: как там Светочка, кем был для нее папа? Галка не очень хорошо помнила себя маленькую, в основном, по фотографиям. Она судорожно перерыла все шкафы в доме в отсутствие матери и прошарила отцовские страницы в соцсетях. Никаких упоминаний о второй семье там не было, вообще ничего личного. Отец был скрытным, как и все они, Акимовы.

Родители никогда не ругались. Если звонил телефон, мама подавала его отцу, не заглядывая, кто именно звонит. У каждого свое пространство, но было и общее, в котором комфортно всем вместе. Хорошо вместе и отдельно, и это не предполагало предательства. Однако Светочка откуда-то появилась, вот из этого самого отдельного пространства. Галке сказали, что в Калуге у нее родилась сестренка. Больше ничего не объяснили, но и так понятно. Хотя что понятно? И снова тишина, никто не ругается, не выясняет отношений, только мама словно потухла. Потом Галка узнала, что когда ей рассказали о сестре, Свете было уже полтора года. А Галке тринадцать с половиной. Девочка нашла Калугу на карте. Лету чуть больше часа, если прямым рейсом. Открыла вики-

педию. Родина космонавтики. Отец в планетарий, наверное, со Светочкой пойдет. Птичек покормят в «Воробьях». Галка выключила компьютер. Вот, собственно, и все. Она ничего не спросит, а отец ничего не расскажет. Она и не хочет ничего о них знать, потому что непонятно, что с этим знанием делать. Оно встало болезненным комком у горла и не дает свободно дышать. Галка стала пропускать художку. Рисовала дома, напряженно ждала отца с работы. Потом отдала ему рисунок: три чахлах березки за окном. Галке казалось — к ним невозможно не вернуться.

— Спасибо, Галчонок, — серьезно сказал отец.

— Не вызывай такси, мы тебя проводим, — Галка умоляюще взглянула на мать.

Они всегда его провожали и встречали. Галка настаивала, пусть знает, что его ждут. Однажды мама сказала:

— Знаешь, что такое дьявол? Это двоеволие.

— Ты хочешь, чтобы мы его отпустили? — изумилась дочь.

— Должно быть что-то одно, или там, или здесь, — пожалала плечами мама.

Девочка подошла к окну. Снег под березами осел, скоро весна. Уже третья весна, но ничего не меняется. Галка и не хочет, чтобы менялось, потому что неизвестно, что принесут с собой перемены. А мама хочет, она устала от этой растянувшейся на годы неопределенности.

Из следующей поездки в Калугу отец не вернулся. Утром принесли телеграмму. Мама прочитала ее и положила на тумбочку в прихожей. Через некоторое время вышла из комнаты одетая.

— Ты куда? — спросила ее Галка.

— На работу. А ты — в школу, — сухо ответила мать.

— Мы не поедем на похороны?

— Нет. Нам даже не предложили похоронить отца у нас, значит, там ему лучше, — мать обулась и взялась за дверную ручку. — Не вздумай прогулять школу.

Галка собиралась в школу очень медленно, размышляла. Ей казалось теперь: она знала, что ситуация разрешится именно так. Очень уж плохо было в последнее время дома.

Мама говорила, как будто ни к кому не обращаясь:

— Так не бывает: немножко тут, немножко там.

Отец отмалчивался. Телефон мама по-прежнему ему подавала, не интересуясь абонентом. Отец брал трубку и закрывал дверь в комнату. Мама замирала у окна, словно там было что-то интересное. Галка вставала рядом, проявляя солидарность.

— Свобода — слово ругательное, чего бы это ни касалось, — изрекала мама.

«Лучше бы она плакала», — думала Галка.

Из комнаты выходил отец, и девочка стремительно поворачивалась, чтобы он не остался в одиночестве.

Теперь так не получится — быть и с отцом, и с мамой одновременно. Папу хоронят завтра, и можно успеть даже на поезде, только мама не даст деньги на билет. И оставить ее сейчас — значит, предать ее еще раз вместе с отцом. Лучше потом уговорить маму съездить на могилу.

Вместо школы Галка пошла на речку, села на скамейку у самой воды. Наклонилась, сорвала горлицу. Мама заваривала папе эту траву для сердца. Не уберегла. Не уберегли.

Галка почувствовала, как по щекам потекли слезы. Девочке казалось, что ее слезы падают прямо на песок, а оттуда падают в реку и бегут куда-то вместе с ней, может быть, в Калугу, к папе. Дышать стало легче, причем легче, чем за все последние годы. Галка подумала, что мама зря пошла на работу, там негде выплакаться. Лучше бы отправилась вместе с дочерью на берег реки, смотрели бы на воду, делили с ней горе. А на том берегу они были с палаткой, Галочка была еще маленькой. Она позвала родителей в поход, папа серьезно согласился. Они тогда попали под дождь и долго не могли развести костер, потом долго закипала уха из трех пойманных отцом рыбешек, вкуснее той ухи Галка никогда ничего не ела. Им было хорошо вместе. Галка вытерла слезы, подняла прутик, написала на песке: «Зачем?» Смотрела, как волны смывают эту надпись. Ничто не вечно, и вопросы со временем теряют свою значимость. Даже те, на которые ты так и не получила ответа.

## Как мы чуть не стали пограничниками

Сколько себя помню, я всегда ждала лета. Долгих купаний в речке, теплой земли, по которой так приятно бегать босиком, велосипеда, шумных кузнечиков в траве. Но кое-что все же омрачало мое любимое время года: на каникулы приходилось расставаться с лучшей подругой и соседкой по лестничной клетке Ирой. Она уезжала на дачу, а я — или к бабушке, или куда-нибудь с родителями. Сначала мы обе очень грустили по этому поводу, но вскоре поняли, что временная разлука имеет свои преимущества. Нет ничего уютнее, чем сидеть потом дождливым осенним вечером на диване и рассказывать друг другу о невероятных летних приключениях.

Но бывают новости, о которых необходимо рассказать как можно скорее. Поэтому, едва самолет «Сочи — Москва» выпустил маму, папу и меня на землю, я набрала Ирин номер — мне не терпелось сообщить, что в последний день на море я научилась прыгать с вышки «ласточкой».

Иру было плохо слышно. Единственное, что удалось разобрать, меня потрясло:

— Приезжай скорей! У нас собака! Зовут Тепа!

Домой я ехала как во сне. У Иры — собака! Мне представлялся огромный клыкастый пес с умными глазами, гроза хулиганов и воров, а для своих — верный друг и весельчак. Только вот будет ли он считать меня своей, этот Тепа, Ирин пес?..

Еще меня немного смущало имя — Тепа. Так обычно зовут зайцев в мультфильмах. А огромного серьезного пса лучше было бы назвать Мухтар или Рекс. Впрочем, подумала я, вполне вероятно, что это не полное имя, а уменьшительное, домашнее. Но какое же тогда полное?

Найти ответ я уже не успела — мы приехали. Со скоростью света взлетаю на пятый этаж, звоню в дверь Ириной квартиры. (Ого! За лето я доросла до звонка! Но это сейчас

неважно.) Дверь распахивается, и ко мне радостно бросаются они оба — Ира и Тепа. Ира выросла ровно настолько же, насколько я; зря я надеялась оказаться выше. А Тепа... Он пока что не огромный пес, а прекрасный задорный щенок. Чуть больше моей сандалии. Белый с черными пятнами и очень лохматый. Он заливисто лает и подпрыгивает, у него мокрый черный нос и красный язык.

— Тепа, фу! — кричит Ира, и видно, что ее распирает от гордости.

Мне хочется сказать что-нибудь солидное, соответствующее моменту.

— Слушай, — спрашиваю, — а какой он породы?

— Черный терьер.

Это меня немного удивляет. Ведь Тепа скорее белого цвета, чем черного.

— Понимаешь, — объясняет Ира, — кто-то из его родителей был неправильного окраса. Вот Тепа и получился пятнистый. Но это ни на что не влияет.

Вечером мы с Ирой устраиваем чаепитие в честь моего возвращения. Мы сидим за столом, а Тепа бегает вокруг, кусает за ноги, треплет тапки, воинственно нападает на плюшевую обезьяну.

— Знаешь, Аня, — мечтательно говорит Ира, — я хочу воспитать его настоящим сторожевым псом. Тут по телевизору показывали пограничников, которые ловят нарушителей со своими собаками. Самое главное — чтобы пес был хорошо обучен.

— И ты пойдешь в пограничники? — упавшим голосом спрашиваю я.

Мне вдруг становится невыносимо грустно. Чтобы не заплакать, я спешу перевести разговор на другую тему:

— А какого размера он будет, когда вырастет?

— Большо-ой! — обещает Ира.

— Тяф! — говорит Тепа. Он, видимо, как все малыши, хочет сказать, что уже большой.

— Да, Аня, — спохватывается Ира, — ты не унывай. Мы будем вместе воспитывать Тепу и вместе попросимся в пограничники.

— А разве можно так — с одной собакой?

— Не знаю. Но мы очень попросим. Наверное, можно на полставки. Хотя, конечно, было бы лучше уговорить твоих тоже завести собаку.

Легко сказать — уговорить моих! Я всю жизнь, сколько себя помню, мечтаю о собаке. Но мама с папой, обычно такие понимающие и добрые, в этом вопросе непреклонны. Когда еще мы жили в коммунальной квартире на Арбате, они говорили, что для собаки нет условий. Теперь, когда условия есть, выяснилось, что я пока не достаточно самостоятельный человек и не могу как следует обслуживать даже саму себя, не то что собаку. И, по правде сказать, доля истины в этих словах есть, я действительно не люблю убираться в своей комнате и плохо плету косы...

В общем, я решила больше ни о чем не просить родителей. Пусть сами поймут, что без собаки я зачахну. Особенно теперь, когда у Иры появился такой замечательный Тепа.

До начала учебного года оставалось еще две недели, и мы с Ирой целыми днями дрессировали Тепу. Но, наверное, он был еще слишком мал, чтобы понять, когда надо «сидеть», а когда «лежать». Только команду «голос» щенок всегда выполнял охотно, да и без команды постоянно весело тьявкал.

И вот, в один прекрасный момент, мои родители сдались. Правда, не совсем...

Это было в пятницу, за ужином.

— Аня, — сказала мама непривычно торжественно, — мы с папой посоветовались и решили (сердце мое громко забилося) купить тебе кота!.. Если ты согласна, завтра утром поедете на Птичий рынок.

Сначала я обиделась. Потом расстроилась. Потом представила себе кота, несущего пограничную службу, — и чуть не расплакалась. Но не расплакалась, а неожиданно для себя засмеялась.

— Ну, вот и хорошо, — сказала мама и тоже засмеялась.

Назавтра в нашу квартиру въехал новый жилец — котенок Тихон. Он был куплен на Птичьем рынке за три рубля. Сначала мы с папой долго толкались среди продавцов и покупателей, выбирали. Но когда я увидела Тихона — сразу поняла, что мы приехали именно за ним. Размера он был крошечного, чуть больше мыши, зато очень пушистый. Окраской (Ира бы сказала «окрасом») в точности повторял Тепу: белый с черными пятнами. Только нос и пятки у него были ярко-розовыми.



Очень скоро выяснилось, что Тихон хулиган. Но хулиган гениальный. Например, он обожал стащить у тебя из-под носа катушку или карандаш и начать шумную возню. Но стоило грозно крикнуть что-нибудь вроде: «Тихон! Ах ты воришка!», как котенок виновато приносил украденный предмет на место. Вообще он очень быстро стал понимать человеческую речь. Можно было сказать: «Тиша, пойдем на кухню, я дам тебе рыбки», — и он тут же мчался к холодильнику. Как ни странно, любимым лакомством Тихона были конфеты, особенно леденцы. Разгрызть он их не мог, но облизывал целыми днями — до тех пор, пока леденец не растворится полностью. Впрочем, не отказывался он и от сгущенного молока с сахаром.

Время шло. Через полгода Тепа превратился в довольно неказистую собаку: туловище у него выросло, но лапы остались коротенькими, из-под длинной шерсти их почти не было видно. Так что если Тепа и походил на большого сторожевого пса, то на лежащего с поджатými лапами. Вдобавок он так и не поддавался дрессировке и по-прежнему, кроме команды «голос», ни одно приказание не исполнял.

— Да, Тепа, не оправдал ты наших надежд, — добродушно ворчала Ира, почесывая своего любимца за ухом.

— Нечего было называть его таким несерьезным именем, — тоже в шутку вторила я. — Правда, Тепа?

Ответом мне было всегдашнее радостное «тяф!»

Что касается Тихона, то он представлял собой полную противоположность Тепы. Во-первых, вырос до неопишуемых размеров. Во-вторых, когда у него было хорошее настроение, приносил по команде брошенную палочку (лучше карандаш) и подавал лапу (правда, левую).

— Знаешь, Аня, — наблюдая за Тихоном, сказала однажды Ира, — по-моему, твоего кота вполне можно взять на границу. Представляешь, как он будет полезен! Ведь никому из нарушителей и в голову не придет, что кот работает с пограничниками!

Потом она помрачнела:

— Эх, а с Тепой моим — одни неприятности...

— Не грусти, Ира! — воскликнула я. — Мы выдрессируем Тепу! И Тихон ему поможет своим примером!

В этот вечер я чувствовала себя совершенно счастливой. И за ужином разоткровенничалась больше обычного: расска-

зала маме и папе о нашем решении поступить с Тепой и Тихоном в пограничники. Родители, выслушав мое признание, как-то особенно переглянулись, и мама как-то особенно серьезно сказала:

— Только сначала надо хорошо окончить школу. Никому не нужны пограничники недоучки.

А папа вдруг не то поперхнулся, не то чихнул, и спящий у него на коленях Тихон от неожиданности вспрыгнул прямо на стол, выгнул спину и зашипел. Но нарушить покой и радость этого вечера было невозможно. Через минуту кот опять лежал у папы на коленях и мурлыкал так громко, что казалось, будто под окном работает мотор.

## Наш поезд шел на восток...

*Salve, maris stella*

Капитан первого ранга Павел Михайлович Родионов назвал свою дочку Стеллой, он знал, что на латыни это значит звезда. Несмотря на пережитое в детстве и во время войны, он оставался романтиком, искал в жизни романтику и находил ее. Ведь, кто ищет — тот всегда найдет, во что веришь — то и есть.

Поезд «Москва — Пхеньян», время отправления позднее, но Стеллочка только радовалась. Громкие гудки паровоза, запах паровозной гари, зал ожидания, на любом вокзале все это было знакомо, привычно, почти буднично. Да, есть волнение, даже дрожь, но оно скорее радостное: главное — не заставляют рано ложиться спать. Стеллочка привыкла к постоянным переездам. Ведь папа — военный моряк, командир дивизиона минных тральщиков, и хоть война закончилась, его постоянно перебрасывали в разные места.

Она, то есть я, родилась в Ленинграде. И корни с маминной стороны здесь же, в ижорской земле, в «приюте убогого чухонца». Так что я родом из Ингрии, ингерманландка, чухонка, если угодно. (К таковым относятся, ижора/ижорцы, водь/вожане — знаменитая «Водская пятина» в эпоху Новгорода с ними связана — а также вепсы и т. д., не говоря уже о ингерманландских финнах, которые сокращенно так и называют себя в отличие от финнов — суоми.)

Вот мое самое первое воспоминание:

Где-то в Прибалтике... портовый город. Я учусь ходить: лбом упираюсь в край столешницы. Стол очень высокий, на нем тарелки с едой и рюмки. Ближе всего ко мне огромные ботинки. Эти ботинки сидящих за столом папы и его товарищей, как я понимаю теперь, ритмично, то поднимаются, то опускаются, постукивая об пол. Играет патефон, и я догады-

ваюсь, что между движением ботинок и звуками патефона, есть какая-то связь. Ботинки стучат в такт. Папа и его друзья — сослуживцы за столом подпевают патефону:

Прощай любимый город  
Уходим завтра в море  
И ранней порой мелькнёт за кормой  
Знакомый платок голубой...

Я долгие годы не сомневалась, что песня эта про платок и про нас, был у нас, у мамы, такой синий шелковый платок в белый горошек, (я потом в него заворачивала кукол). Папа уйдет в море, а мы с мамой будем его ждать. Пиллау (Балтийск), Либава (теперь Лиепая), Виндава (Венципс), Рига, точнее, предместье — Болдерая, Клайпеда, Тильзит (Советск) — уже в три года я прекрасно выговаривала эти названия, это и были «любимые города» ведь нам там везде довелось жить (наша квартира оставалась в Ленинграде).

И вот теперь едем в какую-то неведомую Корею. Ехать долго, что-то около двух недель. Целая эпоха для ребенка. У нас, можно сказать, роскошные условия. Два смежных купе. Мягкие красивые диваны, раковина для умывания, столик, покрытый белой накрахмаленной салфеткой, относительно много места. Больше мне уже никогда не доводилось ездить на поезде с таким шиком.

Я смело хожу по вагону, во многих купе двери открыты, и все со мной приветливо разговаривают, кажется, я даже хожу по разным вагонам, так как помню что, когда ехали по Сибири, то там в наш поезд дальнего следования садились люди из небольших городов и на маленьких станциях. И там были не отдельные купе, а, так сказать, отсеки, плацкартные вагоны, видимо. Приветливые старушки в платках предлагают посидеть рядом с ними. И я захожу к ним в гости. Говорят: «Поедем с нами, у нас и корова есть, и овечки, и козочки». На что я отвечаю (позоря, видимо, свою семью... ну уж такая реальность была): «А у нас никого нет, только одни клопы...». Они смеются. В глубине души я удивлялась: и как это можно такое предлагать — неожиданно вдруг уехать куда-то с чужими людьми?..

Много тёмных туннелей, пока едешь — совсем ничего не видно вокруг, а я стою у окошка вцепившись в поручни в проходе вагона, вокруг крошечная тьма, мне страшно, целая вечность проходит, пока поезд, наконец, выходит из туннеля.

Даже сейчас всё думаю: и как это взрослые, мои родители, не боялись отпустить так от себя своего беззащитного ребёнка.

Я не помню, как мы приехали в Пхеньян, но знаю, что ехать надо было дальше, в портовый город Вонсан. И вот, как сейчас прекрасно помню тот местный поезд: деревянные лавки, такие были у нас в трамваях и, в основном, электричках, люди сидят друг напротив друга по 3-4 человека.

Дальше фрагментарно. Папе плохо, он лежит и корчится от боли на деревянной лавке в этом местном поезде, типа электрички... Каменно-почечная болезнь, это так страшно. Не могу, не хочу этого видеть, как страшно, когда взрослые страдают и ИМ БОЛЬНО (Как можно было допустить такое, человек пять лет воевал, прошел всю войну, пять долгих лет! У него уже были больные почки, ну были же более здоровые люди для этого). Потом мы ехали вдвоем с мамой. Вот не знаю, где же был папа, увезли в госпиталь?

Приехали на место без него. Запомнился такой аккуратный необычный домик, где нас поселили, запах настурций и цветы тыквы, почему-то казавшиеся мне очень красивыми, впрочем, они и теперь такие для меня (хотя саму тыкву, как овощ, не люблю).

Мелькало слово «фанза».

Но главное, конечно, не фанза, а фраза, которой, нас встретили другие представители русской колонии: «ЗАЧЕМ ВЫ ПРИЕХАЛИ? ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ ВОЙНА!»

Как же так, неужели, те, кто послал папу, прошедшего всю войну, с больными почками, с женой и маленьким ребёнком, не знали, что будет?

Началась жизнь в Корее, в маленькой русской колонии. Мы пробыли там 5-6 месяцев, а вспоминается как несколько лет, ну как целый год, не меньше.

Море рядом. Я ходила по усыпанному крупным песком берегу и рассматривала ракушки, особенно большие, потому что у нас дома была такая ракушка — пепельница (кажется, и в Ленинграде тоже, и здесь, в Корее). Старалась найти самые большие и красивые, которые подойдут для папиной пепельницы и будут еще лучше той, что есть. Папа какое-то время побыл с нами, а потом уехал.

Я спокойно расхаживала одна по крошечному поселку, деревеньке, заглядывала в открытые двери домиков. Врезались в память, на всю жизнь, несколько слов (сури — водка, пури — огонь, и еще кажется мури). Помню, что по этому поводу шутили папины сослуживцы, что все слова, мол, у корейцев рифмуются. В нашей колонии был мальчик Боря или Вова. Он научился хорошо говорить по-корейски и мог бойко объясняться на рынке. Мама других детей обращались с просьбой к маме Боре или Вовы, чтобы она разрешила ему пойти с ними на рынок и помочь изъясняться при покупках.

Корея (еще не разделённая на две), предстала перед нами как бедная, убогая страна, со своими чуждыми нам обычаями: обувь оставлять на улице, люди присаживаются в туалет, где попало, на глазах у других людей, для женщины с маленьким ребёнком, даже если ему 4-5 лет (наверное, предполагалось, что рожать и кормить она должна постоянно?) нормально ходить с голой грудью. Переводчик спрашивал у отца, не больна ли мадам, раз ходит в закрытом платье?!

С продуктами было неважно.

Тем более, что, например, там у них, в Корее, не было принято пить молоко. Это большая редкость здесь, как узнали русские женщины. Сколько-то литров молока привозили к нам по особой договорённости, кажется, в большом металлическом бидоне. Львиную долю забирал себе начальник по фамилии Нержанов, это я четко помню. Пару раз мы были у них в гостях, когда с нами был папа. У Нержанова были уже две большие дочери, где-то между 9 и 12 годами. Их звали Марта и Мила. А Уткиной (забыла, к сожалению, как звали эту милую скромную женщину), у которой был сын лет шести и грудная девочка, доставалось мало молока, порой всего пол-литра. Она часто оказывалась последней, видите ли, не успевала приходиться «вовремя», с грудным-то ребёнком... «Бедная Уткина», — говорила мама и тогда, и потом, вспоминая нашу корейскую жизнь (потом мы с мамой заходили к этим Уткиным в гости в Ленинграде).

Помню, что мы с мамой часто ходили на склад, где нам выдавали какие-то продукты, а однажды выдававший их кореец, мужчина средних лет, угостил меня печенинкой, я очень обрадовалась и сразу принялась её грызть, но оказалось, что

она с перцем... Непонятно и обидно было до слёз. Видимо, корейцам нравилось такое печенье.

Вспоминается оглушительный стрёкот цикад. Неестественно большие, с мою детскую ладошку, бабочки. И еще пронзительные звуки, издаваемые жуками, светлячками. Нам, детям, казалось, что они кричат МИ-МИ. И мы прозвали их мимиками, не боялись, брали в руки. Один мальчик лет шести (наверное, тот самый Боря или Вова, умевший изъясняться по-корейски?) прикреплял такого светлячка-«мимика» на руль своего велосипеда (велосипедик маленький, но уже двухколесный) и ездил с ним, как с фонариком.

Еще я помню, как однажды плакала, обидевшись на маму, текли и слёзы, и сопли, а я прижимала к лицу букет каких-то жёлтых, пахучих цветов, которые я сама нарвала на ближней, совсем небольшой, пологой сопке.

Было одно поистине драматическое событие в период короткой мирной жизни, которую мы там застали... Я чуть не утонула... Вот однажды вместе с мамой и компанией других людей из нашей колонии сидели на берегу моря, Японского. Все радовались купанию, некоторые заплывали довольно далеко, держа под мышками стеклянные шары, видимо, позаимствовав из тех, что держали на плаву раскинутые во многих местах рыбацкие сети. Вообще-то мне море почему-то не казалось теплым. Я всё больше ходила вдоль самой воды, осторожно ступая на прибрежные камни, и собирала морские звезды. Их было много, разных. Одни поменьше — строгой геометрической формы, как красные звёзды на фуражках или шапках военных, армейцев, другие — очень красивые, с вытянутыми, загнутыми в одну сторону углами, третьи — сами как клубки щупалец. Красные, синие, фиолетовые, бесцветные... Камни неровные скользкие, их обволакивают водоросли. Ну вот иду я, переходя с камня на камень, вижу между камнями дно и там морская звезда. Потянулась ли я к ней или даже еще не успела..., но видимо поскользнулась, да так и осталась лежать с головой между камнями. С интересом смотрю на дно и шевелится мне не хочется. Так бы лежала и лежала вниз головой. Наверное, рот был закрыт, и я не захлёбываюсь. И вдруг сильный рывок и меня извлекают из камней. Я ничего не понимаю — перед глазами стоит картина с морской звездой, очень правильной формы кирпичного

цвета. Кажется, она так и осталась на дне морском. Впрочем, в моей небольшой коллекции была такая же. Была в моей корбочке, в которой помещалось штук пять разных звёздочек...

Меня спасли. Какой-то папин сослуживец. Папы с нами в тот момент не было. Был ли он уже в Китае или просто на работе (скорее всего, день был выходной)? Я жива, со мной не случилось ничего плохого, даже не помню намокла ли одежда, волосы. Все наперебой говорят о том, что я могла бы и голову разбить, и захлебнуться, я ничего не понимаю, просто сижу на берегу. На камне, подальше от воды, разложены для сушки какие-то носки. Я прохожу мимо, и одна из женщин, с глубокой укоризной говорит, обращается ко мне: «Вот видишь из-за тебя дядя побежал в воду и замочил носки!»

Наверное, её муж и был моим спасителем ...

Смотрю на сохранившееся фото: мы с мамой на рынке. Светловолосая худышка, в сарафанчике и соломенной шляпе — это я. Кто-то протягивает руку в мою сторону. Проходящие мимо корейцы так и норовили потрогать меня и мои светлые кудряшки, мы иностранцы — необычные для них существа. Мама с её культом чистоты возмущалась, считая, что у них грязные руки. Когда мы с другими русскими детьми играли в песке, то неподалеку, порой, собиралась стайка корейских ребятишек, они внимательно смотрели на нас, иногда начинали играть рядом. У некоторых детей, особенно девочек, за спиной был привязан ребёнок — братик, сестричка. Некоторые присаживались и начинали тоже копать в песке (не помню, были ли у них совочки и формочки), я как-то с ужасом заметила, что на них нет трусов, только какие-то грязные тряпки...

И вот началась ВОЙНА... Летают самолёты. Не помню кто, может быть и сам папа говорит мне, что, если я найду какую-то игрушку, чтобы ни в коем случае не подбирала, не трогала её. Ходили слухи, что американцы, якобы сбрасывают какие-то отравленные предметы и ещё что-то насчет бактериологического оружия...

Очень страшно, когда над твоей головой гудят самолёты, и от них отделяются бомбы, и летят вниз, на тебя...



Папа уже далеко. Начинается период нашего сидения в укрытиях, траншеях, может быть, окопах, не знаю, как лучше назвать. На землю стелили одеяла, помню, один раз были красные ковровые дорожки, а на них стояли стулья. Может быть, это была личная траншея Нержанова. Он сам там был и еще несколько человек. Его дочери наперебой пытались угадать марки самолётов, сбрасывающих на нас бомбы. А потом помню, как мы с мамой прятались в разных других подобных местах, траншеях. Чаще всего сидели на плотном, колком, шерстяном зеленом одеяле (кажется, его выдали папе вместе с разным обмундированием).

Маме часто бывало нехорошо. Порой у нее из носа шла кровь. Когда бежали в укрытие — окоп, все брали с собой еду, однажды у нас собой были котлеты, мама решила меня покормить, открыла кастрюльку, а они протухли и там, прямо в них, извиваются черви...

Еще на всю жизнь запомнила (то ли в тот самый раз, то ли в другой), как я сидела рядом с какой-то семьёй (кажется, трое взрослых), незнакомые или малознакомые люди, и они ели сухой компот, жевали, доставая из пакета урюк, чернослив, сушёные яблоки. И мне тоже так хотелось, особенно именно яблок почему-то. Я сидела как замороженная, всё надеялась, что меня тоже угостят, но... нет, не угостили... А просить ничего нельзя, тем более у незнакомых... взрослых, ведь в деревне моих предков было такое негласное правило (если попросят, значит, это крайний случай, уже в просьбе отказать нельзя). Так меня мама и воспитывала.

А вот письмо моего отца, полученное мамой в эти дни, оно у меня сохранилось, среди многих других...

«Моя Дорогая Томочка!

Вчера получил первое письмо, посланное тобой 16.08.50, а позавчера письмо через Меньшикова от 28.07.50, которое провалялось у него в кармане. Я получили деньги и не знаю, как их отослать, а это меня сильно беспокоит. Послать своего переводчика я сейчас не могу. Сейчас чувствую себя хорошо и уже несколько дней не болею. Надеюсь, что так будет и в дальнейшем. С питанием тоже кое-как управляюсь, и поэтому ты не беспокойся...

Денег я в том месяце получил больше, так как есть временная надбавка за войну. В этом месяце с меня удержали последнюю часть аванса, взятого в Пхеньяне. Сонин, который привёз деньги, сказал, что в дальнейшем больше удерживать не будут».

Вот они военные будни, в которые мы оказались вовлеченными.

Женщины русской колонии решили, что хватит уже с детьми часами сидеть в траншеях. Ждали-ждали, что о нас всех вспомнят... Командование или кто там. И будет какой-то приказ-распоряжение, а его все нет и нет. Мужья воюют, позаботиться о нас некому. Чего же ждать? Гибели? Были какие-то разговоры о «прямом попадании», кто-то уже погиб. Я с тех пор это выражение «прямое попадание» и запомнила... на всю жизнь.

Наши женщины нанимают какого-то корейского шофёра грузовика, чтобы он отвёз всех нас к советской границе. Так началось наше бегство домой.

В один прекрасный день, ближе к вечеру, приехал этот грузовик, забрасываются вещи, сажают, «закидывают» в кузов детей, туда же забираются и их мамы. Полный кузов женщин и детей. Поехали. Из вещей, конечно же, наиболее необходимое, что-то приходится оставить, бросить. Не помню, чтобы у меня были какие-то игрушки, может, было просто много других впечатлений (никакой куклы, никакого мишки-зайки не припомню). Самым ужасным для меня было то, что мама не разрешает мне взять с собой морские звезды! Ну да, не до них... Небольшую светлую серую коробочку на подоконнике, их там было штук пять, самых красивых из найденных мной... Вот это моё самое большое горе.

Едем на грузовике. Нас в кузове буквально подбрасывает. Кажется, мне некстати захотелось писать. Мама пытается на ходу подставить мне горшок. Куда там, при такой тряске! Кажется, от страху расхотелось... А тут начинается бомбёжка. Мы все выпрыгиваем из грузовика и бежим по кукурузному полю. Бежим неизвестно куда, чтобы спрятаться. «Как же мы спрячемся?» — думаю я с изумлением. Кукуруза посажена так редко. Отдельные растения, кукурузины, так далеко друг от друга, наверное, в метре одна от другой. Бегаем по полю.

Бегают и испуганные куры, кто-то предусмотрительно вез их с собой чтобы потом съесть.

Дальше ночёвка в школе. Наверное, была какая-то предварительная договоренность. Точно не знаю.

Нас всех приветливо встречает школьный учитель или директор, он как-то особенно почтительно любезен с моей мамой, кажется, он отвел нам для сна отдельное помещение, какой-то закуток... Мама не знает, как благодарить его, и дарит ему (как я понимаю потом, он знает русский язык, его изучают здесь в школе), к моему изумлению, МОИ детские книжки. Особенно мне жалко одну — «Волк и семеро козлят», мне её часто читал папа...

И вот ещё — рядом со школой стоял автобус, в котором сидели какие-то люди. Они говорили по-русски и пытались общаться с нами, но мама и другие женщины строго-настрого запретили мне и другим детям разговаривать с ними. Это эмигранты. К ним нельзя даже подходить. Куда они ехали? Выходит, тоже в сторону советской границы. Говорили, они пытались продать кому-то подстреленного фазана. Мне было тревожно и непонятно, даже жалко их. Ведь их не пустили в школу. И они всю ночь сидели в автобусе. Шёпотом рассказывали, что среди них возник конфликт, и кто-то в кого-то стрелял...

Потом одну ночь ночевали на маяке... Высокая лестница, тесное помещение, но спала я крепко...

А вот выдержка из ещё одного письма моего отца маме:

«...В отношении твоего мнимого отъезда к границе я не верил и раньше. Мой переводчик очень плохо переводит, и мне трудно с ним работать. Ко всему этому он иногда любит приврать, что в работе особенно недопустимо. Заменить его другим сейчас не представляется возможным...»

Что-то странное... может быть оно пришло не вовремя, может быть папа не получил какого-то мамино письма, а может быть и «для конспирации»? Ведь мама вместе с другими женщинами нарушила строгий принцип: без распоряжения сверху ничего не предпринимать... Этого теперь не узнать.

И вот, наконец, добрались до пограничного пункта Краскино. Это и железнодорожная станция. Стоит на берегу Залива Петра Великого. Нам, конечно же, было не до тамошних красот. Мне запомнился лишь крохотный садик у вокзала, там росли цветы — весёлая вдова с такими длинными бледными лепестками, разных оттенков, теперь они навсегда для меня — знак тревоги и печали. Мама и ещё несколько женщин сидят на лавочках с открытыми чемоданами, подходят местные женщины, рассматривают, роются, что-то покупают. Всем нужны деньги на билеты.

Потом помню уже нас на перроне. Подают поезд, но проводник не пускает нас в вагон. Требуется взятка (возможно его «вдохновило» то, что мы — нарушители, потому что мы едем без визы? Но ведь все бежавшие так). Мама оставляет меня сидеть на вещах. Я тихо и послушно сижу одна, мне и в голову не придёт показывать испуг или чего-то требовать... Вижу, наконец, бежит мама, а рядом с ней широко и решительно шагает начальник станции. Проводник немедленно пускает нас в вагон и даже помогает с вещами.

Едем в купейном вагоне, ну уже без всякого шика.

Проводница постоянно разносит в трехлитровых банках гранатовый сок. Я попробовала было попросить маму купить, но она не покупает, видимо, у нее мало денег. Какая-то женщина из наших же шутит, глядя на меня и обращаясь к проводнице: нам сока такого не надо, дескать, гранаты и бомбы надоели... и впредь не предлагайте.

И вот наконец мы дома, в Ленинграде.

Наш уютный дворик. Неработающий фонтан, вокруг которого мы часто бегаем с мальчиком Изиком. На первом этаже нашего дома, стоящего в виде буквы П, есть одна всегда едва полуоткрытая дверь. Там за швейной машинкой сидит грузный мужчина с бородой. То ли папа, то ли дедушка Изика. Все зовут его Табачников. Он бесстрастно сообщает мне, что Изика дома нет.

Оказывается, Изик уже гуляет во дворе — как раз рядом с фонтаном!

Я подхожу к нему, хочу рассказать, почему я не выходила гулять, что мы были в Корее, в Пхеньяне, Вонсане и Сейси-

не, но я знаю... ЧТО ОБ ЭТОМ РАССКАЗЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ. И молчу. А главное: ведь так хотелось рассказать, что у меня были морские звёзды, я сама нашла их, высушила, они лежали в коробке, но мама из-за бомбежки не позволила мне взять их с собой... Это детское горе и по сей день не забыто.

А вот последнее письмо отца относящееся к этому периоду:

«У меня много работы, а в моих частях много убитых и раненых. Каждый день самолёты. Я жив и здоров...»

Потом я знаю, что он был направлен в Китай, и мы дождались его только через год .

Долгие годы я хранила в душе эти воспоминания. Всё думала, что надо бы записать. Ну вот, наконец, записала.

P. S. По приезде, в Ленинграде, маму вызывали в какое-то высокопоставленное учреждение, чтобы объявить, что она обязана оплатить штраф (кажется 3000 руб.) за въезд на территорию СССР без визы, добавив, что конечно же, это просто формальность. Родственники дали ей взаймы, и она смогла оплатить этот штраф.

## В флибустьерском дальнем синем море...

Люся забежала к Татьяне вечером, накануне долгожданного выходного, обсудить план воскресного бегства. Они учились в школе, а точнее, подстегивая время (когда же наконец закончится эта школа?), подобрались к седьмому классу, с тоской преодолевая ненавистные контрольные по физике и математике. В то далекое время суббота еще не была причислена к выходным, и привычная неизбежность школьной рутины отступала только по воскресеньям. А в это воскресенье им предстояло необычайное, рискованное и оттого особенно, заманчивое дело.

— Завтра часов в девять подходи к балкону, попробую спустить тебе сумку, — предупредила Татьяна.

Стояли первые, свежие и прохладные майские дни. Ветер с могучей реки, еще недавно покрытой льдом, напоминал о пронизывающих заморозках ранней амурской весны. А пятеро семиклассников уже несколько дней обсуждали планы совместной вылазки на безлюдный, каменистый берег Амура, в такую пору не принадлежавший к популярным местам загородных прогулок. Но в этом и состоял один из главных плюсов. Планы были грандиозными: предполагалось захватить с собой продукты и транзистор, расположиться в удобном месте, прикрытом валунами от ветра, и развести костер, а главное — ощутить себя одинокими и свободными от школьных и домашних обязанностей, от родительского контроля робинзонами, заброшенными на необитаемый остров. Кстати, пустынным берег был не только по причине весенних холодов, но и потому, что школа, третья по счету, которую Татьяна сменила, переезжая с родителями на новые места службы отца, находилась отнюдь не в многолюдном Хабаровске, а в небольшом военном городке, откуда до Хабаровска нужно было еще полчаса добираться на трамвае.

Накануне Татьяна предприняла попытку объяснить родителям, как важно для них, тринадцатилетних, осуществить свой план, доказать самим себе, что они способны на Поступок. Выйти в многокилометровый пеший поход, провести день на пустынном, продуваемом ветрами берегу, своими руками обустроить место для костра, разве это не Поступок? Это было время, когда из радиоприемников отовсюду доносилось волнующее и тревожащее: «В флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса».

Красноречие Татьяны было потрачено впустую. Мать, как часто бывало, вынесла непререкаемое суждение:

— Не может быть и речи. Никуда не пойдешь, даже не думай.

Откровенность в разговоре на «запретные» темы, о которых Татьяна к своему возрасту, имела достаточно расплывчатое представление, не была в семейных традициях, поэтому мать высказалась нейтрально:

— Мало ли чего там можно ожидать в вашей компании. С вами же и мальчишки идут.

На помощь был призван отец для заключительного, весомого «нет».

Оставшись одна, Татьяна собрала хозяйственную сумку, положив туда специально приобретенные банку маринованных кабачков и банку томатного сока, хлеб, спички. Упрямство и склонность к рискованным авантюрам, очевидно, отличали Татьяну с детства, но осознать эту свою особенность у нее получилось лишь через много лет. Уснуть она долго не могла. Минут за пятнадцать до полуночи за окном время от времени раздавался частый топот бегущих ног. Татьяна привыкла к этим субботним ночным звукам. Приметы гарнизонного городка: матросы сломя голову неслись из клуба после танцев, чтобы успеть минута в минуту явиться в часть до конца увольнительной.

Утром Татьяна вскочила задолго до девяти и принялась связывать сумку заранее приготовленной веревкой, чтобы потом налегке и, по возможности, не привлекая внимания, вышмыгнуть из дома. День казался довольно прохладным, но она все равно под платье надела купальник и захватила полотенце. В воображении рисовалась картина: серые волны накатывают на берег, и она, Татьяна, единственная из всех, решается войти в холодную воду.

К девяти часам под балконом на втором этаже появляется Люся. Роли распределены, она знает, что должна подхватить тяжелую сумку, которую Татьяна спускает на веревке. Приземление сумки происходит удачно и даже без шума. Но Татьяна представила, что могут подумать соседи или прохожий, оказавшийся на улице в такую рань. Ограбление квартиры, вызов милиции... Это прибавляет ей решимости, и она выбегает из квартиры, тихонько захлопнув за собой дверь. Подруги, держась вплотную к стене дома, чтобы их, как надеялись, не было видно из окон, перебежали во двор, а оттуда в конец улицы, в сторону от центра городка, с его старыми краснокирпичными казармами, упрятанными во дворах, и благоустроенными двух- и трехэтажными жилыми домами. На пути к северной окраине уже поджидали товарищи по приключению, также готовые к походу: в сумках припасенная еда и старые байковые одеяла, чтобы разостлать на голой земле в качестве пляжных ковриков. Дорога вела мимо деревянных домов частной застройки, сараев и многоквартирных бараков, через глубокую пологую долину, и затем — под уклон, на диковатый берег Амура.

Место, где компания наконец устроилась на привал, оказалось далеко не таким располагающим к долгому отдыху на природе, которая была представлена замусоренным, пахнущим стоками галечным берегом. Ветер с реки стал холоднее, небо хмурилось, и погода не обещала приятных перспектив. Люся поёжилась:

— Может вернемся, пока нет дождя?

Татьяна на секунду задумывается.

— Зря что ли готовились столько времени. Переждем.

В какие только приключения они с Люсей не вязывались из-за смелых идей Татьяны, которой иной раз хотелось испытать себя в роли другого человека, примерить новый образ, новую внешность. За пару лет до вылазки на берег Амура ей удалось на спор убедить Люсю переодеться в старушек: натянуть бабушкины длинные юбки, очки, глухо повязать старушечьи платки — и вдвоем проковылять по главной улице городка. Татьяна поспорила, что затея пройдет. Действительно, одиннадцатилетним девчонкам, дрожащим от еле сдерживаемого хохота и одновременно опасности разоблачения, удалось проделать примерно половину пути, сгорбив-



шись и шаркая ногами. Они договорились усиленно прятать руки в длинных рукавах, а вот за лица, спрятанные очками и запудренные, почему-то боялись не так. Но тут навстречу им попался военный патруль. Матросы и офицер подозрительно рассматривали девчонок.

— Решили, наверно, что мы сбежали прямо со сцены дома культуры, — смеялись потом подружки, но тогда не стали риксовать и быстренько нырнули в ближайшую подворотню.

Усилия по разжиганию костра на берегу пришлось приложить нешуточные. Хворост, за которым ребята отправились в ельник, не торопился разгораться, пока в костер не пошли нещадно чадившие старые газеты. С того дня вкус маринованных кабачков и печеной картошки надолго запомнился Татьяне, вместе с запахом костра и предвкушением головокружительного испытания, словно прыжка из обыденности в запретное неизведанное.

Состоялся и задуманный Татьяной героический подход к воде. Последовать за ней никто и не пытался. Сбросив платье и оставшись в купальнике, она направилась к воде, небрежно помахав компании:

— Попробуем водичку.

Собрав всю волю, она сделала первый шаг в воде, которая оказалась жгуче ледяной, но заставила себя окунуться. А после согрелась у костра. Накрывшись одеялом и изо всех сил сдерживая дрожь, делала вид, что ей такое не впервой. Все-таки смогла, думала она.

Домой она возвратилась озябшая, хозяйственную сумку оставила у Люси, чтобы потом незаметно вернуть домой. Татьяна надеялась, что ей удастся не привлекать внимания родителей, а если повезет, может быть дверь откроет бабушка. Она понимала, что отвечать за тайное бегство из дома все же придется, но не предполагала сцены, которая ожидала ее дома.

Родители встретили дочь настороженным молчанием.

— Явилась-таки, — бросила наконец мать.

Подойдя ближе и присмотревшись, она заметила торчащую ляжку купальника.

— Ты посмотри, она и купальник надела, — возмущенно обратилась она к отцу. — Чем вы там занимались, а? Какие купальники могут быть в такую погоду? Что вы делали?

Мать вдруг почувствовала запах костра и напряглась еще больше.

— Неужели еще и курили? — с негодованием воскликнула она. — Не хватало только, чтобы случилось самое страшное для девушки!

Татьяна знала, что никаких сигарет и в помине не было, ее одежду пропитал запах костра. Но как объяснить? И что такое самое страшное? То, что она в купальнике или то, что они будто бы курили? От обиды и несправедливости на глаза наворачивались слезы. Подозрения родителей в тайных злостных умыслах были гораздо обиднее, чем нагоняй за непослушание.

Вот так, думала она. Сначала взрослые не дают человеку открыто объяснить, чего он хочет и почему. Для чего мне так нужен был этот день? Да просто потому, что «в флибустьерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса». Почему, если другие не хотят понять твой поступок, они объясняют его по-своему? Впервые задумавшись над этим, Татьяна не предполагала, что в течение многих лет, в разных жизненных коллизиях, будет задаваться этим вопросом, но это уже совсем другая история.

## Лысаба

Не знаю, сколько мне тогда было лет от роду, но помню, лежу на полу с закрытыми глазами. Стараюсь не дышать, чтобы пугливые козлята меня не боялись. Пока старшая сестра Тонька в школе, они, как говорит мама, «на моём попечении». Мне до школы ещё, по словам сестры, «как до луны пешком». Не шевелюсь. Вот мягкие мохнатые мордочки начинают осторожно обнюхивать моё лицо. Щекотно, едва сдерживаю смех. Наконец, осмелев, козлята начинают запрыгивать на меня и топтаться на моём оголённом животе. Не выдержав такой экзекуции, громко фыркая. Козлята шаркаются в сторону, забиваются в угол, за сооружённую из табуреток загородку. На полу остаётся чёрный горох их какашек. Какашки нужно убрать, иначе от них на ещё некрашенных половицах пола останутся чёрные пятна, и мама поймёт, что я опять выпускала козлят бегать по дому. И за это я получу полотенцем по «бестолковой голове».

В субботний день мы с Тонькой обычно надраиваем пол прутьями голика, посыпав перед этим половицы речным песком. Старшая сестра «приучает меня к трудолюбию». На что мама только головой качает:

— Дылда ты этакая! На пять с половиной лет ребёнок старше! А ума ни на грош!

Ребёнок — это я. И я это понимаю. Ведь Тонька выше меня чуть ни в два раза. Это хорошо видно по зарубкам на косяке двери, которые каждый год в дни нашего рождения делает отец, измеряя наш рост. Но вернёмся к козлятам. Эти воспоминания милее. Плотно прижимаясь друг к другу, они укладываются спать, сливаясь в пушистый белый комок, из которого торчат маленькие рожки и лёгкие изящные копытца...

Мне становится скучно. Тогда, подперев входную дверь на крыльце палкой, как велит папа, нахлобучив на голову

шапку «из рыбьего меха» и накинув на плечи перекрашенную из белой в синюю плюшевую шубейку, направляюсь к соседке, тётё Лёле Котовой, «на бесёду». Красивый, выкрашенный в сиреневый цвет дом Котовых находится через дорогу, напротив нашего, ещё не обшитого дома. Я уже знаю, как у них открывается калитка. Нужно только встать на цыпочки и постараться повернуть деревянную заложку. Во дворе начинают тревожно квоктать куры. Я здороваюсь с ними:

— Здравствуйте, курочки! — но они, судя по усилившемуся квоктанью, не очень-то мне рады. И зовут на помощь петуха. Петух клевачий. Помня, как однажды он до крови раздолбал мне клювом голову, испуганно стучу в кухонное окно и кричу. — Тётя Лёля! Тётя Лёля! Я к вам погостить пришла, но петуха боюсь!

На крыльце появляется дородная тётя Лёля. Она отгоняет задиру-петуха вглубь двора и масляно улыбается мне. О том, что улыбка у тётё Лёли «масляная», мне сказала Тонька. Тонька почему-то не любит тётю Лёлю. И не водится с её дочкой, Анечкой, хоть та всего на два года младше Тоньки.

— Заходи, гостя, заходи! Побесёдуем, — воркует тётя Лёля, придерживая чалму на голове рукой. Голова у тётё Лёли в любое время года, даже летом, закутана в толстый пуховый платок.

Как может мёрзнуть голова в такую жару? Вопросы жгут язык, но я их проглатываю. Свеж в памяти урок, преподнесённый мне дочкой тётё Лёли, Анечкой. Однажды я по привычке засыпала её вопросами. Анечка изловчилась, схватила меня за нос и долго держала его зажатым в своих цепких пальцах, приговаривая: «Любопытной Варваре оторвали нос на базаре!»

«Анечка», как всегда ласково называла её сама тётя Лёля, а по её примеру и все соседи, была старше меня года на четыре, и уже, как и моя сестра Тонька, ходила в школу. Взрослые мальчишки дразнили дочь Котовых «Анькой-пулемётчицей», хоть на героиню всеми нами любимого фильма «Чапаев» она вовсе не была похожа. Волосы у Анечки Котовой всегда были напомажены репейным маслом, а тугие косы уложены на затылке корзиночкой. Тётя Лёля считала, что репейное масло хорошо укрепляет корни волос. А волосы у Анечки были всем на зависть. Особенно, когда она их рас-

пускала: пышные, ярко-рыжие, в мелких завитушках. С моими, по словам сестры, «мышинными хвостами цвета лежалой соломы», — не сравнишь. С детства волосы доставляли мне немало огорчений: мягкие, как пух, и такие редкие, что сквозь них просвечивала голова. За что Тонька прозывала меня Лысабой. Прозвище мне не нравилось. «Лысым» прозывали дядю Ивана Хоботова, Гришкиного папу, у того вообще не было волос на голове, только жалкие кустики на затылке. Прозывали Лысым Гришкиного папу за глаза. А кому нравятся обзывки? Да что поделаешь? Прилипло, не отдерёшь. У сестры волосы были густые, жёсткие и угольно-чёрные, которые она заплетала в две толстые косы. Иногда, в обиде на сестру, я дёргала её за них, за что получала смачные затрещины. Но не плакала, а только почёсывала гудящее ухо...

Я, кажется, отвлеклась. В доме у Котовых всегда царил порядок. Я тщательно обметала от снега валенки и снимала их прямо на крыльце. Даже само крыльцо у соседей было выстлано светлыми половиками. Ни козлят, ни поросят, как у нас, Котовы в доме не держали. И только толстому белому Барсику позволено было заходить в дом, и то только в кухню. В комнату его не пускали. Комната отделялась от кухни не как у нас, цветастой занавеской, а белой дверью с красивой позолоченной ручкой. Дверной проём закрывала жёлтая бархатная штора с рюшечками. Я скромно усаживалась на краешек тахты возле двери. И никакие уговоры пройти в комнату меня не убеждали. Помнила мамин наказ: «Никогда ничего у них не проси! И дальше кухни нос не суй! Понятно?». Понятно не было. Но я не спрашивала, согласно кивала. Мама всё равно ничего больше не скажет, отговорится: «Вырастешь — узнаешь!»

Дядя Митя, тёти-Лёлин муж, работал каким-то большим начальником. И денег у них, как говорила мама, «куры не клюют». Я это однажды проверила, бросив на асфальтовую дорожку их двора две монетки по копейке. Куры, постучав клювом по монеткам, быстро потеряли к ним всякий интерес. Тётя Лёля не работала. Она «вела домашнее хозяйство». Хотя никакого хозяйства у них не было. Куры да кот. Помню, как однажды летом дядя Митя нёс домой за спиной тюк свежескошенной травы. Мама, поравнявшись с ним, удивлённо спросила:

— Дмитрий Иванович, а трава-то вам зачем? Ведь у вас скотины нет.

На что он с улыбкой ответил:

— У Лёли вечно голова болит. Никакие таблетки не помогают. Решил вот теперь ей траву заваривать!

Тётя Лёля всякий раз угощала меня леденцами. Но я категорически отказывалась, хоть у самой слюнки текли. Леденцы мама покупала нам с сестрой только с получки. Тётя Лёля удивлённо качала головой:

— Ой, какая воспитанная девочка!

От чая я тоже отказывалась. Тогда тётя Лёля наливала чай себе в красивую, с золотой каёмочкой чашечку, а пила из блюдца, ещё более красивого, чем чашка. Вообще в доме у Котовых было много необычного и интересного. Перехватив мой, прикованный к чему-то любопытством взгляд, тётя Лёля охотно объясняла:

— Это кофемолка. У вас такой нет?

Я качала головой. Кофе в зёрнах мы не покупали. Для нашей семьи это было слишком дорогим удовольствием.

— А это самовар. Самовара тоже у вас нет?

Я опускала глаза, чтобы не видеть тёти-Лёлиной снисходительной ухмылки. Воду для чая мы кипятили на плите, в чёрном от копоти чайнике.

В кухне, на стенке, напротив входной двери, у Котовых висели часы с кукушкой. Мне позволялось быть в гостях только один час. Когда кукушка выскакивала куковать второй раз, я испуганно спрыгивала с тахты и бежала на крыльцо обуваться. С этими тонкостями гостевого этикета знакомила меня мама, грозя пальцем и (для пушей убедительности!), нарочито строго нахмурив лицо: «Нельзя надоедать людям! У тёти Лёли своих, взрослых, дел полно».

— Мама-то с папой больше не дерутся? — с елейной улыбкой спрашивала меня тётя Лёля во время наших «бесёд».

— Да нет пока, — беспечно болтала ногами я. — Получка ведь у папы ещё не скоро. — И резко переставала болтать ногами, вспомнив мамины наставления: «Хоть в гостях ногами не дрыгай!».

Ругань и драки случались во многих семьях. В ту пору привычно было свою правоту кулаками доказывать. Разница была только в том, кто и кого бил. Маленькая (ниже моей

Тоньки ростом) и сухая соседка тётя Дуся частенько во дворе валтузила своего мужа, дядю Павла, когда тот приходил домой с работы, как она кричала, «насладивши свою утробу». Острые кулачки тётя Дуси, наверное, только щекотали толстый живот дяди Павла. И он, знай себе, похохатывал, приговаривая: «Так его! Так его, мышонок!». А у Смирновых от мужа Вани пряталась по соседям тётя Маша, которая работала в столовой на раздаче. Она всегда очень ярко красила губы, чем выводила из себя дядю Ваню, который, по словам мамы, ревновал тётю Машу «к каждому столбу».

Зачем взрослые ревнуют друг друга? А уж тем более к столбам? Но маму не спросишь. А то опять скажет, что у меня «уши, как локаторы». И Тонька будет злорадно дёргать меня за мочки моих оттопыренных ушей.

В нашей семье на драку заводилась мама. И отец спуска ей не давал. Громкоголосая мама своих эмоций сдерживать не умела. За руганью и дракой наших родителей тётя Лёля наблюдала из окна. И когда Тонька дёргала маму за руку, прошептал: «Мам! Тише ты! Вон, смотри! Тётя Лёля опять подслушивает и подглядывает!» — мама в сердцах отпихивала её руку в сторону:

— Пусть слышит! Это они с дядей Митей под одеялом дерутся! Он партийный! За свою репутацию боится! А мне скрывать нечего! Я у себя дома! Никого и ничего не боюсь!

Я много раз пыталась представить, как дерутся под одеялом тётя Лёля с дядей Митей, но представить этого никак не могла. А спросить у Анечки как-то стеснялась.

Точного значения многих выражений, которые звучали в речи взрослых, я, разумеется, не знала, о смысле приходилось только догадываться. Иногда случались и курьёзы. Слова «схвати за шиворот», по моему разумению, означали — схватить за воротник со стороны спины. Но какой гогот подняла Тонька, когда я, увидев из окна у тётя Лёли пушистый воротник зимнего пальто, воскликнула: «Какой красивый зашиворот!». Лексиконом взрослых Тонька в ту пору владела лучше меня.

Дом у нас был собственный. Его построили мама с папой, как они с гордостью говорили, «своими собственными руками». Даже помню, как мы всей семьёй драли мох на болоте, чтобы затыкать им щели между брёвнами сруба. Помню, как

забирались в дом по деревянной лестнице. Тогда ещё в нём не было ни коридора, ни крыльца. Но зато был высокий порог, в ту пору мне по пояс. Перешагнуть через него я не могла, переваливалась на животе, перекидывая на другую сторону порога свои ноги. Короче, стала осознавать себя я именно в этом недостроенном доме. Хотя родилась в селе Мурино под Ленинградом. По крайней мере, так было зафиксировано в «метриках», то есть в свидетельстве о рождении. Но в большом городе мы почему-то не прижились. И хоть родственники, приютившие нашу семью, уговаривали нас остаться, отец решил построить свой дом в посёлке, где жила бабушка Нюша, мамина мама, и все мамины младшие братья. А в деревне Горка, в двадцати километрах от посёлка, жили папины родители — дедушка Ваня и бабушка Дуня. Как сейчас помню, бабушка Нюша всегда заступалась за меня. Услышав мой рёв, грозила Тоньке пальцем: «У, кобыла! Опять забижает ребёнка!» — что злило сестру ещё больше. И она щедро награждала меня новой порцией подзатыльников.

Но были у нас с сестрой и общие радости. Это случалось в день маминой полочки. С зарплаты мама покупала нам что-нибудь из одежды, леденцы к чаю и толокно. Похожий на муку порошок мама замешивала на воде с сахарным песком и мочёной брусникой. Брусника, залитая колодезной водой, хранилась в двадцатилитровой бутылки. Ели толокно мы обычно по утрам. И с большим аппетитом. Это тебе не геркулесовый кисель, который так обожал папа. Он любил всё, что было «полезно для организма». У отца, как я помню, всегда болел желудок. И он ел только белый хлеб. Не батонную булку, а именно буханочный хлеб, причём с какими-то отрубями. Однажды мама угостила нас с сестрой этим хлебом. И мы, намазывая вареньем, с удовольствием его уплетали. Когда отец пришёл с работы и мы сели ужинать, выяснилось, что белого хлеба больше нет. Что тут началось!

— Почему ты скормила мой белый хлеб детям?! Они — здоровые, я — больной! — он выскочил из-за стола и в сердцах сильно хлопнул дверью, будто не мы, а бедная дверь была в чём-то виновата.

Мне почему-то сразу захотелось в туалет. Я схватилась за ручку двери, чтобы выскочить в коридор («уборная» находилась в хлеве), но дверь не поддавалась. А у меня от испуга



вот-вот по чулкам потечёт, тёпленькое и противное... И тогда я произнесла фразу, которая вызвала у родителей истерический хохот:

— Вот больной, — говорю, — так сильно дверь захлопнул, что здоровому не открыть!

Ушлая я была! Что есть, то есть! Такое, бывало, отмочу, что родители тут же про ссоры забывали.

...А вот папину получку ждали со страхом. В этот день отец входил в дом с вызывающей улыбкой, которая выдавала его «праздничное настроение».

— Опять, паразит, нос наварил! — обрушивалась на него мама, едва он успевал перешагнуть наш знаменитый своей высотой порог.

Отец сначала миром пробовал сдержать её праведный гнев:

— Опять лаешься? Ну что ты, Верка, в самом деле? Мне что, и с получки выпить нельзя?

— А чем детей кормить будем, гад ты ползучий?! Тоньке пальто к зиме справить надо! Рукава уж по локоть! В такой одежке только от долгов бегать! Так с чего пить-то?! — напала на него мама. И со слезами на глазах молотила его кулаками по спине. — Эгоист проклятый! Только о себе и думает!..

— Заткнись ты, наконец, — хватал её за руки отец. Но «заткнуть» маме рот было не так-то просто. Проклятья так и сыпались на голову отца.

На всякие обзывки, как говорили мы в ту пору, мама была мастак! Отец будто только этого и ждал. Разгневавшись, он выскакивал во двор и садился на мопед. Заулок заполнялся синим едким дымом. Мать, белая от негодования, грозно смотрела в окно ему в след. Губы её продолжали еле слышно шептать:

— В шалман лыжи наострил. Добавлять будет. Как же?! Веский повод есть — с женой поругался.

— Мам! Перестань ругаться! — канючила сестра. — Опять будете драться целую ночь!

— Хорошо тебе говорить! — огрызалась на неё мама. — Он, паразит, пустые макароны жрать не хочет! А с чего мне ему мясо каждый день покупать?! Нет денег ребёнка (то бишь — меня!) в детский сад устроить, а он свою утробу убажует!

Ругаться мама умела отменно. Такими словечками сыпала, что у всё видящих и всеслышающих соседей животы от смеха надрывались. «Ну Верка, ну артистка! Тебе бы в цирке клоуном работать! Народ на твои концерты валом бы валлил!». Мама умела передразнить любого так, что все, кому доводилось это видеть, смеялись до коликов в боку. И даже отец, которого она пародировала чаще всего, не выдерживал, отворачивался, не в силах сдержать улыбки, и говорил нам: «Ну что с неё возьмёшь? Хулиганка!»

Ругались мама с папой не только в день полочки. Случалось это нередко и в другие дни. Наша с сестрой кровать находилась за двумя шкапами, которые отделяли комнату от нашего спального закутка. Между шкапами была натянута ситцевая занавеска. Когда мама с папой были в ссоре, спать мама переходила к нам. В нашем окружении она чувствовала себя в безопасности и потому кидала в адрес отца всякие обидные обзывки и даже частушки, иногда собственного сочинения. Одну из них помню до сих пор:

Ах ты, Гитлер! Ах ты, гад!  
Убил хороших всех ребят!  
Шантрапа осталася,  
И та завоображалася!

Отец скрипел зубами и стонал, как от острой зубной боли. В шестнадцать лет он помогал партизанам и, выполняя одно из заданий, едва не подорвался на mine. Взрывом его контузило и осколком оторвало на ноге большой палец, чем отец после войны очень гордился. Мамины частушки задевали его за живое.

— Заткнёшься ты или нет?! — зеленел он. — Или сейчас получишь!

Я плакала от страха и зажимала маме рот ладошкой, чтобы та ничего больше не говорила. Тонька, насупившись, молчала. Но мама, выдумав ещё что-нибудь, более изощрённое, отводила мои руки и выкрикивала обидное в занавеску. Отец свирепел, срывал занавеску и тучей нависал над нашей кроватью. Мать закрывала голову ватным одеялом, а мы с рёвом цепляли за руки отца, защищая её от его ударов. Иногда, вконец разъярив отца ядовитыми рифмами, мать пряталась под кровать или за печку, откуда отец вытаскивал её кочергой и выталкивал в одной тонкой ночнушке на улицу. При этом

закрывал дверь на крючок. Стоя на морозе под тридцать градусов, мать не успокаивалась, продолжала крыть отца неблагоприятными эпитетами. И только когда начинала замерзать, шла на хитрость и пускала слезу:

— Не дури, Борь, открой дверь, замерзаю!

На лице у отца появлялась победная ухмылка. Он откидывал крючок. И тут же слёзы у мамы просыхали. Войдя в дом, она снова махала перед лицом отца кулаком:

— У, изверг ты этакий! Чтоб перекосило рожу твою холёную!

Тогда отец уже кричал нам:

— Заберите её к себе! Иначе я за себя не ручаюсь!

Мама ложилась к нам и затихала.

Измученные от переживаний и уставшие от рёва, мы с сестрой засыпали. А утром с удивлением обнаруживали, что мать с отцом спят в обнимку на своей собственной кровати. Нам с сестрой тогда была неизвестна мудрая народная поговорка: «Милые бранятся — только тешатся». И хотя мама затевала ругань первой, нам её было очень жалко. Она ведь от бессилья своего ругалась.

Отец был очень упрям и ревнив. Мама от природы была одарена красивым и сильным голосом, переливами напоминающими голос популярной в ту пору певицы Людмилы Зыкиной. До моего рождения какое-то время мама даже работала в Доме культуры художественным руководителем, хоть образования специального не имела. А у кого на селе оно было после войны? Тем более что ни отца, ни отчима у мамы не было. Её родной отец, служивший до войны в милиции, слыл ненавистником всякой несправедливости. И однажды, заступившись за невинного парнишку, ударил своего начальника. А когда его пришли арестовывать, зная возможные последствия для себя и для семьи, выпрыгнул из окна девятого этажа со словами: «Живым вам, гадам, не сдамся!». Маме тогда было всего пять лет. Трое младших её братьев родились от отчима, которого арестовали по чьему-то навету в тридцать седьмом году. Больше о нём семья и не слышала. Семилетку мама заканчивала в вечерней школе, уже с малым ребёнком на руках. Работать в Доме культуры ей, конечно, нравилось. Она и пела, и танцевала, и на гитаре играла. Руководила народным театром. Но под давлением отца была вынуждена

уйти с этой работы. Мамины выступления на сцене всегда заканчивались ревностными потасовками. После концерта отец напивался «до зюзииков» и в пьяном угаре кричал:

— Надо мной уже все мужики на работе смеются! Твоя жена, говорят, на сцене орёт, как граммофон! Хоть из зала выбегай!

— Врёшь, паразит! — парировала мама. — От зависти да ревности навет чинишь! Твои мужики мне из зала «браво» кричали!

Были, конечно, в речи родителей выражения и покрепче, и похлеще, но мы с сестрой их никогда не повторяли. Хотя... один случай могу рассказать. Из армии пришёл мой дядька. Все родственники, как всегда, собрались у нас за большим и щедрым столом. Мне захотелось омлета, но дотянуться до середины стола было трудно. Я попросила об этом маму. Но та, занятая разговором, не услышала меня. Тогда я решила продемонстрировать свои познания богатого русского языка. «Ты что, б..., меня не слышишь?!» — громко крикнула я. Все головы разом повернулись в мою сторону. Наступила изумлённая тишина. И дядюшка в красивой воинской форме вдруг изрёк:

— Я бы за такие слова — на одну ногу встал, за другую раздёрнул!

Все лица так же молча повернулись в его сторону. А я сползла на пол, под столом протиснулась между чьих-то ног и спряталась в спальне под кроватью. Чтобы вытащить меня оттуда, дядьке пришлось снять парадный мундир. Тут я дала такого рёву, что гостям пришлось заткнуть уши. А дядька, уложив меня на кровать, стал ласково уговаривать простить его за грубость. Обещал купить мне настоящую куклу.

И купил. Матроса Серёжку, в бескозырке с лентами. Голова у Серёжки была пластмассовая, а тело тряпочное. Потом я наряжала его в разные одежды. Обида на дядьку прошла, а вот матерных слов я больше никогда не произносила. До сих пор эти «крепкие словечки» режут слух.

Детское прозвище (Лысаба!) изжило себя. А жизненные уроки, полученные в детстве, до сих пор остались в памяти.

## Учитель

(отрывок из повести)

Яростная дробь барабана, стремительный ритм огневого танца, самозабвенные звуки зурны... Неужели она здесь, рядом со счастливыми из детского ансамбля «Счастливое детство»? Год в подготовительном классе пролетел, отбор в ансамбль Заира прошла, и вот теперь она здесь, куда так мечтали попасть все девчонки и мальчишки, начиная от четырёхлетнего Муслимчика-виртуоза до десятилетней неповоротливой Раи. Заире девять, два года она ходила на балет, пока хореограф не переехала в Ростов, поэтому и в подготовительную группу девочка легко попала. Спинку держит, ловит каждое слово, каждое движение учителя, в такт попадает. Поэтому ее и не заметили, и это просто счастье! Мечтаешь быть незаметным, когда каждые несколько секунд раздаётся крик, музыка мгновенно останавливается, и все смотрят на того несчастного, кто выбился из строя, пошел не в такт, замешкался. Маленький и стремительный Учитель подлетает к жертве, цепко хватая за плечо, и каждое его слово в тишине приговора к полу, к стене, к ужасу, к чему угодно. Зал набит детьми, родителями, музыкантами, но тишина звенящая. Заира не хотела, чтобы мама была сегодня на отборочном экзамене в зале: если Учитель будет груб, мама вступится за нее. Впрочем, почему «если»? Он точно накричит, оскорбит кого-то, потому что всегда кто-то на долю секунды ошибется, и ужас вины и всеобщего внимания парализует и того несчастного, и любого другого — ведь через секунды ты можешь быть на его месте. А мама вступится за любого. Заира даже боится с ней ходить по городу: мама не пройдет мимо нахала, она кинется в любую гущу — разнимать и спасать. В школьном дворе мама всегда смотрит по сторонам: а вдруг кого-то обижают? Вдруг драка? И это страшно не потому, что Заира боится потом насмешек девчонок или мальчишек над собой

из-за мамы, а потому что страшнее всего, если мама окажется в смешном и нелепом положении и все будут смеяться над ней. А здесь, в зале, она боялась, что Учитель отвернётся от нее, если мама вмешается. Как объяснить ей, что молчание и терпение — это лучшее, что можно сделать? Желание учиться танцу именно у этого человека сильнее всего, хотя то, что он делает, противоречит всем ее представлениям и всему, что требуется от учителя. Разве можно посметь перечить этому ястребиному взгляду, усомниться в праве Учителя хлестать кнутом окрика? Она знает, что этот человек даст ей то, что никто не может дать. Что именно, она еще не знает, но чувствует. И чувствует, что есть у него это высшее право быть беспощадным к ним, безоглядно беспощадным.

По воскресеньям на репетицию разрешают заходить родителям. Они обычно стоят у стены или за дверью: и скандальные, и самые либеральные, и кротко-терпеливые, и большие начальники-деспоты, и домохозяйки. Но если Учитель схватит за ухо их чадо или встряхнет его, грубо ткнет лицом в ошибку, они все будут молчать, лишь бы их сын или дочь остались в этом ансамбле. Мама один раз зашла, больше не захотела: «Как вы выдерживаете это напряжение? Там на секунду невозможно расслабиться. Бедные дети».

Но каждый день репетиций — это все равно праздник. Пусть мучительный, но как здорово чувствовать себя среди тех, кто попал в ансамбль. Вон старшие девочки ходят королевами. Они старше на два-три года, но уже держат себя, как примы. Они выдержали все, и теперь выступают на концертах, иногда даже ведут репетицию. О, как хочется быстрее стать такими, как они. Ходить так уверенно, танцевать без замечаний и даже по поручению Учителя помогать младшим, тем, кто не может еще делать «ковырляку» или никак не может танцевать с улыбкой, легко, радостно.

Заира не любит улыбаться лишний раз, она знает от старших, что девочки должны быть сдержанны, улыбка просто так или, не дай Бог, в адрес мальчиков — признак легкомыслия. Поэтому она их просто не замечает, хотя ей хотелось бы так же легко и просто с мальчиками общаться, как, например, Ася или Вика из ее класса. Они с ними разговаривают так же запросто, как с девочками. О всяких пустяках. Смеются громко, могут сесть рядом, прикасаясь плечом к плечу. Шептать-

ся. Старшеклассницы на переменах, когда проходят мимо мальчиков или разговаривают с ними, вздергивают голову, отбрасывают волосы и всячески пытаются показать свою независимость и в то же время привлечь внимание. Бабушка говорит, что кокетство — это большой порок, такие девочки не смогут выйти замуж в хорошую семью. Заира не знает, как еще проявляется кокетство, и больше всего боится показаться легкомысленной. Поэтому у нее всегда суровое, то есть серьезное, выражение лица. Иногда девочки думают, что она чем-то огорчена и спрашивают: «У тебя что, нет настроения?» — это бесит.

Мама о мальчиках ничего не говорит, только старается ее во все кружки записать: на рисование, в музыкальную школу, на танцы. Только против тхэквандо, куда Заира все-таки тайно записалась. Пока тайно. В общем, пришлось учиться улыбаться во время танца, но недолго. Все-таки это так здорово: чувствовать, что все получается, получать удовольствие от этого. Ну да, она знает, что красива. Ну и что? Она улыбается не от того, что нравится себе, а нравится то, что и как можно высказать в танце.

А в танцах часто танцуют парами, это немного мешает. Примет еще на свой счет. Ее партнер в танце — Даниял. Он старше на год. Очень хорошо танцует, лихо и неумоимо крутит колени, поэтому Учитель всегда дает ему сольные номера. Но и кричит на него часто:

— Подушка! Что это за лицо? Ты халву собираешься кушать? Ты мужчина или подушка? Остановите музыку! Нет, я не могу видеть это лицо! Это что за сонная муха? Посмотри на Степного! Степной, покажи всем, как надо танцевать!

Нет, конечно, Даниял не был сонной мухой. Он танцевал безупречно, филигранно, изящно, вызывал у всех восхищение и своей меланхолической красотой, тонкостью черт. Мог покраснеть от смущения и избегал внимания к себе, хотя многие девочки тайно были влюблены в него. Степной — это кличка Маги из Степного поселка. Рыжий, взлохмаченный, коротконогий, он заставлял всех забыть о своих недостатках, потому что его звериный вопль во время танца, дикий оскал, сумасшедший азарт действовали магнетически. Эту дикость Учитель никак не мог разбудить в Данияле. Заира слышала, как Он как-то говорил матери ученика:

— Послушай, Айна, у тебя очень красивый сын. В Копенгагене такого ищи — не найдешь. Но... подушка!!! Почему он меня не слышит? А знаешь почему? А что твой сын дома делает? Как и все другие — посмотри на их лица! Они что, ведро воды на пятый этаж несут? Отару пасут или дрова во дворе колют? Они даже колбасу не хотят есть. Сникерс им подавай, чипсы, кока-колу!..

Интеллигентная мама Данияла соглашалась печально с учителем, но разбудить зверя в сыне тоже не умела. Заира вспоминала, как учитель по балетным танцам Ольга Сергеевна говорила, когда злилась на их неумелость: «Вот уеду я скоро, будете на свои шаманские танцы ходить!»

И так было страшно, что некому будет объяснять, что такое «плие», «батман тандю», «аттитюд», не надо будет оттягивать носочки, мечтать о пуантах и воздушных юбках... Когда Ольга Сергеевна уехала, Заира тосковала и написала свое первое стихотворение:

Ольга Сергеевна, где Вы теперь?  
 Больше не скрипит старинная дверь,  
 Нет больше страха и трепета нет,  
 В зале зеркальном умер балет.  
 Вы в другом городе будете жить,  
 А мне как теперь о балете забыть?  
 Разве я думать когда-то могла,  
 Что ваши руганья теплее добра?  
 Белоснежные юбки, пуанты, трико...  
 Стану на цыпочки, взлечу высоко,  
 Гляжусь в зеркала и украдкой вздыхаю,  
 Сама себе танец теперь сочиняю.

Потом мама привела ее к Учителю. На «шаманские» танцы.

\* \* \*

...Ах, как звучит барабан! Как отзывается сердце на эти гордые ритмы! Они танцуют в паре с Даниялом, и им незачем говорить друг другу то, что целомудренно расскажет танец. Счастлив тот, кто в движении танца может передать невыразимое словами, кто скажет многое о себе, не сказав ни слова, кто владеет пластикой тела. Но как тяжок путь к этому танцу. Вы были на репетициях ансамбля «Счастливое детство»? Конечно, не были, если думаете, что там оттачиваются красота движений и гибкость тела, четкость рисунка танца и прихотливость его узора. Разве яростный и напряженный, хищный



и стремительный, ранимый и ранящий, всевидящий и настаивающий, любящий и богочтимый Учитель терзает себя и детей ради такой малости? Разве каждый миг и каждый его урок, мучительный и упоительный для всех — не чудо настоящего посева, обнаружения и беспощадного взращивания Духа и Личности, умеющей бросить вызов себе и миру?

\* \* \*

— Заира! Покажи руки. Это что?

Она прячет за спину руки с ярко накрашенными ногтями. Мама не обращает внимания, считает детским баловством детскую косметику «Фея» и покупает, чтобы порадовать дочь. Бабушка после ухода мамы ругается и требует снять лак. Косметику грозит выбросить и объясняет, что девушку выбирают в жены по ее умению быть хорошей хозяйкой. Заира знает, что для бабушки есть два периода жизни: до замужества и после, и неважно, сколько тебе лет. Репутация создается от первых слов, которые ребенок произносит. Все, кто красится, посылает всем сигнал, что хочет понравиться, а кто хочет понравиться внешне мужчинам такими приемами — это матУшки, гуляющие девки. Мама не спорит с ней, потому что у нее и не было желания краситься. А Заире нравятся эти яркие краски, которыми можно искусно пользоваться, чтобы быть привлекательной. Почему ради кого-то, а не для себя? Эти ароматные губнушки (лучше бледные пока) в яркой упаковке, разноцветный блеск для век, лаки так и манят ожиданием другой жизни, волнующе-красивой.

Руки за спину — первый жест. На репетиции кроме детей и музыкантов несколько человек родителей. Все смотрят на Заиру. Учитель молчит. Пауза затягивается. Она протягивает руки с неумело раскрашенными ноготочками.

— Между моим требованием и этой секундой прошло сколько времени? Дело не в накрашенных ногтях. Надо уметь слышать и реагировать. Ты знаешь, что дети, которые танцуют, — они не от мира сего? То, что сделает ребенок за час, танцующий мальчик делает за десять минут.

Учитель поворачивается к родителям:

— Все дети талантливы, все способны, но дети, которые танцуют, — они не от мира сего. Это маленькая деградация или большая? Какие у меня были дети в восьмидесятых-девяно-

стных годах! И какая сложность встречать их в 2000-2013 годах! Вы пылинки со своих детей сдуваете, а меня на преступление толкаете, обрекаете на резкость. Мне сложнее стало работать. У детей сегодня иное восприятие, иное понимание. Я всегда хвастаюсь своими учениками, не умаляя достоинства всех детей. То, что в восьмидесятом году делал ребенок за час, сейчас эти дети делают за три часа. Нет, они не тупые — реакция другая. А реакция — это совесть. А совесть — это долг. А долг — это дисциплина. Человек — это струна. Но если это разболтанная струна, горе вам. Вы знаете, каких я детей люблю? Хулиганистых. Они поддаются перевоспитанию, у них есть энергия, от них солнце, тепло, они надежнее, только с такими можно в разведку идти. Когда я вижу ребят, которые на вопрос «как тебя зовут» 18 секунд думают и потом мямлят свое имя, мне в этот момент хочется сказать им: «До свидания!»

Все молчат. Учитель дает отмашку. Музыка выбивает паузу и затихшие, вспотевшие, взмыленные дети вновь подхватываются головокружительным ритмом огненной лезгинки.

...Вы не были на репетициях ансамбля «Счастливое детство»? Тогда вы не знаете, как тяжело рождается честь. Как непросто расправляются плечи. Как изнурительна борьба за пружинящую стать, натянутую, как тетива, готовую вскинуться в соколиной поступи и в полете души. Нет, вы не знаете, как трудно дается взмах крыльев тем, кто их еще не ощутил в себе, не знаете, как нервно и страстно хочется из мягкой податливо-аморфной и обласканной домом хрупкой плоти кристаллизировать дух, сотканный из мужества и смелости, благородства и дерзости, удали и достоинства... Вы не были на репетиции Учителя? Тогда вы не знаете, как неистово можно требовать от тех, кого любишь больше славы, больше денег, больше покоя и больше своего гордого, ранимого и натруженного сердца. Вы не знаете, какое это счастье, провожать требовательными отцовскими глазами уходящих в круг безупречного танца своих детей, не гнущихся и не ломающихся, в которых изнурительный труд наконец-то обернулся красотой и совершенством тела и духа. Разве в сыновьях не отражается отцовская стать?

Родители молчат. Там, за дверью стоит отец Артура, ее одноклассника. Он работает каким-то начальником на площади, в школе почти не бывает, зато его жена так часто при-

ходит в школу возмущаться оценками сына, что учителя долго думают, кого наказывать оценками. На учебу Артуру наплевать, но с танцев Учитель его выгнал за второе опоздание. И вот отец-начальник кряхтит за дверью, не зная, как сломать свою гордость и непреклонного Учителя. Он тоже чувствует, что у этого сухонького и яростного человеком с резкими и подвижными чертами лица есть право говорить с детьми так, как не может он сам. «Сегодня родители — это эгоисты, которые не хотят признавать слабости своих детей», — вспоминает Заира слова Учителя, сказанные маме во время одной из встреч после занятий. И удивляется: почему прибегающие в школу из-за каждой мелочи недовольные родители стоят здесь, как виноватые дети, лишь бы их чадо оставалось под властью того, кто не считается ни с чьим авторитетом? Мама говорит, что признавая власть Учителя, они какой-то своей потаенной частью души понимают, что исправляют собственные ошибки. Не очень понятно, конечно.

\* \* \*

Репетиция закончилась, все разошлись. Мама в родительском комитете, поэтому по воскресеньям приходится ее ждать в приемной Учителя. Мама дома никогда не говорит о том, что правильно, а что нет. Она считает, что это и так понятно. Пример родителей — самое главное. Главное, телевизор вовремя выключать. «Вовремя» — это когда кто-то начинает целоваться. В школе любят воспитывать, но почему-то не всех хочется слушать. А когда говорит Учитель, совсем другое дело. Может, потому что он не выбирает слова? Нет, слова надо выбирать. А может, потому что эти слова кипят в нем? Из-за двери слышен только голос Учителя:

— Я уже дохожу до кондиции, нет сил больше нервничать. Мы что, воспитываем детей? Телевидение — это же шоу! (с ужасом). Им заработок идет, а нам — поганая передача. Я не могу привыкнуть, у меня нет сил к этому привыкнуть! И, главное дело, «Жди меня» — эту святую передачу перекидывают, показывают ее в два часа дня, когда люди на работе, а «Дом-2» — в самое лучшее время. Эту божественную передачу «Жди меня», я кланяюсь ей... Что за подлость! Кто-то же руководит этим процессом? Я поражен тем, что доступ к экрану дан всем, это бактериологическое оружие для деградации.

Слушайте, неужели я, горский парень, грамотнее рассуждаю, чем человек из Останкино? Это разве не преступление: «Жди меня» — в обед, а «Дом-2» — в то время, когда брат с сестрой, сын с матерью, отец с дочерью перед телевизором сидят. Ведь конфуз какой у отца и матери, когда такая передача идет...

Кто-то возразил, вероятно.

— Не надо искажать слово «демократия». Я понимаю демократию, но не надо искажать это слово! Демократия не говорит же, что человек, если его ударить по голове, заулыбается. Он не заулыбается, он может скончаться, такой демократии я не признаю. Демократия в доме — это когда ребенок говорит: «Я, мама, хорошо учусь, помогаю по дому, дай мне выйти во двор, встретиться с друзьями». А мать говорит: «Да, сынок, ты заслужил». Это демократия, я понимаю. Когда по уму-разуму живем, а не по обману и унижению.

Обсуждают предстоящий юбилей Учителя, ему скоро 70. Родители боятся, что он может бросить все и уехать. Ведь его семья давно в Израиле. Учитель смеется. Так редко можно услышать его смех. Заира, делая вид, что смотрит в телефон, напряженно слушает, боясь пропустить хоть слово:

— Мне говорят некоторые, кто не был в Дагестане: как ты, еврей, живешь там? А я говорю: если меня один лакец обидит, пятеро заступятся, если один кумык не так поступит, пятеро кумыков его исправят. Почему я не уехал? Ты, Айна, сама рассказывала мне, что многие говорят: если бы не родители, уехали бы. Вот они, старики, и спасают сегодня свою землю, иначе бы предали, уехали. А куда я уеду, если меня держат могилы отца и матери? Я благословляю всех моих родных, которые уехали, зная, что я остаюсь с родными могилами. Я не говорю, что уезжать — плохо, я их ни в чем не обвиняю — все они уехали из-за детей, думая об их будущем. А что, дагестанцы здесь не хотят думать о своем будущем? Что должно случиться, кто должен прийти к ним и достучаться, чтобы они задумались о том, куда идут, что происходит. Мой прадед и дед родились в Аксае, мы, два брата, родились в Махачкале. Я сам в себе воспитал то, что святыню Израиля не признавать нельзя. У меня две родины — Дагестан и Израиль. Если государство разрешает иметь два гражданства, почему я не должен разрешить себе две родины?

Заира облегченно вздыхает.

## Несознательная

Прошло вот уже пять лет, как война закончилась, но легче жить не стало. И кто бы сказал, почему?..

Для Аси этот назойливый вопрос всегда витал где-то рядом, и обострялся в период активного паводка, когда извивающаяся речка выходила из берегов и затопляла деревянные мостки. Земля, еще недавно прикрытая снегом, замирала в ожидании посевной.

И всё по кругу, всё из года в год по одному неизменному маршруту. Мама, истопив с утра печку, поставив туда чугунок с картошкой, спешит на работу на колхозное поле. Ася, если нет занятий в школе, поспешит следом за ней. Детям дают работу полегче: возить на лошадях навоз или сено, боронить, вспахивать поле под паром. Но и трудодней посчитают меньше. Потом, когда посевная закончится, колхозникам дадут день-два выходных, чтобы засеять овсом или ячменём свои небольшие участки.

Не успеешь оглянуться — надо готовиться к покосу. Траву косили на лугах, в логах, на делянках, там же сушили и потом на лошадях вывозили сено. Едва закончат с покосом, как поспекает озимая рожь, главный хлеб здесь, в этих местах, где не растёт пшеница, и начинается уборка. Овёс и ячмень будут убирать уже осенью. А сколько работы со льном... Его надо выдергивать с корнями, сушить, трепать... Когда хлеб будет убран и сдан государству, им посчитают трудодни. И эти трудодни, эта неосязаемая, воздушная, добытая потом валюта будет конвертирована по никому не понятному, загадочному курсу в зерно, которое им отвесят на гумне и насыпят в небольшой холщовый мешочек. С таким мешочком они и будут где-то раз в три месяца приходить и получать заработанное, понемногу, чтобы хватило на жизнь, чтобы не умереть с голоду.

Приходилось сознавать, из года в год, из месяца в месяц, что война продолжается где-то, и они обязаны, как и прежде, нести все ее издержки и горькие повинности. Неужели это везде так, или только в их глухой вятской деревне, где до сих пор нет ни радио, ни электричества?..

Они повзрослели, и надо было думать о будущем, но мыслям этим идти было некуда, они упирались в невидимую преграду, в какой-то иной, непонятный, закрытый горизонт. Будущего не виделось. Никакого, даже когда она, прищурив от солнца глаза, наблюдала за переливающимися, мягко бегущими под порывом ветра голубыми волнами льна, любовалась зеленеющим лугом с темной полосой леса вдаль, синим небом над этой полоской; и когда погружалась в глубину этого прохладного хвойного леса, уходящего в бесконечность. Все, что было вокруг, должно было внушать только радость и покой. Красота, легкость, как этот летний ветер, всё прекрасно, если не считать тяжелой работы, налогов и постоянного отсутствия денег.

Уже давно ушёл в прошлое тот яркий майский день, когда они — несколько ребят — пришли в школу, а идти нужно было пять километров до районного центра, и слышали радостный, возвышенный, торжественный голос учительницы: «Ребята, идите домой. Занятий сегодня не будет. Война закончилась!..» И они пошли, побежали назад те же пять километров, разнося по соседним маленьким деревушкам вдоль дороги ошеломительную весть: «Война закончилась!..»

Сейчас старшая сестра Галина, которой исполнилось 18, работает на ферме.

Асе пятнадцать, хотя никто ей этих лет не дает — слишком худая и маленькая — всю весну проработала на лесосплаве. И там, подталкивая, поддевая шестом бревна, чтобы они друг за другом скатывались в воду, думала: почему всё как на войне? Кто враг в этой войне?..

Они должны сдавать государству, как и прежде, молоко и мясо. И еще масло. И шерсть. И еще яйца, хотя кур не держали. Куры болели и умирали, им не хватало хорошего корма. Ячмень и овес самим были нужны, едва хватало. Мама обменивала у соседей масло на яйца. Когда-то Ася спросила её: «И это всё для государства?..» «Для государства», — грустно отвечала мама. И Асе хотелось тогда воскликнуть: «А что

мы такого плохого ему сделали? За что же государство нас так не любит, что забирает всё?..» Мама говорила спокойно, и непонятно было, верит она сама в свои слова или нет: «Подожди, вот война закончится...»

За работу на лесосплаве она получит деньги, настоящие, осязаемые, шуршащие, и это радовало. В колхозе денег не платили. Денежный налог отдавали из пенсии, которую начислили за отца. При воспоминании о нем подкатывал ком. Отец пришел с войны в 1943-м, после ранения. И, едва война закончилась, умер.

И она уже знала, что купит. Летние туфли-ботиночки, которые привезли в магазин на лесоучастке. Красивые, с блестящим темным верхом, пряжкой сбоку. В магазине она уже рассмотрела и примерила новую обувь. Тонкий ремешок. Небольшой каблук. В самый раз, чтобы прийти в клуб или в гости...

Конечно, она привыкла работать в лаптях и не испытывала никакого дискомфорта. Напротив, очень даже удобно было на лесосплаве. Если, конечно, не нужно прыгать в воду и расталкивать брёвна, образовавшие затор. Но тут уже ничего не поделаешь, приходилось искупаться в холодной воде. Дядя Никандр, мамин брат, подарил Асе на день рождения пару лаптей, которые сплёл сам. Это было трогательно и радостно. Но и сама Ася тоже научилась хорошо этому ремеслу. И даже соседка обращалась к ней с просьбой: «Ты мне только начни, я сама продолжу...»

Если бы отец был жив, даже таким, каким пришел с войны, — инвалидом, справлявшим любую работу одной рукой, им было бы легче. И если бы старший брат, который пропал без вести в 1942-м, вернулся бы, сейчас было бы кому за них заступиться.

А 18-летней Галине теперь предстоит платить еще один налог: на бездетность. Ася пока с трудом понимала, как они в очередной раз уплатят всё. Швейная машинка стояла в доме всегда опечатанная, под описью — в счет неуплаченных налогов. Мама всегда ругалась с ними, с налоговиками, но теперь перестала: они пригрозили, что посадят ее за то, что она «слишком много знает».

Сейчас, когда работа на лесосплаве закончена, Ася дома, помогает по хозяйству маме и Галине. Галина рано утром бе-

жит на ферму. Ася выгоняет домашний скот, корову и овец, пастись с деревенским стадом. Овец — на паровое поле, коров — в верхний лес, где они весь день пасутся на ближайших полянах. Вечером придут сами, разбредутся неторопливо с тягучим мычанием по своим дворам. С этим стадом ходит и их Зорька, рано отелившаяся. Доить ее надо трижды в день, и это входит в обязанности Аси.

Днём, взяв подойник, она бежит в лес. Босиком, по знакомым тропинкам. Куда забрели коровы — а далеко все равно не уйдут — она узнаёт по переливам мелодий колокольчиков. Зорька узнаёт Асю, тянется к ней, продолжая жевать.

Подойник на треть наполнился молоком. Зорька повернулась, посмотрела на Асю, махнула хвостом. Подхватив ведёрко, Ася тем же путем, босиком по прохладной земле, поспешила домой.

Здесь, с тропинки, с опушки леса, она уже видела их задний двор, изгородь, старую баню... От дома отделилась знакомая светлая фигурка: Ася узнала Галину и сбавила шаг. Галина шла, почти бежала навстречу, махала рукой. Они встретились у малинника.

— Давай ведро, — сказала Галина. — Не ходи. Там кассир с лесоучастка...

Ася вздрогнула, внутри все оборвалось. Кассир зарплату принес. С чего бы?..

— Там еще Панька... И уполномоченный. И председатель сельсовета... Деньги, которые ты заработала, они хотят взять за налоги...

Панька — Прасковья Николаевна — была налоговый агент.

— Не пойду, — сказала Ася. — Здесь посижу.

Она присела в малиннике. Галина, забрав ведерко, ушла.

Не пойду, говорила она себе. Иначе не видать тувель. До вечера уйдут всё же.

Она устроилась поудобнее.

Отсюда, из малинника у ограды, были видны соседние участки.

Рядом, за изгородью из потемневших жердей, — земля дяди Алексея, старшего брата отца. Единственная семья в деревне, которая отказалась вступать в колхоз. Жили единолично. Налогами их обложили, конечно, в несколько раз



большими... Но они справлялись. У них колосилась рожь — не в сравнение с колхозной... У них было четыре сына, все хорошо работали. Но только война забрала четырех сыновей. Единственная дочь умерла от туберкулеза. Умер дядя Алексей. Осталась одна тётя Катя. И теперь участок их, бросивших вызов колхозу, пришел в запустение. Колхоз победил.

Когда-то, во время войны, у них в деревне жили эвакуированные из блокадного Ленинграда. Их расселили по домам, по семьям. Они ходили на работу в колхоз, все вместе, одеты были лучше, и очень удивлялись, когда увидели лапти. Они были уверены, что лаптей в природе больше не существует, что это пережиток старого дореволюционного режима.

Но вот мама про «старый режим» говорила хорошее. Тогда жили лучше, говорила она. Давали дополнительный участок земли, если семья увеличивалась. И семья у ее отца была не бедная, и участок был большой, и два дома, зимний и летний. Никому бы не пришло в голову забирать скотину в какой-то там колхоз... Мама не хотела вступать в колхоз. Но их убедили... И вот отвели они двух лошадей, и одну из двух коров... И потом она видела, как паслись они, исхудавшие, неухоженные... Мама ругала советскую власть, и Ленина — «за то, что сделал революцию» — но так, чтоб никто не слышал.

Прошел час, и она почувствовала, что затекают ноги. Сменила положение. Потом приподнялась, посмотрела. Тишина. Нет, похоже, никто не ушел. Снова спряталась, забралась в глубину кустарника. Можно и поспать вот так, но не уснёшь... В баню бы перебраться...

Нет, ты не права, сказала Ася сама себе. Надо все-таки признать, что стало лучше, чем было во время войны. Например, появились соль, сахар и маргарин. Правда, только в магазине для лесорубов, там, где она присмотрела туфельки. И еще стали продавать черный хлеб. Раньше хлеб пекли только сами, в магазине не купишь... Появились конфеты — карамельки и подушечки. Ася и Галина, правда, конфет не покупали, не на что было. Но зато их угощали несколько раз... А еще появился керосин, и теперь по вечерам они могли сидеть с керосиновой лампой, а не с березовой лучиной. Хотя и лучина была привычным делом — длинная, тонкая, она хорошо горела в своем жёлобе и с ней было светло. Когда-то по

вечерам все школьные уроки Ася делала при этом единственном источнике света.

Так, в этих умиротворяющих мыслях об улучшении жизни, о невидимом прогрессе, вселяющем надежду, как их учили в школе, на победу коммунизма и наступление светлого будущего, она не заметила, как стало пасмурно. Кажется, и солнце сейчас было против нее.

Сколько прошло времени? Два часа? Три? Сколько ж можно сидеть в их доме четверем здоровым взрослым людям, для чего?.. У них нет работы?.. Сколько дел можно было бы переделать, рассуждала она, имея в виду себя, маму и сестру, привыкших каждую минуту тратить на дело — приготовить, убрать, накормить скот, прополоть грядки...

Кажется, уже наступал вечер. Ася стала мерзнуть. Услышав шорох, она выбралась из малинника. Галина стояла перед ней.

— Не уходят, — вздохнула она. — Иди, все равно уже... Мама совсем устала от них. А мне на ферму пора.

Сестра пошла к вечерней дойке. Ася побрела к дому, подминая босыми ступнями мягкие травяные кочки.

Войдя в дом, она увидела всех четверых, сидевших на лавках, за столом. Кроме тех, о ком сообщила Галина, был еще председатель сельсовета.

В коричневой куртке, похожей на френч, — уполномоченный. Уполномоченный чего? Она не знала. Много их, всяких уполномоченных, слонялось в райцентре. Его так и звали: «Уполномоченный». Ни имени, ни фамилии.

Лысый председатель, в потёртом рабочем пиджачке. Кассир Лёня сидел как-то с краю. Он как будто старался то ли спрятаться за кого-то, то ли прикрыться кем-то. И — Панька, из соседней деревни, пришла выполнять свою работу...

— Ну, здравствуй, — сказал председатель.

Ася кивнула в ответ, и робко произнесла «здравствуйте».

— Вот, тебя ждут, — сказала мама как-то едко, кивнув в их сторону.

Она не смотрела на Асю, она не поднимала головы. Она уже знала, что ничего не поможет.

— Вот, ты поработала, — сказал председатель важным тоном. — Ты заработала, — уточнил он. — А у Галины налог не уплачен. На бездетность.

У кассира — ведомость, у председателя сельсовета — папка. У налогового агента — тоже папка.

— Ой, — сказала вдруг Ася, — а я хотела себе обувку купить...

И посмотрела на свои босые ноги.

И все они тоже посмотрели.

И поднялся «уполномоченный», большой, серьёзный, деловитый, который сначала потемнел, потом покраснел. И закричал:

— Ты — несознательная!.. Ты в какой школе учишься?.. Ты в советской школе учишься!..

И посмотрел на Асю с такой злобой, с такой ненавистью, как смотрят на самого злейшего врага. Как будто собирался ответить ей на главный вопрос, терзавший ее последнее время: кто же враг в этой войне? Вот, получается, она и есть главный враг...

Такого натиска со стороны четырёх человек, из которых трое — здоровые крепкие мужчины, она уже не выдержала, опустила голову и заплакала.

Подошла к столу, где кассир Лёня уже разложил ведомость, и расписалась в графе в получении столько-то рублей за работу на лесосплаве. Деньги, минуя Асю, мгновенно переместились из рук кассира в руки налогового агента. Папка захлопнулась.

Они направились к двери, каждый по очереди нагибаясь в дверном проеме...

Мама отвернулась, наверное, чтобы не видеть Асиных слез.

— Садись, поешь, — сказала она грустно. Достала из печи чугунок с картошкой, положила несколько кусков темного, горького, как всегда, суррогатного хлеба.

И подвинула Асе кружку с молоком, налитым из принесённого из леса ведёрка.

## Уроки музыки

Август. Тёплый конец лета.

Теперь я не уверена, что это случилось в августе, как и то, что погода выдалась тёплая. Но таким сохранила этот день детская память.

Мы с мамой идём на вступительные экзамены в музыкальную школу. «Вступительные экзамены» — незнакомые слова. От них зависит, буду ли я учиться музыке. В обычную школу, где я уже второклассница, меня принимали безо всяких испытаний.

Белое здание с колоннами. Высокое крыльцо. Длинный коридор. Тихо. Звуки появятся потом, когда начнутся занятия. Мама уверенно ведёт меня, неожиданно оробевшую, к двери, из-за которой слышится весёлый смех.

За дверью — комната, залитая солнцем. Страх тает, как кусочек сахара в стакане горячего чая. Зашла ли мама вместе со мной или нет — уже не важно, и не сохранилось в памяти.

За большим столом — две женщины. Моё внимание приковано к одной. Много лет прошло с того дня. Что — правда, а что — нарисовано детской фантазией, трудно сказать. Как сейчас, вижу сидящую слева юную девушку в школьном форменном платье с белым воротничком и чёрном фартуке. Солнце запуталось в белокурых локонах, рассыпавшихся по плечам. Девушка радостно улыбается, будто я — подарок, обещанный ей сегодня.

Вторая женщина садится за пианино, нажимает на клавиши и предлагает мне голосом повторить звуки. Потом наигрывает мелодию. Её тоже следует пропеть. Улыбчивая «школьница» (как я назвала её мысленно) стучит карандашом по столешнице и просит меня похлопать в ладоши в том же ритме. Я очень стараюсь!

— Возьму её себе, — говорит «школьница».

— Посмотри: у неё рука маленькая, — возражает старшая.

— Ничего, справимся.

На этом экзамен закончился.

Через несколько дней огромный грузовик привёз к нашему подъезду большой тяжёлый ящик. Папа и чужие мужики, почему-то громко ругаясь, втащили его на второй этаж. В квартире ящик разобрали на дощечки. Под ними оказалось новенькое, блестящее чёрным лаком...

— Пианино! — я радостно запрыгала, мешая взрослым.

— Фортепьяно! — гордо поправила мама.

Ещё купили большую коричневую папку с чёрными ручками из шёлкового шнура и нотные тетради. Но больше всего мне понравился вращающийся табурет: ни у кого из подружек такого не было!

В сентябре я стала ходить, кроме обычной, ещё и в музыкальную школу. В привычном расписании общеобразовательной школы чередовались уроки письма, арифметики, чтения... В музыкальной — хор, музыкальная литература, сольфеджио и специальность.

Моей учительницей по специальности, как и обещала, стала «школьница», правда, теперь я называла её Надеждой Павловной. С первого дня и до окончания школы я пребывала в глубокой убеждённости, что мне досталась самая молодая, красивая и самая добрая преподавательница. Её не раздражали мои руки с короткими пальчиками. Она умела показать, как сделать их гибкими и подвижными, удобней охватить октаву.

К сожалению, музыкальная наука состояла не из одних приятностей. Случались огорчения: время, которое мои друзья-одноклассники проводили зимой на катке, а летом во дворе, играя в «вышибалы» или «кóндалы», я тратила на упражнения за инструментом.

— Два часа в каждый день! — выговаривала мне мама, видя в дневнике тройку вместо ожидаемой пятёрки или хотя бы четвёрки.

Однажды (мне было десять лет) в приступе ненависти к лакированному, непокорному детским стараниям гиганту я попыталась расчленить его лобзиком для художественного выпиливания. С тех пор на пианино остался шрам-зарубка —

напоминание о том, что иногда лучше делать то, что должно, а не бороться с обстоятельствами.

Спустя всего два года я спасла то же самое пианино от квартирного потопа. Посреди рабочего дня, когда взрослые находились на работе, с потолка нашей двухкомнатной хрущёвки сначала закапала, потом ручейками и потоками полилась вода. Сотовых тогда ещё не существовало. Домашних телефонов ни в нашей семье, ни у моих многочисленных дворовых друзей не водилось. Рассчитывать следовало только на свои детские силы.

Вечером вернувшись домой родители обнаружили открытую настежь дверь и квартиру, полную чрезвычайно активных малознакомых ребятшек. Те шлёпали босиком по залитому водой полу с тряпками в руках.

Мебель в большой комнате пряталась под разноцветными клеёнками, их притащили с собой добровольные помощники. На пианино, выдвинутом на середину, кроме клеёнчатых покрывал, громоздились многочисленные тазы, вёдра и даже тарелки. Я, уверенная в правильности своих действий, с воодушевлением командовала босоногой разновозрастной бригадой.

Не думаю, что обладала какими-то исключительными способностями. Не мечтала продолжить музыкальное образование, но однажды услышала разговор, наполнивший меня благодарностью к учительнице и в очередной раз подстегнувший усердие. Я как раз разучивала «Элегию» Массне, когда во время урока к Надежде Павловне по какой-то надобности зашла другая преподавательница.

— Зачем ты дала ей Элегию? — спросила она. — Я не помню, чтобы хоть кто-то из учеников сыграл её, как надо.

— Ничего, справится! — возразила моя учительница.

Уроки сольфеджио вела Светлана Алексеевна. Красивая, крупная, с тонкой талией, она влетала в класс в ореоле духов, локонов, голубых переливов пышных складок юбки. Сиделась за инструмент и с силой опускала на клавиши крупные кисти с длинными пальцами, кончики которых мягко изгибались. Такие руки можно увидеть на старинных полотнах итальянских художников, изображающих светских красавиц.

На сольфеджио занимались все вместе: и баянисты, и пианисты. Больше всего боялись диктантов.

Светлана Алексеевна садилась к пианино боком, закинув ногу на ногу, левой рукой с нотной тетрадью закрывала клавиатуру, правой — играла мелодию. Мы должны были записать её в нотных тетрадах. Очень похоже на обычный диктант по русскому языку, только вместо букв — ноты.

Со мной за партой сидел Лёня — одноклассник по обычной школе. Здесь он учился игре на аккордеоне. Лёнчик больше списывал у меня, чем старался сам. В результате мне поручили взять над ним шефство и научить писать музыкальные диктанты.

В десять лет не очень понимаешь важность и ответственность такого задания. Тренировки по узнаванию нот и музыкальных интервалов казались скучными. Часто мы придумывали более интересные занятия.

Однажды я смастерила парашют из ватмана и ниток. Подшефного заставила испытывать хлипкий летательный аппарат, прыгая со стола. Лёнчик прыгал — парашют не раскрывался. Тогда в ход пошёл большой чёрный зонт. Результат снова разочаровал испытателей: слишком короткий полёт. Придя к выводу, что высота для эксперимента недостаточная, мы всё-таки воздержались от прыжков с балкона. Ума хватило!

Детство давно осталось позади, как и музыкальная школа. Среди моих друзей нет музыкантов и певцов. Но ведь и в медицину из тридцати человек нашего десятого общеобразовательного подались только двое.

Будучи врачом, я знаю, что центры звукового и цветового восприятия находятся в центральной нервной системе рядом. Не случайно многие композиторы видят мелодии в цвете, а художники слышат музыку своих полотен. И кто знает, рисовала бы я портреты друзей в последнем классе школы и писала бы сочинения по литературе в стихах или нет... если бы эти росточки творчества не получили свою порцию «музыкальных витаминов».

Не всегда мы можем оценить богатство полученных уроков сразу. Истина часто открывается позже. Как раздражали меня в детстве бесконечные повторения одной музыкальной

фразы в произведениях И. С. Баха! Очарование их многогранности я поняла в юности. Безграничную философскую глубину этих же музыкальных тем постигла, став взрослой. Удивительно, как одни и те же произведения в разные периоды могут быть восприняты совершенно по-особенному: радостно или печально, трагично или с юмором.

Родители приводят ребёнка в детскую школу искусств... Получится ли из него музыкант, художник? Кто знает... Но совершенно точно можно утверждать: чем больше прекрасного встретится в детстве, тем богаче и тоньше будет восприятие мира потом.



## Дерево

Трудно сказать определённо, что было в начале, дом или дерево. Оба казались неделимыми: огромное и раскидистое дерево с широким узловатым стволом, в три обхвата, и роскошной ветвистой кроной, состоявшей из множества листочков, меняющих свою окраску от нежно- до сочно-зелёных, и просторный дом, раскинувшийся на обширном участке земли, хоть одноэтажный, но вмещавший в себя анфиладу комнат с высокими лепными потолками и застеклённую веранду, сплошь состоявшую из квадратных окошек, сквозь которые виден был двор, в любое время года заботливо укрытый могучими ветвями дерева.

И дом, и дерево, оба казались незыблемыми и вечными, как и сама жизнь.

Дерево было плодоносящим. Каждый год оно выдавало бесчисленное множество маленьких белых плодов, официально называвшихся шелковицей, в быту же именуемых просто тутовником, которого было так много, что его попросту не успевали собирать и отправлять в рот, и белые сладкие ягоды лежали обыкновенно под ногами, словно сочный и липкий ковер.

Старый Хозяин, немногословный и надёжный, как земля, которую он неутомимо обрабатывал и засеивал, ворчал, бывало, незлобно, глядя на пятна от раздавленных людьми на земле плодов. И тогда он брал метлу и начинал осторожно подметать двор, собирая в большую кучу помятые и потемневшие ягоды и с большой неохотой отправляя их затем в мусорный бак.

В доме было много детей. Они рождались один за другим и росли потом здесь же, во дворе дома, под кроной старого дерева, сменяя друг друга в поколениях, каждое из которых состояло с деревом в одинаково дружески-влюблённых отношениях.

Вволю наигравшись с деревом и облазив его вдоль и поперёк, дети выростали, и тогда уже их дети, едва начав ходить, пытались вскарабкаться по шершавой и узловатой коре громадного ствола к манящей вверх зелёной и пышной листве.

Особенно старалась Девочка. Она снова и снова пыталась одолеть шершавые сантиметры, а потом и метры, падая с дерева и вновь взбираясь на него, пока, наконец, не достигла самого верха и не уселась на могучем и надёжном суку.

На дерево Девочку привело любопытство. Однажды вечером, когда она сидела у раскрытого окна веранды и наблюдала за мотыльком, то и дело подбиравшимся к яркому свету горевшей посреди темноты большой старой лампы, откуда-то сверху, из темени ночного двора, слышался крик. Он был странный и незнакомый, скорее даже не крик, а какое-то уханье, от которого Девочке стало не по себе.

— Что это? — спросила Девочка у своего деда, замерев от страха и какого-то жадного любопытства.

— Это филин, — ответил ей старый Хозяин, неторопливо набивая свою трубку душистым табаком.

— Филин? Это как сова, да? — продолжала допытываться Девочка, рисуя в воображении что-то непонятное и пугающее.

— Почти, только больше, — попыхивая трубкой, отвечал ей дед, уже погруженный в чтение газеты.

— А он где? — не унималась Девочка.

— Как где? Наверху, на дереве, — старый Хозяин, пробегая взглядом очередное постановление чужой для него Коммунистической партии, по привычке терпеливо, хотя и односложно, отвечал на расспросы своей любимицы.

Позже, ворочаясь в своей постельке, Девочка снова и снова вспоминала глухой и ухающий звук неведомой и невидимой птицы, и уже в полусне твёрдо решила для себя найти её завтра во что бы то ни стало.

Однако ни завтра и ни послезавтра обнаружить филина не удалось. Видно, бесконечное лазанье детей по веткам утомило его, и он подыскал себе другое прибежище.

А Девочка, точно маленькая обезьянка, продолжала ловко взбираться между ветвями на самый верх. Очень скоро, впрочем, ей стало неинтересно созерцать сверху двор, казавшийся

с высоты дерева небольшим и до оскомины знакомым, и тогда она наловчилась перемещаться по ветвям на крышу дома, ступая босыми ногами по её раскалённым от солнца железным листам, также сплошь усеянным белой липкой ягодой.

Там взору Девочки открывалась панорама близлежащих улиц и кварталов, что было, на её взгляд, значительно интереснее.

\* \* \*

Вскоре Девочка подросла и уже не играла с деревом, а только подходила к нему иногда и приникала лицом к его сухой и тёплой коре, и замирала так надолго, вода по ней рукой, словно глядя. И дерево начинало учащенно дышать, будто хотело передать Девочке своё тепло, и мудрость, и покой, а может быть, предостеречь от чего-то.

Однажды Хозяин дома, не выдержав тяжких испытаний, случившихся в его жизни, заболел и долго лежал, умирая мучительной смертью на глазах домочадцев.

Девочка долго стояла у калитки старого дома, в растерянности глядя вслед похоронной процессии, провожавшей её деда в последний путь. Воротившись во двор, она подошла к дереву и, уткнувшись лицом в его сухую горячую кору, заплакала горько и безутешно.

Девочка не знала, что дерево тоже плачет, прощаясь со своим Хозяином и другом, много лет назад положившим начало всему, что было в этом доме.

Так же, как и дом, и большой старый сад, дерево долго тосковало по Хозяину, но когда налетел сильный ветер, высоко поднимая его тугие гибкие ветви, оно могло видеть находившееся неподалёку городское кладбище, где старый Хозяин покоился ныне в своём последнем пристанище. «Спи спокойно, хозяин!» — нежно шелестя листвой на весеннем ветру, шептало дерево. — «Мне будет не хватать тебя!»

\* \* \*

Шли годы. Дети росли и выросли, постепенно поднимаясь к небу, тогда как родители их всё ниже пригибались к земле.

И вот уже стали раздаваться во дворе один за другим звуки свадебной музыки, и под пышной зелёной кроной старого

дерева, посреди многочисленной толпы гостей, вышла в круг в белом свадебном платье юная девушка, когда-то упрямо взбиравшаяся на прочный сук. «Будь счастлива, девочка!» — прошелестело дерево своей листвой. — «Смотри, не забывай меня!»

Но Девочка, углубившаяся в свои мысли, не услышала его. Дерево было для неё частью дома, такой же, как стены, крыша, печь или двор.

И, покидая родительский дом, она не попрощалась с ним отдельно.

По-прежнему шли годы. Дом постепенно ветшал, заменяя шестой десяток, но по обыкновению был многолюден и гостеприимен. В тёплые летние вечера обитатели дома выходили во двор, ставили на широкий низенький столик большой пузатый самовар и потчевали ароматным чаем себя и своих гостей, уютно сидя под по-прежнему густой и зелёной кроной старого тутовника.

Они не ведали, что это и есть счастье, пребывая в уверенности, что так всё и должно быть.

И случилось однажды стихийное бедствие. Оно грянуло внезапно, как и полагается, застигнув людей врасплох и ментально призвав их к мысли о бренности и хрупкости бытия.

Растерянные и напуганные люди, покинув дом, столпились во дворе, держась, на всякий случай, подальше от дерева — из боязни, что оно не выдержит подземных толчков и рухнет. Но дерево выдержало, не рухнуло, продолжая всё так же возвышаться над домом, будто прикрывая его от невзгод и печалей.

Девочка, ставшая уже матерью, по-прежнему приходила в родительский дом, и её ребятишки восторженно подбегали к дереву, безуспешно пытались обхватить руками его кряжистый и шершавый ствол, и с визгом подавались назад, заглянув в тёмное пыльное дупло, образовавшееся давным-давно и с годами всё увеличивающееся.

Как-то Девочка, выйдя во двор, по обыкновению, остановилась перед деревом, впервые заметив, как оно накренилось. «Должно быть, ты очень устало», — ласково произнесла Девочка и погладила дерево.

А оно и впрямь как бы ссутулилось и пригнулось набок. Это заметили и остальные. Стали обсуждать, что делать с де-

ревом, и решили, что его надо укрепить. Отец Девочки приладил к нему брус, подперев им огромный покосившийся ствол, и оно стояло так некоторое время, привлекая своей не-лепостью внимание приходивших в дом гостей.

\* \* \*

Дерево по-прежнему плодоносило. Но его ягоды, хотя белые и сочные, стали уже раздражать отца Девочки, ставшего новым Хозяином дома после смерти его отца и всё чаще подумывавшего о модернизации своего жилища.

Он подумал, что дерево слишком огромно для их двора, загораживая его от света и загрязняя ягодами.

«Уж лучше посадить виноград», — решил он, и сидя вечером во дворе под деревом, за чашкой душистого чая из пузатого самовара, поделился с женою своими мыслями.

Оба понимали, что дом нуждается в ремонте, после того как стихией повредило крышу и стены. Да и прогресс властно заявлял о себе новыми веяниями интерьера и дизайна. «Дерево уже совсем старое и трухлявое. Опасно его оставлять, может и рухнуть на кого-нибудь!»

Вопрос ремонта был решён. И судьба дерева тоже.

Старое дерево слышало разговор хозяев и, воздев свои ветви, обращало к ним свою беззвучную мольбу: «Не делайте этого! Я ещё послужу вам!»

Но, конечно же, хозяева его не услышали, потому как услышать можно лишь то, что хочется.

И пришли рабочие и принялись за дело. Дом сотрясался от стука больших молотков и визгливого скрежета дрелей.

Но прежде они срубили дерево. Сначала ветки, потом ствол. Пришлось долго трудиться, ведь дерево было громадным. Распилив, его увезли куда-то «на дрова»...

\* \* \*

Когда дерева не стало, двор оказался совершенно незащищён от тяжёлых хлопьев снега, падавшего на цементный пол и превращавшегося там в сугробы. С него будто сняли одежду, и он выглядел теперь безликим и... бездушным.

А тем временем в доме продолжался бурный ремонт. Освободив толстые стены от слоя штукатурки, рабочие принялись отдиравать от старого пола многолетние доски.

Молодой Хозяин был во дворе, когда из комнат послышались возгласы рабочих. Войдя в дом, он посмотрел на выкорчеванный пол и не сразу понял, в чём дело. А когда понял, то почувствовал, как сердце его задрожало и, ухнув, провалилось куда-то вниз...

Освобождённый от досок, пол старого дома явил взору выступающие из-под земли гигантские корни старого туютника.

Это было невероятно. Вырубленное дерево словно продолжало жить в своих корнях и, сплетаясь в мощный узел, они фактически держали на себе дом.

— Что будем делать, хозяин? — спросил один из рабочих. — Лучше выкорчевать их, а то паркет станет подниматься!

— Делайте что хотите! — медленно произнёс Хозяин, почувствовав, как горло его перехватывает спазм.

Выйдя из дома, он сел в машину и резко нажав на газ, помчался на огромной скорости в сторону перевала, и долго ехал по петляющей горной дороге, с трудом разбирая повороты от слепящих глаза слёз.

Некоторое время спустя на месте старого уже возвышался почти заново отстроенный дом. От стен и до мебели здесь всё было новым. И современным. Веранда сияла громадными стёклами в новеньких рамах, из которых можно было увидеть залитый солнцем свежее-асфальтированный двор.

Где-то наверху, на уровне крыши, протянулась металлическая рама с молодыми виноградными побегам, ещё не принявшимися и оттого почти незаметными.

Место, откуда ещё совсем недавно мощно выступало старое дерево, также было залито асфальтом, и на земле теперь не валялось ни единой туювой ягоды.

Родственники и соседи, дружно приходившие посмотреть на дом после ремонта, постепенно забыли о старом дереве, под которым когда-то стоял невысокий столик с гордо возвышавшимся на нём пузатым самоваром.

Жизнь опять вошла в привычную колею, и некоторое время всё было спокойно. Но однажды стихия вновь дала знать о себе мощным подземным толчком, который сильно напугал жителей и от которого многие дома в городе пришли в негодность.

Как раз в этот день уже не очень молодой Хозяин и его семья беспечно проводили время на загородной даче и не могли знать, что дом их будет сметён стихией, словно спичечный коробок. Ведь он больше не охранялся старым тутовником...

\* \* \*

«И это пройдёт», — прочитала Девочка слова из притчи о мудром царе Соломоне и закрыла книжку.

Она уже давно стала бабушкой, но внуки её никогда не видели старого тутовника и, конечно же, не могли попробовать взобраться на него.

Дерево осталось в другой жизни, счастливой и далёкой, где были дом, и сад, и пузатый самовар, и раскалённая от солнца железная крыша, и липкий белый ягодный ковёр под ногами.

Единственное, что осталось, это ощущение тёплой, шершавой коры дерева под гладившими его руками...

## Любовью оскорбить

После окончания седьмого класса Сима уже половину лета промаялась в городе. Денег на поездки в семье не было, поэтому этот вопрос даже не обсуждался. Трудности сказывались даже на покупках летней одежды. Как-то всегда не хватало бюджета на летние наряды, которые могут пригодиться, а может и нет. Северное лето короткое и холодное.

Все знакомые ребята разъехались. Кто к родственникам в другой город, кто в деревню. Сима поглядывала на свою большую спортивную сумку. Задерживалась взглядом на чехле для зубной щётки, когда открывала шкафчик в ванной, на маленьком томике Марины Цветаевой, который удобно брать с собой. Поехать хотя бы в деревню!

— Ну, кому ты там нужна? — говорила мама, — У всех семьи, свои дела.

Мама стояла у раковины и мыла картошку. Сима не отступала.

— Я же не на всё лето, а хотя бы на неделю. Вон и Вовка, и Сашка уехали.

— Так они к своим бабушкам поехали, а у тебя бабушка здесь живёт. Вот и сходи к ней, можешь даже с ночёвкой.

Сима вздохнула.

— Что я там делать буду. Скучно же.

На плите зашипело. Мама кинулась к кастрюле, подняла крышку.

— Ну, вот опять накипь упустила! На-ка лучше почисти картошку, чем вздыхать и канючить.

Мама с лёгким стуком шлёпнула перед Симой миску с сырой картошкой и нож.

— Сашка, между прочим, не к бабушке поехал, а к тёте. Почему другие ездят, а мне нельзя?



— Потому что у тебя и тётки в деревне нет!

— А тётка Валя?

Мама резко повернулась и шлёпнула себя по бёдрам.

— Тётка Валя мне тётка, а тебе уже седьмая вода на киселе. У неё корова, огород! Некогда ей гостей принимать.

Сима повела плечом и нахмурилась. Сдаваться она не собиралась.

— Интересно, со мной что, нянчиться надо? Чем я ей помешаю?

Некоторое время работали молча. Потом Сима протянула в сторону маминой сердитой спины миску с почищенной картошкой и словами:

Готова твоя картошка!

Мама опять всплеснула руками:

— Моя!

Сунула миску в раковину. Стала яростно тереть каждую картофелину под струёй воды, возмущённо доказывая:

— Как ты не понимаешь?! Постельное тебе надо будет? А у них ведь стиральной машины нет, и вода из крана не течёт. С колодца таскать приходится. Ты только стирки тётке Вале добавишь. А кормить тебя? Сами-то иногда, как придётся. Приготовили, так приготовили. А нет, так и молоком с хлебом перебьются. Гостя же совсем другое дело. Я их знаю.

Сима вскочила из-за стола и уже в дверях почти крикнула:

— Это ты не понимаешь, что надоело мне в городе одной торчать! — и выскочила из кухни, хлопнув дверью.

Мама посмотрела вслед дочери и покачала головой.

На следующий день довольная Сима собирала сумку, чтобы уехать первым утренним автобусом в деревню на несколько дней. Вещей получилось много. На случай похолодания, дождя, жары, спортивные для катания на велосипеде, сапоги для леса, конфеты, шоколадки и полный комплект постельного белья.

Мама оказалась права. Тётка Валя хлопотала вокруг Симы. В первый же день обед выглядел как праздничный. На середине стола стояла тарелка с грудой крупных кусков лосося. Дома у Симы красная рыба была деликатесом. Бутерброды с тонкими солёными кусочками появлялись на столе редко, только по праздникам. А чтобы так!

Сима не рискнула спросить, ради её приезда такое изобилие или всегда так. Такой наваристой лососёвой ухи она ещё никогда не пробовала.

— Это вы сами наловили столько рыбы? — спросила Сима у дяди Паши.

Худой, долговязый, с крупными загрубевшими руками, муж тётки Вали, говорил мало. А после того, как увидел округлившиеся Симины глаза — на вылетевшее у него по привычке матерное слово, и вовсе молчал. В родительском доме мата Сима не слышала совсем. А дядя Паша без матерных связок говорить не умел.

— Ну, да... Мы тут... с соседом... сетки... проверили, — с длинными паузами ответил дядя Паша.

После обеда Сима поехала осматривать деревню и окрестности на велосипеде. Вернувшись, застала тётку Валю и дядю Пашу уже за ужином. На столе было молочное изобилие. Творог, банка со сметаной, простокваша, масло и молоко. В хлебнице лежали пахучие ломти свежее испечённого хлеба. Стояло несколько банок с вареньем из различных лесных ягод. Стоял пузатый самовар с короной в виде заварного чайника и чашки. Дядя Паша уже пил чай.

Сима остановилась в нерешительности.

— Извините, я кажется, опоздала.

— Никуда ты не опоздала, — успокоила её тётка Валя, — это дяде Паше надо пораньше лечь, чтобы утром на сенокос ехать. Покосы-то нынче далеко выделили. Садись, бери творог, сметану и ешь.

Сима окинула взглядом стол и не найдя тарелки, ложкой захватила творог с краешка общей плоскости. Дядя Паша протянул жене чашку со словами:

— Налей-ка ещё.

Пока тётка Валя наливала ему чай, он зачерпнул варенье. Старательно облизал ложку и снова опустил её в банку. Симе есть расхотелось. Она намазала маслом кусок хлеба и попросила налить ей чай.

— А творог, а сметану? — забеспокоилась тётка Валя.

— Спасибо, я очень люблю хлеб с маслом. Он у вас так вкусно пахнет!

— Меня тоже в детстве «булка с маслом» дома дразнили, — засмеялась тётка Валя, — смотри голодной не останься.

После ужина Сима предложила:

— Давайте я вам помогу убрать со стола.

Тётя Валя усмехнулась и отрезала:

— Ещё чего! В кои веки в гости приехала. Сама управлюсь. Ты вон телевизор пока посмотри, али отдохни.

«Да, мама знает свою тётушку», — подумала Сима и принялась разглядывать фотографии и безделушки, стоящие на комод. Тётя Валя, управившись с делами, спросила, где ей удобнее спать, предлагая выбрать кровать, у окна или в уголке за печкой.

— А можно на сеновале? — спросила Сима.

— Так там же нет кровати, — удивилась тётя, — тебе не понравится. Корова внизу топчется и вздыхает, будить будет. Куры раскудахтаются. Да и темно там, белые ночи то уже почитай кончились.

— Тётя Валя, я так мечтала поспать на сеновале, — взмолилась Сима, — ну, пожалуйста. А темно, так у меня фонарик есть.

— Эко выдумала! Что мама-то скажет? Да, небось, и замёрзнешь там, чай на севере живём, ночи холодные.

Сима чуть не запрыгала, услышав сомнения в голосе тёти.

— Не замёрзну. Вы же мне одеяло дадите. Я люблю в прохладе спать.

Тётя Валя рассмеялась и махнула рукой:

— Ну, что с тобой делать? Погоди, бельё достану.

— У меня всё есть! — хлопая в ладоши от радости, завопила Сима, — Мне мама велела всё взять.

— Авой-вой! Что у нас белья не найдётся? Вот выдумщицы, — ворчала тётя Валя, доставая из кладовки тюфяк, ватное одеяло и подушку.

Дядя Паша затащил всё это по приставной лестнице на сеновал и отправился спать. Тётя Валя уселась с вязанием, расспрашивая Симу про маму и отца, про школу, пока не начала зевать. Так закончился этот день в деревне.

Первая ночь на сеновале оказалась страшной и приятной вперемешку. Кромешная темень, дурманящий запах свежего сена, шорохи и вздохи скотины, щекочущие травинки, кажущиеся пауками, жужжание комаров, солнечные лучики утром, бляение овец и мычание коровы. Красивейший вид на огород и лес, через открытую утром дверь на задний двор.

За завтраком Симу смутило наличие на столе тарелок для неё и тёти Вали, которая сразу сообщила:

— Сегодня творог и сметана свежие. Вчерашние я в пироги положу.

Сима почувствовала, как краснеет.

— Ну, и как тебе на сеновале спалось? Не замёрзла? Может, сегодня в доме постелить?

Сима заверила тётю, что ей хорошо спалось, что хочет остаться там и предложила:

— Я могу помочь вам по хозяйству.

— И не придумывай, — так же, как вчера, ответила тётя Валя, — иди вон на велосипеде катайся. А то на озеро съезди, там красиво.

Сима с удовольствием разглядывала палисадники перед домами, за низкими заборчиками, и дворы. Дома на три-четыре окошка, тянулись вглубь огородов. У тёти Вали дом большой, просторный. А некоторые — маленькие, осели в землю, будто стесняются, что не выросли. Но краска, голубая или зелёная, и белые наличники на окнах делали их очень милыми. Сима ехала и любовалась. Откуда у неё это? Родилась и выросла в городе, родителей туда привезли совсем маленькими. А ей так приятно было находиться в деревенском доме, ехать по улице без тротуаров. Отвечать на приветствия совсем незнакомых людей на улице. Прохожие, правда, встречались редко.

Сима смущённо делала вид, что не заметила, когда её провожали внимательными взглядами со своих дворов. Потому что не знала, здороваться ли так издалека. Наверное, они гадали, чья же эта девчонка.

Вскоре Сима увидела, что её провожают не только взглядами. Куда бы она ни ехала, сзади маячил парень на велосипеде. Когда Сима разворачивалась, он проезжал мимо. А потом опять появлялся. Близко не подъезжал. Так и катался за нею по всей деревне.

На следующий день всё повторилось. Сима бы никому не призналась, что ей приятно было увидеть сопровождающего снова. Что она слегка поворачивала голову, будто рассматривает цветы в очередном палисаднике, чтобы разглядеть его. Что против воли в голову лезли картинки, как он подходит и заговаривает. Как вечером они прогуливаются по берегу

озера. Сима встряхивала головой, откидывая чёлку, словно этим движением с прядью волос можно отбросить и эти картинки. Но внутри тепло.

Она следила за каждым своим движением, красиво ли. Почти на выезде из деревни от центральной дороги отделялась другая, в сторону озера. Сима поехала по ней и через несколько минут оказалась на пустынном берегу, усеянном камнями и выброшенными на берег стволами деревьев. Про это место, которое называлось пляжем, рассказывала ей тётя Валя. Сюда в хорошую погоду бегали купаться ребятыня, деревенская молодёжь и приезжие.

Сима положила велосипед на траву. Подошла к воде. Бескрайнее озеро расстилалось перед нею, переливаясь разными оттенками голубого, синего и почти чёрного, ласково облизывало прибрежные валуны и с лёгким плеском откатывалось назад. Боковым зрением видела, что парень остановился в сторонке, держась за руль.

Сима бросала в воду «лягушек», театрально хмурила брови, когда не получалось. Балансируя, ходила по гладким стволам, как по гимнастическому бревну. Собирала букет из ромашек. Этот дикий пляж превратился для неё в сцену, на которой она — Сима, красивая, стройная, гибкая и загадочная исполняла главную роль. На своего единственного зрителя «актриса» ни разу не посмотрела, словно была одна одиёшенька.

Вечером, за ужином, тётя Валя с лукавой улыбкой спросила:

— Никак у тебя ухажёр появился?

Сима покраснела так, что даже уши запылали. И вдруг дядя Павел, протягивая руку за хлебом, брякнул:

— Это наш местный дурачок, Петька что ль?

Кровь отхлынула от лица Симы, но она нашла в себе силы, сказать:

— Какой ухажёр?

— Да, вся деревня говорит, что он по пятам за тобой ездит. Не заметила?

Тётя Валя спросила серьёзно, но в глазах у неё резвились озорные искорки, будто она читала Симины мысли. Сима в сердцах тряхнула головой и выпалила:

— У меня на затылке глаз нету!

Больше на велосипеде Сима не каталась. Через день она уехала домой. И вспоминать эту поездку в деревню не любила долгие годы.

Когда уже взрослая Сима встретилась с тётёй Вале́й, на юбилее у родственника, и та, смеясь, спросила:

— А помнишь своего уха́жэра у нас в деревне?

Сима холодно ответила:

— Нет, не помню.

И это не было неправдой. Тогда она так и не рассмотрела того «ухажэра». Просто мелькавший там и тут силуэт, который так и не превратился в человека.

— Да, как же? На велосипеде за тобой ездил, — продолжала с улыбкой тётя Валя.

— Не помню. Выдумываете вы что-то.

Тётя Валина улыбка из весёлой, неуловимым движением превратилась в смущённую, а в глазах застыло лёгкое удивление. А Сима при будущих встречах старалась не оказываться с тётёй Вале́й близко.

Прошло несколько десятков лет. Серафима Антоновна смотрела по телевизору старый советский фильм «Старшая сестра». Её всегда удивляло, что сколько не смотри старые любимые фильмы, каждый раз замечаешь разные детали. Кажется, всё наизусть знаешь. Ан нет. В этот раз её резанула фраза, произнесённая одной из главных героинь Надеждой в исполнении Татьяны Дорониной. Почему раньше она не обратила на неё внимание? Почему сейчас слова «Любовью оскорбить нельзя» всколыхнули воспоминания о той давней поездке?

Серафима Антоновна пожалела ту девочку-себя, и тётю Валу, и деревенского дурачка Петьку, про которого она так и не расспросила — и уже не у кого расспрашивать.

## Детство на кладбище

Кучерявая Ирочка на всех фото получалась хорошенькой или, как говорили взрослые, сладкой. Какое бы выражение лица она не принимала, и в жизни, и на фото выглядела как само очарование. Мама красотой дочери очень гордилась. Она вела ее за руку по улице и всем видом как бы показывала: «Вот посмотрите, какая у меня хорошенькая девочка родилась!»

Ирочка мамочку боготворила. Если бы ее спросили, что такое любовь, она бы представила маму. И этим все сказано. Только став подростком, она задала себе вопрос: была ли мама такой светлой или это она наполняла ее образ светом? Найдя ответ, она не сразу оценила свою способность видеть истинный свет даже в тех людях, кто прятал его сам от себя за сто пудовых замков.

Если мама была Любовью, то главной Тайной для Ирочки был прадед Семен Кузьмич. Почти на всех своих детских фото она была на фоне могилки. Менялись «за кадром» времена года, рядом были разные люди (в основном ее близкие), но обязательно виднелись памятники и совсем свеженькие холмики. Объяснялась эта загадка просто: прадедушка Ирочки, у которого она проводила много времени, был смотрителем кладбища. Никто и не помнил уже, как так вышло, что, вернувшись с войны, он занял пост распорядителя одного из самых больших погостов, расположенного на окраине города N. Про войну он никогда ничего не рассказывал. Но все понимали, что именно она сделала его проводником между миром живых и миром мертвых. Служение на кладбище, возможно, было единственным способом принять прошлое, где одни люди решили, что могут уничтожать других, где матери получали похорожки на детей.

Дом Семена Кузьмича располагался прямо на кладбище. Ворота и забора, огораживающего погост, не было. Так что вы-

ходило, будто с дома Семена Кузьмича начиналось все кладбище. Впрочем, почему «будто»? Ровно так и было. Двух своих детей (всего было семеро) Семен Кузьмич похоронил прямо напротив окон, всего метрах в трех от дома. Новые посетители кладбища всегда отмечали этот факт. Шептались: «Как же это — каждый день видеть могилы детей?» Не осуждали, нет. Все, кто хоть раз общался в Семеном Кузьмичом (даже если это была мимолетная встреча), не находили в своем сердце ничего, кроме благодарности. Дети, хоронившие родителей и чувствовавшие нестерпимую боль утраты, видели, как Семен Кузьмич посматривает в сторону небольших памятников своих дочери и сына, и успокаивались. Вообще успокоение у него находили все. Любой мог зайти в его дом для обсуждения похорон. С каждым он говорил вроде бы только о траурной церемонии, но на самом деле о том, как принять саму смерть и с благодарностью отпустить тех, кого она забрала. У людей (казалось, еще несколько минут назад совсем безутешных) высыхали слезы, а их лица, на которых легла печать печали, просветлялись. Семен Кузьмич не говорил мудростей, не сыпал философскими фразами. Он вообще мало говорил. Но было в нем самом нечто такое, что действовало лучше любых слов. Это его состояние и несло принятие.

Ирочка благодаря прадеду никогда не боялась мертвых. Она часто увязывалась за ним, когда тот совершал свои ежедневные — утренние, дневные и вечерние — обходы. Она знала каждую могилку, любила изучать надписи (по ним и училась читать). Бывало, что забывала игрушку (какую-нибудь палочку или шишку) на памятнике, возвращалась за пропажей.

Иногда сами могилки ей казались живыми. Она разглядывала фотографии и вела с теми, кто на них изображен, беседе. Для этих разговоров она выбирала людей красивых или по крайней мере симпатичных. Нравилось ей, когда кто-то на фото улыбался и был празднично одет. Но больше всего, конечно, она задерживалась у памятников детям. Совсем маленькие, уже подростки... Ирочка знала, что они все умерли, но почему и что с ними сейчас, она не догадывалась.

— Дедушка, а посмотри вот на эту могилку, — тянула Ирочка прадеда за рукав во время очередного обхода.

— Девочка. Три года ей было. Мало пожила совсем.

— А почему?



- Может, заболела.
- Ее никто не лечил?
- Ну почему же? Лечили, думаю. Но если душа решила уйти, то она уйдет, как ты тело не лечи.
- А что такое душа?
- Это Свет внутри нас.
- А где он у человека внутри? Где сердце?
- Где-то там, внученька. Вот ты знаешь, что такое Человек? Это ЧЕЛО, которое дается на ВЕК. Чело — это тело. Оно душе дается на век, но именно на ее век. А у каждого он свой. У кого-то три годика, у кого-то сто лет.
- А у тебя?
- Кто же тебе такую тайну раскроет? Нет, не скажу, и не проси даже.
- А у меня?
- А это только ты знаешь.
- А я не знаю! Ты шутишь, дедушка?
- Нет, не шучу. Просто человек осознает, что он знает, не сразу. Придет время — ты вспомнишь.
- А зачем человек рождается?
- Учиться душа приходит. Ошибки свои исправлять. Миру служить.

Такие диалоги были не частыми. Обычно прадед просто сидел или шел рядом. Она не помнила его ни плачущим, ни смеющимся. Он никогда не кричал, не ругался, не переходил на шёпот и не менял голос при общении с детьми, как часто делают взрослые. Он был всегда в одном ровном состоянии.

Его дом был особым местом. Посетители кладбища старались отблагодарить того, кто помог им отправить в последний путь близкого. Несли разные дары и даже деньги. Он ничего не брал. Не из высокомерия, не из напускного благочестия и не из страха осуждения или наказания. Просто не брал, потому что ему было не надо, потому что это не его и потому что на том стоял какой-то его мир.

Умел не брать так, что люди не чувствовали обиды.

Зарплатой и пенсией распорядилась жена — прабабушка Дуня. Добрая женщина практически все, что оставалось после покупки продуктов и вещей первой необходимости, раздавала своим детям, внукам и правнукам. Так что в доме не

было ни телевизора, ни ковров. Запомнились голый дощатый пол, старая деревянная мебель. Особенно большой круглый стол, за которым каждый день сидели разные люди.

— Папа, люди же заходят, нам совестно, что ты так бедно живешь, — говорили дочери. — Давай мы купим тебе хотя бы новый шкаф.

Семен Кузьмич успокаивающе-убедительно говорил, что этого точно не нужно. Тогда они шли к его жене Дуне:

— Мама, может ковер на стену?

Она улыбалась и отвечала:

— Мы же у людей на виду.

— А разве стыдно, когда есть уют в доме?

— Разве уют — это ковер на стене, — качала головой Дуня.

А еще дети не могли понять, почему Семен Кузьмич пускает всех в дом. Мог бы пристройку сделать, так сказать, офисную. Ну или, на худой конец, принимал бы посетителей в коридоре. Нет, он непременно всех провожал в зал, усаживал за тот самый стол, за которым с женой обедал и ужинал.

— Когда он согласился на эту работу, мы понимали, что это служение людям, так что наш дом — он для всех открыт. Если мы с вашим отцом устанем, мы уедем отсюда в деревню, а кладбищем будут управлять другие, — отвечала Дуня.

Они не устали. В доме Семена Кузьмича часто свет горел круглую ночь. Он не прогонял напившихся с горя отцов, потерявших детей, он не прерывал многочасовые монологи жен, которые только что похоронили своих мужей. Он был с ними всеми, пока жил на кладбище. А жил там, пока не похоронил любимую Дуню. Похоронил и понял, что его кладбищенский век подошел к концу.

Они сидели на могилке Дуни. Ирочка, ее мама и Семен Кузьмич.

— Дедушка, — говорила мама Ирочки. — Смотри, какая у тебя красивая правнучка растет! Счастливая будет!

Семен Кузьмич наклонил свою совершенно белую голову к правнучке и, глядя ей в глаза, как обычно, негромко сказал:

— Обязательно будешь счастливая, милая. Но произойдет это, когда людей полюбишь и служить будешь миру.

Эти его слова стали последними, и для Ирочки они были благословением. Ни красота, ни ум, ни успех, ни большие деньги — ничего из этого, как убедится она потом, не прино-

сило людям счастья. «Ты был прав, только любовь к людям и миру», — прошептала взрослая женщина, наклонившись к маленькому памятнику на большом кладбище. С фотографии на нее смотрел совершенно белый старик. Он словно бы по-прежнему следил за порядком в мире мёртвых и живых.

## По осколкам неба

Женьку трясло от озноба. Она лежала пластом на кушетке, в своей комнате, с температурой 38 и пять, соплями, головной болью и саднящим горлом.

Но не простуда стала причиной её отчаянья. Мало ли было этих простуд. Трагедия в том, что из-за вот этой конкретной простуды она не могла ехать в Ленинград. Это должна была быть первая встреча с городом её мечты. Это имело громадное значение — мечта должна была стать реальностью. Причём уже становилась: у Женьки был билет на поезд, у неё был собран чемодан.

Поэтому сказать, что план рухнул, значит, ничего не сказать. Просто небо упало на землю и придавило собой Женьку.

Ленинград, сколько она себя помнила, занимал её воображение. Ленинград был родиной прекрасных вещей, точкой притяжения, объектом желаний. Она хотела его весь.

Впервые он явился ей в виде эскимо на палочке, в фольге с корабликом, целый ящик эскимо! Сокровище хранили в подполье, чтобы не растаяло. Женьке было года четыре, жили они в сказочном краю, про который пелось «по диким степям Забайкалья». Мороженое в забайкальских краях было редкостью, привозили его только зимой и поэтому закупали ящиками впрок. Так вот, это волшебное лакомство, эскимо в шоколаде на палочке, нагло жрал старший брат, а ей из-за ангины надо было ждать, пока оно растает и растечётся по блюдечку. И вот она расправляла ногтем золотинку с корабликом в ожидании. Золотинка и была «город Ленинград». Тот, что в стихотворении, где человек рассеянный с улицы Бассейной, которому с платформы говорят: «Это город Ленинград». Она уже готовилась сойти на ту платформу.

Ленинград был источником того, что в магазине не купишь и по местному блату не достанешь. Отцу надо было

ехать туда в командировку, чтобы привезти килограммы шоколадных конфет, гэдээровские игрушки, маме духи и журналы мод, Женьке акварель «Нева» и «Ленинград» и даже этюдник. Ещё там были Эрмитаж и Русский музей, которые она видела только на открытках и в редких фотоальбомах.

В раннем детстве Женька подозревала, что живёт в особенном мире, связанном то ли с песней, то ли с былинной, то ли со сказкой. Ведь она никогда не жила в обычных местах. О местах, где она жила, пели по радио и рассказывали по телевизору. Из Забайкалья они поехали на БАМ. О котором тоже пели: «От Байкала до Амура мы проложим магистраль!».

И вот они приехали в Кузбасс, про который не было слышно песен. Ни слова про Кемерово. Да, можно сказать, что природа здесь была величественная, но нельзя сказать того же об архитектуре, тем более об искусстве. Величественной природой особо не полюбишься: зимой околеешь, прежде чем до неё доберёшься, летом сожрут комары и гнус. Кемерово же представал перед ней гигантскими дымящими заводскими трубами и самими заводами, растянувшимися по обоим берегам реки Томь.

Поэтому, наверное, она переключилась на Ленинград, о котором любил рассказывать отец. Тот город тоже был песенным, легендарным, мифическим. Не про унылую жизнь. По мере взросления из фантазии город сделался мечтой, а после поступления в художественное училище стал планом. «Есть ли у вас план, мистер Фикс? — спрашивала себя Женька и отвечала, — У меня есть план!»

К нему, Ленинграду-Питеру, конечно, надо было долго и упорно идти, через сотни набросков, эскизов, через экзамены, просмотры... Ещё надо было сделать приличную дипломную работу, получить направление на учёбу в знаменитую «Репу», а уж потом ехать и поступать. В том, что поступит, Женька практически не сомневалась.

В целом путь к мечте был не так, чтобы унылым. Всё-таки студенческая жизнь имеет преимущества перед школьной, особенно, если ты в неё вступаешь в 15 лет. Полгода назад в школе на вас орали учителя, а теперь преподаватели обращаются на «вы», ты получаешь стипендию, у тебя есть студенческий билет и зачётка. Взрослая жизнь с планами на будущее, одним словом.

Хоть в эту новую жизнь Женька и шагнула не совсем по плану. Скорее назло всем. Ведь отличнице, которой светила золотая медаль, на которую педагоги возлагали надежды (с большой буквы «ЭН»), казалось бы, не место в «шараге», даже в художественной, то бишь богемной. Она могла легко пойти в политех при помощи отца с его связями, могла в универ, как мечтала мама. Да куда угодно могла пойти с такими оценками. Но она весь восьмой класс сралась с классной руководительницей, по идейным соображениям, и в итоге ушла в художественное училище, куда её приняли без экзаменов только потому, что она пару лет ходила туда на подготовительные курсы. Во всей округе это была единственная «художественная школа», а в семье считалось, что рисование полезно для какой-нибудь инженерной специальности. Для инженера-шахтостроителя, к примеру, каким был отец.

Она неожиданно не пошла по стопам отца, у которого все до невесть какого колена были и есть горняки, геологи, шахтёры, золотодобытчики. И сам он горняк, и братья его горняки, и сын, Женькин брат, горняк. А она вот выпендрилась (по версии брата) — в художницы подалась. Да ещё и мимо высшего образования! Но последний недостаток легко было исправить, поступив в питерскую Академию художеств имени Ильи Репина, в просторечье именуемую «Репой». Отец эту тему оценил и намерение поддержал. Все ж таки престижное образование, да и город ему нравился.

Теперь, когда Женька заболела, отец периодически заходил к ней в комнату, узнать, как самочувствие. «Херовое», — отвечала Женька. Материться дома разрешалось только отцу, точнее, он разрешал это себе и запрещал другим. Поэтому матом Женька выражала нежелание общаться ни на какие темы. Когда жизнь потеряла смысл, стоило ли блюсти приличия.

Мама переживала не меньше неё. Ведь это была не просто поездка. Ехал весь третий курс на зимнюю производственную практику — по музеям, по театрам. Частично расходы брало на себя училище, билеты в музеи для студентов профильных учебных заведений были бесплатными. Художественное училище выкупило для своих студентов целый вагон. Не поездка — мечта! Готовились к ней за полгода.

Кстати, ездить на практику из Сибири в культурные столицы было не для всех советских студентов в порядке вещей. Будущих педагогов гоняли в школы, медиков — в морги, а вот учиться на художницу было неплохо. Не в забой на практику отправляли, а в лучшие музеи страны. Из Москвы или Ленинграда за две недели зимних каникул будущие графики, живописцы, оформители, керамисты и прочие художники-декораторы успевали смотаться в Суздаль, Владимир, Псков, Великий Новгород, Ригу или Таллин. Вот именно этого — Ленинграда, Пскова, Таллина и Риги — прямо сейчас лишалась Женька.

В дверь позвонили. Мама пошла открывать. Пришли одноклассницы, и Женька ещё острее ощутила свой эпический провал. Как прошлым летом, когда они все поехали на пленэр в Крым, а она из-за больного желудка осталась дома. Поэтому они выставлялись морскими пейзажами и приморскими виллами, а она — пейзажами деревни, куда её повезла мама «чтобы поправить здоровье».

Надо теперь сказать, что собой представляла Женькина комната. Далеко не все могли похвастаться тем, что у них была своя комната. Поначалу, в школьные годы, там стояли раздвижная кушетка, купленная, когда Женька была такой маленькой, что её ещё не надо было раздвигать, письменный стол и стул. И встроенный шкаф.

С тех пор кушетка стала длиннее на полметра. Помимо стола со стулом там поселились книжные полки, тумбочка и — главное — этюдник. Под кушеткой стоял сделанный на заказ ящик для красок и кистей, а по углам были рассованы планшеты, подрамники, холсты и папки с работами. Письменный стол был завален бумагами — чертежами, эскизами, набросками. И с недавних пор посреди стола красовался настоящий человеческий череп. Он служил учебным пособием на занятиях по рисунку и живописи, а чтоб его не спёрли из мастерской, Женька носила его домой. Череп доверили ей, поскольку она не просто местная, в отличие от большинства одноклассниц, она живёт по соседству с училищем и у неё отдельная комната. Ведь не все морально готовы к человеческому черепу на столе. Например, Женькина мама перестала заходить в комнату с тех пор, как та его принесла.

Череп создавал неоднозначное самоощущение. Согласитесь, не типично, когда обычная девушка регулярно разгуливает по городу с человеческими останками в мешке для сменной обуви, как какая-нибудь ведьма из «Мастера и Маргариты», а в комплекте к черепу идёт набор хорошо заточенных инструментов — перочинный нож и хирургический скальпель. Это даже круче, чем Азazelло с обглоданной куриной ножкой в кармане.

Женька слышала, что человеческие черепа и кости добывали чёрные копатели. Они облюбовали заброшенное кладбище, где после войны хоронили пленных немцев и японцев. Захоронения со временем оказались в городской черте на обширном пустыре, где весной чернели могильные провалы. Летом они, наверное, зарастали травой и не так бросались в глаза. Кладбище было на окраине их района, Женька ходила туда однажды весной, когда сошёл снег, и не смогла там долго находиться из-за навалившейся тоски.

Череп, который они всей группой называли Машкой, скорее всего был когда-то головой Ганса или, скажем, Акиры (единственное известное ей японское мужское имя, как у режиссёра). Но, хотя это и был скорее всего череп врага, когда-то он принадлежал человеку, поэтому, по мнению Женьки, заслуживал имени и уважительного обращения. И сейчас, в этот трудный момент, Машка-Ганс-Акира устался на неё пустыми глазами.

Оказалось, девчонки пришли, чтобы уговорить её поехать в Питер... Но как? Трое суток в поезде с температурой, соплями, кашлем? И вообще, она могла их всех заразить. Где они мозги позабыли?!

— Понимаешь, — сказала Инка, — ты уже болеешь два дня, едем мы послезавтра вечером, трое суток в пути. Простуда в среднем длится неделю. Значит, ты в Питер приедешь уже здоровая.

— Да, но как я поеду больная? — не слишком уверенно возразила Женька.

— Лёжа, — сказала, как отрезала, Маринка, — с нами в купе поедешь, мы тебе будем носить чай, еду берём с собой.

— Я беру с собой варенье из облепихи, будем тебя им кормить, — добавила Лариска, которая Лора, а не Лара (так звали двух Ларис, чтобы различать).



По ходу разговора до Женьки вдруг дошло, что у неё есть подруги. Это было новое ощущение. Да, они вместе учились уже третий год. Но это просто учёба. В школе она тоже с кем-то каждый день ходила на уроки, с одними отношения были лучше, с другими хуже. О дружбе, однако, речи не шло. Со стороны могло казаться, будто она дружит с мальчишками-одноклассниками. Но она-то знала, что это не дружба, что тут у них «любовь с интересом», как говорил Жеглов Шарарову.

Наличие старшего брата помимо многих неудобств — долго рассказывать — имело некоторые преимущества. Одним из них был доступ к пацанским разговорам. Из которых следовало, что дружбы между мужчиной и женщиной быть не может и что мужчины любят тех, кто ближе. Наблюдения за одноклассниками и друзьями брата полностью подтверждали эти тезисы. Поэтому Женька почти без колебаний бросила троих школьных друзей (бросила — это по их версии), с которыми проводила свободное время класса с пятого. Они остались в школе. И всё, отношениям конец. «Верные» друзья и поклонники переключились сразу на других девчонок. А ведь была «така любовь, така любовь».

В училище Женька попала в девичью группу. На первом курсе было у них трое парней, но одного отчислили за прогулы, а двое других перешли в параллельную группу, не выдержав конкуренции.

Дело в том, что Женькину группу лично под себя набирал перспективный новый препод, выпускник Академии художеств (и тут снова перед ней возник призрак Ленинграда). Чтобы молодой специалист не сбежал через год в родной Краснодар, ему разрешили забрать себе самых талантливых абитуриентов, которыми оказались абитуриентки. Трёх парней и двух девочек послабее (двух Ларисок) ему пришлось взять для количества. Все они на первом курсе портили преподу успеваемость.

Ларисок он попытался выжить летом, после второго семестра. Мальчиков-то нельзя под зад мешалкой, их в армию загребут. Девочкам же армия не грозит. А то, что девочки поступили в училище после восьмого класса и должны были получить среднее образование уже там, его не волновало. Оценки по спецам у них с мальчиками были одинаково слабые, но пожертвовать решил девочками.

И неожиданно-негаданно девчачья группа проявила солидарность. Женька приняла в этом участие: они все напряглись перед просмотром и «допилили» слабые работы одногруппниц, когда узнали от старосты Маринки, что тех планируют отчислить. Для мальчиков, кстати, после этого вариант нашёлся: их перевели в группу послабее, чтобы на том фоне они смотрелись не так убого.

Теперь Лариска, Маринка и Инка пришли к ней, чтобы взять за шкуру и тащить навстречу мечте. Что это, если не дружба? Поэтому Женька решила ехать. Хотя обстоятельства были против, хоть голос разума предупреждал, что между Кемерово и Питером будет длинный день в Москве. Все же мечтали этот день провести с пользой, посмотреть город. А что посмотрит она в лежачем состоянии?

Но мечта звала. До вокзала Женька доехала на такси.

## Телевизионные помехи

В детстве Катя очень любила смотреть мультики. Особенно рисованные. Кукольные — гораздо меньше. Впрочем, об этом еще Гришковец говорил. За что любят Гришковца? За то, что он подмечает тонкие детальки, описывает то, что проживают все, думают, чувствуют, но никогда не дают определения, не находят нужного слова маленькому явлению. А Гришковец — находит. Вот говорит он, например, про то, что ребенок прибегает вечером с улицы, писает, бежит включать мультики, а там «Куууукольные...» — и это разочарование остается с ребенком навсегда, на всю жизнь, особенно если такое часто повторяется. Когда предвкушаешь прекрасное, счастливое, а вместо этого получаешь — кукольные мультики или невкусную и ничем не пахнущую землянику в пластиковой таре, выглядящую при этом великолепно, или неудачный брак, или вдруг только что ты была маленькой девочкой — и тебе внезапно уже сорок пять, а потом пятьдесят пять, а дальше станет еще больше, и это еще удача, если станет, можно и не дожить, а мультики все чаще будут кукольными и скучными.

Катя помнит, как любила смотреть «Ну, погоди!», но почему-то всегда во время этого мультфильма возникали телевизионные помехи, черно-белый телевизор «Шилялис» (сделанный в литовском городе Шауляй, как она потом узнала) начинал идти серо-белыми полосами, шипеть, трещать и вредничать. Маленькая Катя очень огорчалась, она не понимала: почему, когда взрослые смотрят скучную программу «Время» или «Международную панораму» — то все в порядке и телевизор отлично работает, а на любимых мультиках — сплошные помехи.

Только потом, уже взрослая, выщипывая ощутимо и быстро вылезающие над верхней губой усики, Катя вспомнила,

что помехи у отлично работавшего телевизора возникали как раз в тот момент, когда Катина бабушка ждала в гости своего ухажера, и незадолго перед его приходом сбривала электробритвой покойного катиного дедушки быстро растущие усики над верхней губой. Включенная в розетку бритва и создавала помехи. Ухажер бабушки был полковником в отставке, и потому всегда приходил в определенное время — по субботам, в 13.00. «Ну, погоди!» же показывали в 12.15, и бабушка производила свои манипуляции с электробритвой так, чтобы усики были совсем свежевыбритыми. Хахаль бабушки внучке не нравился — он был занудой, и цеплялся к Кате, что у нее неаккуратно надписаны тетрадки. Впрочем, потом он вообще перестал приходить, когда у бабушки на щеке выросла бородавка, которую сбрить было невозможно. Но мультики Катя к тому времени уже разлюбила.

## Предмет роскоши

Для маленькой Леночки предметом роскоши были алюминиевые сундучки, продававшиеся в магазинах с надписью «Галантерея», и в соответствующих отделах универмагов. Сундучки эти были «серебряного» и «золотого» цвета, в основном — с разноцветным штампованным орнаментом, но встречались и одноцветные. Стоили они один рубль двадцать две копейки, и были у всех одноклассниц Леночки, только не у нее самой. Мама Леночку воспитывала в одиночестве, денег было впритык, и едва хватало на еду и на немудреную одежду. Впрочем, одежда в 1975 году у всех была немудреной — только дети дипломатов, больших начальников или работников торговли одевались получше. Леночка такой сундучок очень хотела, но понимала, что денег нет, и тихо вздыхала, проходя мимо магазина на углу, где продавались сундучки. И все же она получила желаемое — написала Деду Морозу письмо перед Новым Годом, мама его отправила, и Дед Мороз принес девочке сундучок серебряного цвета с красно-сине-зеленым орнаментом. Леночка была абсолютно счастлива, и после каникул принесла его в школу — похвастаться. Она поставила сундучок на парту рядом с собой и все время поглядывала на него и поглаживала украдкой. Через неделю ее

сокровище пропало. Девочка только на минутку выбежала на переменке в туалет, а когда вернулась, сундучка уже не было на парте. Леночка плакала и не знала, на кого и подумать — девочки относились к ней хорошо, не доводили, да и у всех у них были похожие сундучки, а мальчишек девчачьи цапки не интересовали. Мама дома посокрушалась и сказала, что может купить ей другой — но Леночка помотала головой и прошептала, что если он еще раз пропадет, то она опять будет плакать, и лучше не надо.

Потом, через тридцать лет, на встрече одноклассников, Лена узнала, что сундучок сперла вредная Верка, потому что позавидовала Леночкиной радости. К тому же, Верка была влюблена в Витьку, а он дружил с Леночкой. Витька оказался успешным бизнесменом, жил в Москве, и на встречу с провинциальными одноклассниками прилетел по приколу, неожиданно для себя самого. Через неделю он позвонил Леночке и позвал ее в кафе, где торжественно вручил ей серебряную шкатулочку. Лена отказывалась от такого дорогого подарка, но Витя объявил, что это — только упаковка, а настоящий подарок — внутри. Она открыла шкатулку и увидела внутри алюминиевый сундучок с красно-сине-зелеными орнаментами. Витя сказал, что ему пришлось прошерстить много блошиных рынков и комиссионков, но он нашел точную копию.

Леночка опять начала плакать, как в тот раз, когда сундучок пропал...

## Черным по белому и белым по черному

Белым на черное падал первый снег на вскопанную землю. Падал, и тут же таял, не в состоянии бороться с тем жаром, которые все еще поднимался от осенней земли. Таял, становился серой лужицей, проглатывался жадной землей. Это был ранний первый снег, выпавший в конце октября, и не понимавший, почему он лежит не на твердом асфальте, не на жухлой бурой осенней траве, не на черепицах крыш, не на еловых лапах, не на капотах автомобилей, а на земле, вскопанной, жадно раскрытой, мягкой. Откуда в осеннем городе мягкая земля? В конце октября, когда не нужно ничего са-

жать, и не нужно выкапывать урожай — откуда она? Снег недоумевал... Черный мертвый кот лежал на чистой белой льняной тряпочке. Вернее, это была не совсем тряпочка, а льняная наволочка с вышивкой и прошвой, еще советских времен, очень добротная, привезенная Юлиной матерью из командировки, кажется, из Минска. Уже не спросить, откуда — Юлина мать умерла несколько лет назад. А теперь умер и ее старый черный кот. Такой старый, что даже уже не совсем черный — мордочка у кота давно поседела, как будто была обрызгана из пульверизатора белой краской. Черный кот умер у Юли на руках, они так и не дождалась застрявшего в пробках ветеринара, да и вряд ли бы тот помог: коту было семнадцать лет. Очень юный возраст для человеческой девушки, и очень большой — для кота. Семнадцатилетняя Юля завернула черного кота в белую наволочку, потому что кот очень любил на ней лежать, и Юлина мать, а затем и Юля, всегда ворчали из-за черных волосков, которые оставались на наволочке после кота. Юля еще не знала, что потом она будет вздрагивать и вздыхать каждый раз, как наткнется на черные и седые волоски на предметах в квартире. Юля вырыла в осенней земле ямку и положила туда кота. Она начала засыпать яму землей, а на землю падал снег, напомнивший ей белую седину кота на черной шерсти.

## В коробке не хватало одной конфеты

Люда в детстве была конфетной воришкой. Она залезала в вазочки, стоявшие на верхних полках буфета, подставляя стул, и выгребала конфетку-другую. Она ловко вскрывала коробки с конфетными ассорти, которые иногда дарили ее маме, работавшей в регистратуре поликлиники. Если конфеты лежали в фигурных ячейках, дырочки зияли, и Люде доставалось от мамы. Если же они лежали плотными рядочками, Люда просто перераспределяла конфеты, укладывая их свободнее. Люду ставили в угол, били по рукам, и даже пару раз выпороли ремнем, но она не могла ничего с собой поделаться.

Когда девочка пошла в школу, она воровала у одноклассниц красивые ластики, карандашики и «иностранные» шариковые ручки «Bic». Это сейчас мы знаем, что такие ручки —

дешевые одноразовые расходники, а тогда они были драгоценностью, так как писали более красивыми, густыми и плотными чернилами, нежели пластмассовые советские, со сменяемыми стерженьками и выпрыгивающими пружинками. Одноклассницы Люды считали, что их маленькие канцелярские драгоценности куда-то закатились, и почти никогда не думали, что в этом замешана Люда.

Когда Люда поступила в институт в областном центре и поселилась в общежитии, она залезала в кошелечки своих соседок. Правда, брала понемногу, не больше рубля, и то если в кошельке была мелочь рассыпью, чтобы не догадались. Люда была не злой и не склочной девушкой, с легким характером, неглупой и симпатичной, и, если бы не ее склонность к воровству, то казалась бы почти идеальной. Однажды ее все-таки схватили за руку во время очередного акта крысятничества, и подвергли бойкоту. До конца обучения с ней никто не разговаривал, не садился рядом на лекциях, и никуда не звал.

Люда закончила свой педагогический институт и отправилась по распределению в маленький поселок, где ее никто не знал. Она получила диплом учителя начальной школы, как это ни странно, так как вороватых людей нельзя допускать к обучению детей. Учила она, впрочем, вполне добросовестно, дети ее слушались, только вот с Колькой не получалось наладить контакта. Колька хамил, не хотел выходить к доске, самовольно разгуливал по классу, а один раз демонстративно помочился в фикус у окна. В его дневнике было полно двоек, а также разнообразных посланий для родителей. Однажды в школу пришла мать Кольки — затурканная доярка, которую бросил муж-алкоголик. Ей хулиганистый сын был не очень нужен, так как еще относительно молодая женщина пыталась устроить свою личную жизнь. Мать принесла Людмиле Васильевне коробку шоколадных конфет. Дома учительница обнаружила, что в коробке не хватает одной конфеты, и расплакалась.

Общий язык с мальчиком Люда нашла довольно быстро: она очень хорошо помнила, как ее собственная мать так же, как и мать Кольки, забросила ее, и девочка заедала одиночество ворованным шоколадом, после чего мелкое воровство въелось в привычку.

## Жизнь без мячика

Котенка звали Мячиком. Он был круглый, упругий и шкода. Подпрыгивал, как мячик, все вокруг себя сшибал, и весело кидался под ноги. Девочка сразу захотела его себе, но мама ей не разрешала — она представляла себе, что могло бы случиться с ее коллекцией лиможского фарфора. Мячик был сыном дружественной кошки, его пристраивали, но как-то вяло и безрезультатно. Так и не пристроили — он прижился вторым котом, остепенился, и почти перестал разбивать окружающие предметы. Зато, как собака, приносил во рту поноску из скатанной фольги, игрушечную мышку и маленький мячик-прыгун. Да и настоящих мышей ловил бы, но на Остоженке, где он жил, почему-то мышей не было. Девочка иногда, приходя в гости к друзьям, наблюдала за выросшим Мячиком, и тяжело вздыхала: она оказалась упертым однолюбом, и другого кота не хотела. Мячик всегда залезал к ней на колени мурлыкать и давал чесать себя, даже пузо по-собачьи подставлял. Вообще это был странный кот — он вел себя так, словно его воспитывали собаки: помимо всего прочего, он встречал и провожал хозяев в прихожей, ходил с ними гулять, и, главное, не только слушал и понимал команды, но и выполнял их.

В 16 лет у девочки обнаружили рак, причем неоперабельный и запущенный. Опухоль оказалась именно там, куда любил садиться Мячик, залезая к ней на колени. Когда больная девочка заходила в гости к Мячику и его людям, кот ни на минуту не оставлял ее одну, и хозяева, посоветовавшись с ее родителями, отдали Мячика девочке — до прихода печального срока, который, по всем приметам, был не за горами. Кот не спускал глаз с девочки, не отходил от нее, облизывал ее лицо и мурчал. Через месяц обнаружилось, что опухоль спала. Еще через два месяца шестилетний Мячик перестал есть и пить и в судорогах умер, причем так быстро, что родители девочки не успели даже вызвать ветеринара. А у девочки полностью исчезла опухоль.

Она никогда больше не заводила кошек. А своих бульдогов называла только Мячиками.



## Клад в саду

— Я зарыла этот секретик в саду. Пусть всё считают, что там клад. А там и есть мой клад — всё сокровища под бутылочным зелёным стеклышком, под фольгой: бусинки, цветочки, высушенная мёртвая бабочка — павлиний глаз, и маленькое медное колечко. Настоящий клад! Я же не виновата, что наткнулась на скелет мёртвой мышки!

— Я закопал своего любимого хомячка в этой ямке, сделали ему гробик из маленькой картонной коробочки, сам склеил. Я же не знал, что, когда буду копать, наткнусь на горсть старых монет! Дедушка сказал, что они ещё царского времени.

— Я закопал эти монеты, когда отправился из деревни в город на заработки — чтобы лихие люди не отобрали. Я же не знал, что наткнусь на человеческую кисть, совсем истлевшую.

— Я ловко спрятал куски тела этой девки, которая отказалась быть покорной, пришлось дать ей кистенем в висок, и насильничать уже мёртвое тело. Странно только, что она без колечка медного была, которое я ей подарил. Она ж носила его. А потом отказалась со мной гулять, и замуж отказалась. А мне кровью глаза залило от ярости. Сам не помнил, как убийство сотворил. А потом пришлось разрезать и зарыть в разных местах, чтоб точно не нашли и собаки не отырали. А голову я ночью с оврага в реку бросил.

— Мама, а что, сестру прадедушки, Василису, так никогда и не нашли?

— Нет, никогда. Как в воду канула. Только вот её медное колечко от неё и осталось на память, которое ты в секретик положила. Ну, будешь откапывать секретик, или пусть ещё полежит?

## Анютина память

Тесно мыслям в голове у Анны Петровны, словно грозовым тучам на небе, беспокоят, пытаются вывести память от устья к истоку, однако, прошлое не видится цельным гладким полотном. В памяти только эпизоды, отрывки, обрывки...

Бабушка, баба Катя... Прямо по курсу нелегкой ее жизни надвигались проблемы, и слезы, как дожди, ливня лились, и грозы гремели, но и в наряде счастья хаживала. Поздно — невыносимое слово безвозвратности. Нет давно бабы Кати, да и Анна Петровна сидит, по-старчески колени потирая, собирает память по кусочкам — это никогда не поздно.

Аня с раннего детства была с бабушкой, мать свою почти не видела, даже в единственный свой выходной она работала дома с какими-то бумагами. А отец загулял и исчез еще до рождения девочки.

Так и повелось: «Анютка — бабушкино тенью», должно быть, от слова «тень». Да она и была маленькой тенью... такое волшебство жизни.

Что-то пережила Анна Петровна, что-то рассказывали... Вот сослуживицы матери посчитали новорожденного ребенка катастрофой: «Умирала бы... не вытянуть Шуре двоих детей без отца...» Бабушка со всей решимостью (недаром во время войны работала кузнецом-молотобойцем механического молота — единственная женщина ростом с подростка) вытолкала недоброжелателей за дверь и твердо заявила: «Сама выращу!»

А потом было двухстороннее крупозное воспаление легких, приходила медсестра делать малышке уколы, Аня кричала, а братишка на три годочка старше, жалел сестренку и умолял: «Тетя Галя, миленькая, не надо ей больше уколов, хватит, спасибо...»

Бабушка вставала ночью, грела молоко и поила полусонную девочку из бутылочки с соской да так приучила к соске,

что лет до пяти тайком от детворы выносила бутылочку с молоком во двор, Анютка подбегала:

«Баба, пойдем за дом», понимала, что переросла младенчество, а из стакана пить не хотела.

С улицы вдруг донесся скрежещущий звук, словно напильником по железу, и в ухо Анны Петровны, как будто вторгся жук, ввергнув в бездумье, которое на время спасает от душевной горечи. На время.

Магическое слово? Поздний вечер. Небо за окном, словно дорогим черным сукном затянуто, ни огонька, ни звездочки, только вязкая тревога. Аня прыгает на кровати, и панцирная сетка весело играет ей, как мячиком. «Угомонишься ты наконец? Спать давно пора». Но веселье продолжается до тех пор, пока бабушка не произносит магическое слово, вглядываясь в звенящую темноту: «Вон ероплан летит». Аня никогда не видела «ероплана» и не может облечь его в физическую форму, но ужас при упоминании этого чудовища мгновенно лишает ее подвижности и загоняет под одеяло с головой, и только быстрый сон спасает от законного кошмара.

«Ба, Расскажи про маму маленькую с братом и про конфеты». — «Рассказывала уже сто раз». — «Ну-у, баб...» — канючила Анюта. — «Ладно. Придешь бывало домой с работы, сынок-то маленький лежит парализованный, и с порога мне: «Мама, Шурка приходила, сундучок открывала, конфеты берила, жерила, а мне не давала».

Анюта весело смеялась. Беззаботное детство.

Ранним утром, когда бабушка возвращалась с дежурства в столовой, шли они с Анютой на участок, выделенный семьям работников завода, где работала мать, окучивать картошку.

Жарко. Бабушка накинула свой пиджак на ближний куст округлой формы, как шатер, потому что в середине было пусто. Ходили об этих кустах страшные рассказы, будто там обитали бандиты после совершенных ими преступлений. И вдруг пиджак начал ползти в полую внутренность куста. Бабушка успела ухватить пиджак за полу и выдернуть из чьих-то невидимых рук. Схватила внучку и наутек впереди собственного страха, гремя ведрами и цепляя мотыгой все, что мешало бегству.

Грехи вольные и невольные прегрешения... Мясокомбинат. Бабушка и там работала. И подрядилась товарка уговаривать ее на воровство.

Долго искушала: «Кать, да все несут, не убудет от комбината, вкалываем, как проклятушие... детей одна тянешь, был бы жив Коля твой — другое дело. Все выносят. Давай тебе кусок мяса к ноге прикрепим, валенки наденешь, в голенищах схоронится. Доедаете девятый хрен без соли...» Вроде, все так, только сроду не брала Катерина ничего чужого. Обработывала ее товарка долго, и наконец она сломалась, махнула рукой, словно на пол сбила сомнения и согласилась. После смены, дрожа от страха, вышла на проходную.

Охранник Потапыч, лысый бородатый мужик, словно голова поделилась растительностью с подбородком, пропустив впереди идущих, вдруг окликнул:

— «Катя, подойди ко мне!»

Подкосились ноги, сердце юркнуло в пятки, дыхание перехватило: «Все — попалась». Подошла на ватных ногах...

Катя, я знаю, что ты куришь, не угостишь папироской?

Непослушные пальцы извлекли папиросу из пачки, а ноги разворачивали обратно в цех. И только шлепнув злополучный кусок мяса на стол, она ощутила, как сердце выбралось из пяток и возвратилось на свое место. «Будто не все равно, что украл, что так унес», — говорила она внукам, рассказывая эту историю. — «Воровством каменных палат не наживешь».

## Мысли вслух

В раннем детстве я часто задумывалась: а вдруг меня подкинули в мою семью, мысли эти посещали после каждой стычки и разногласий с братьями и сёстрами. Спасаясь от обыденности, я жадно и много читала, мечтая уйти в воображаемый мир, в котором меня всё восхищало, а в это время кто-то из братьев близко подходил и орал в ухо, а когда я не слышала, делал глубокомысленный вывод: «Я же говорил, что она глухая». Они дружно потешались над моей глухотой, частенько демонстрировали этот веселящий их факт перед гостями, которые не переводились в доме.

Мы росли в семейном муравейнике в маленьком военном городке Буйнакске. Это был на редкость комфортный городок, где улицы вымощены гладкими, отполированными босыми детскими ножками булыжниками, деревья теснились, словно в длинной очереди и дружно шелестели листвой, напоминая наш школьный хор, которым дирижировала Гринберг Евдокия Петровна, с той разницей, что наша учительница пения делала это в период подготовки к праздникам, а деревьями ветер дирижировал чуть ли не каждый день, музыка листьев напоминала шум морских волн, этот шум то усиливался, то уменьшался, а ветер, колыхавший листву, менял мелодию по собственному вкусу — от лёгкого шелестения до гулкого шума. Детское ухо чутко вслушивалось в музыку деревьев, симфонию солнца, которого тогда было в изобилии, а глаза радовались превращению пыли в золотинки под игривыми лучами солнышка.

Жизнь в интернациональном городке очень отличалась от жизни в селе. Мамино село было цивилизованным, а вот отцовское сплошь и рядом состояло из бесчисленного количества запретов. Мама — приветливая, ласковая, добрая. А отец — великан с громовым голосом. Он приезжал наезда-

ми, и наезды эти вызывали целую гамму чувств — от ужаса до восторга, в зависимости от резких перепадов эмоций отца. Мы его боялись, но это не мешало нам восхищаться его силой, богатырской мощью, щедростью.

Село, родом из которого отец, находилось очень далеко и высоко, оттуда можно наблюдать сверху за облаками. Туда частенько залетали орлы — и беда, если неосторожный козлёнок окажется без присмотра, он тут же становится жертвой огромной и гордой птицы. Правда, одного козлёнка успели вовремя спасти, на его тоненьких ножках долго не заживали следы от когтей птицы.

Путь к отцовскому селу весь проходит под внимательным, прицельным взглядом каменных гор, которые порой возмущаются и засыпают дороги обвалами. А люди терпеливо, подолгу вычищают узенькую дорожку — и самое непростое, когда при встрече два грузовика долго движутся, пока не найдут местечко, откуда смогут разъехаться, без вреда друг другу. Сверху строгие горы, внизу река.

Глядя на эти каменные ущелья, я частенько задумывалась над каменной выправкой горцев и таким же каменным терпением горянок. Быть горянкой — это испытание, высший пилотаж выдержки и выносливости.

Сильные духом и физически, они по-детски чувствительны и только в песнях, придумываемых на лету, дают волю своим чувствам, словно понимают, что если позволят распускаться эмоциям в обычной повседневной жизни, — это ни к чему хорошему не приведёт. Горцев вырастили горы, горянок выпестовали те же горы. Только им они обязаны своим характером, своими качествами.

Себя я долгое время считала продуктом цивилизации, книг и городского образа жизни, пока не оказалась в Москве. Именно там пришло озарение, что несмотря ни на что, я тоже дитя этих гор. Ох, напрасно мы, возносясь в своём самомнении, пытаемся отрещиваться от своего воспитания, от родительских требований, которые казались абсурдными, если не совпадали с книжными представлениями. Жизнь всех ставит на свои места и тысячекратно прав Томас Манн, заявивший, что как бы он не пыжился и куда бы не поехал жить, он сын своих родителей, унаследовавший от них те или иные черты, и сын своей родины, даже если его жизнь протекала в изгнании.

Вначале нас загоняют в образ мыслей и традиционный порядок своей родины, мы сопротивляемся, спорим, не соглашаемся, но в итоге, сами того не замечая, варясь в своём котле, проникаемся духом родины, и этот дух не выветрят ни образование, ни новомодные взгляды, ни любое новое место жительства.

Основной принцип, по которому живёт горянка: «Молчи, угнетённая женщина гор». Но её молчание — это отнюдь не молчание женщины из города, из степи. Её молчание в любой момент может быть взорвано, пусть остерегаются смельчаки женщины горянки в гневе.

Ни физически, ни морально не уступают мужчинам, неся на себе бремя тяжёлого труда, они гораздо крепче, порой, чем мужчины. Редко какой удалец мог победить в армрестлинге мою старшую сестру Написат. Если про русскую женщину писали: «Коня на скаку остановит!..», то что можно сказать о той, что тащит на спине огромные камни, дрова, может пройти множество километров холодной суровой зимой за дровами, находясь на последнем месяце беременности, родить в лесу без помощи акушерки, а потом еще вернуться к себе с младенцем в руках и тяжелой вязанкой на спине.

Жить в горах — это жить под увеличенным во сто крат мнением односельчан, объединённых не только укладом жизни, но ещё и предрассудками, которые следуют из века в век, не столько укрепляя, столько портя жизнь жертвам увековеченного мракобесия. В отцовском селении правила соблюдались всеми, малейшее отступление от них каралось, причём сурово и беспощадно.

Однажды мы с мамой уезжали в Москву, и нам в попутчики папа предложил земляка, вполне безобидного на первый взгляд, но отсидевшего в тюрьме много лет — за убийство родной сестры, по клеветническому наговору жены. Думаю, у бедной сестры не было шанса оправдаться, брат бы её даже не послушал. Одержимые законами гор, братья и отцы, уверенные в своём праве смывать позор кровью дочерей и сестёр, не станут прислушиваться к кому бы то ни было.

Что значит быть горянкой? Быть горянкой — это полное самоотречение и абсолютное подчинение традициям, это перенакопленное окаменевшее терпение, позаимствованное

у гор. Горы — это не просто природа, и не только природа, это образ жизни, уровень жизни, мерило совести, достоинства. Жить с этой «горскостью» — это значит не терять себя и сохранять своё, куда бы и в какие дали не закинула судьба.

По-разному выражается «горскость» в мужчинах и женщинах. Мужчина — воин, защитник, крепость дома. А женщина — очаг. Они не уступают друг другу в стойкости. Никакая педагогика не сравнится с воспитанием гор. В детстве мне нравилось смотреть, как танцуют папа и мама. Обычно все, кто присутствовал на свадьбе, громко выражали своё восхищение.

Мама, нежная и женственная, папа, грозный и неукротимый, танец демонстрировал их характеры, был прекрасен, словно легенда, творимая на глазах у восторженных гостей свадьбы. Звуки барабана, это те самые звуки горного водопада, под ледяные струи которого отец подставлял свои богатые плечи, даже не морщась. А зурна — это мелодии гор.

Как всё-таки в детстве мы близки к природе! Мои родители, влюблённые в горы, частенько призывали нас полюбоваться роскошными видами по пути в родное село, мы же глядели равнодушным взглядом, привыкшие к этой красоте, осознание великолепия увиденного пришло позднее. Это зафиксировалось в недрах памяти и стало частью нас.

Мы — дети всей этой роскоши и красоты! Отсюда наш кавказский гонор и горделивая выправка. Местные называют это понтами. Да, это понты, оправданные местом проживания, гражданством и прочими критериями.

Вот, к примеру, я съездила в Италию. Вернулась, перенасыщенная красотой, но первое, что пришло в голову по возвращении, это вдруг открывшееся понимание, что ну до чего же «Широка страна моя родная» — и чувство гордости за неё. Не передать словами — какое это ощущение!

На маленьких горцев нельзя смотреть без умиления: они держатся, как взрослые — собранные, важные, самодостаточные. Штамп горца в них пропечатан основательно. Раньше в советских мультфильмах горцев изображали в виде орлов, и персонажи говорили с выраженным кавказским акцентом. А ещё обязательно отмечали носы, подобные орлиному клюву. Есть в этих носках нечто величественное, королевское, почти принадлежность к высокой родословной. Горцы и го-



рянки необычайно породистые, и каждый со своим знаком качества, со своей личной родословной, не уступающей по значимости императорской.

Почему мы такие пафосные, слова не скажем в простоте, а только с фасоном? Потому что паспортный отдел — высокогорье, чем выше, тем точнее адрес проживания.

Мы получаем высокомерие у высокогорья. Разве это не объясняет многое в нас? Когда-то Расул Гамзатов, Эффенди Капиев, Ахмедхан Абубакар возвестили о Дагестане всему миру, сегодня Хабиб Нурмагомедов сделал практически то же самое. Может, поэтому стали приезжать туристы в рай мира — на Кавказ?

Если выложить общее фото с горцами разных стран, возможно, мы найдём общие черты и даже понты, но увидим и разницу. Дагестанские горцы и горянки особенные, сплав этой особенности цементирует их характер, привычки, манеры. Не случайно до сих пор актуальна тема диссертационного исследования «Горцы и горянки».

Это неисчерпаемая тема и повод для весьма интересных открытий. У Ильфа и Петрова в их знаменитых записках есть одна такая запись: «Нужно унижить горный хребет». Она веселила нас в студенческие годы. А вот эта прямо на злобу дня:

«Уважай себя.  
Уважай Кавказ.  
Уважай нас.  
Посети нас»

## Жуйте на здоровье

Как только папа приехал из леса, сразу объявил Клаве, что вечером будут топить серу.

После ужина пошли в зимовье. Разожгли печку, принесли туда кастрюлю. Из металлической сетки папа вырезал круг диаметром с кастрюлю. К сетке приделал крючки из проволоки. Налил в кастрюлю воды и, зацепив сетку крючками за края кастрюли, повесил ее. Достал из рюкзака светляки — лиственничную кору с застывшей серой — положил их на сетку и закрыл крышкой.

Когда вода закипела, светляки стали таять и сера из них начала сбегать в кастрюлю. В зимовье запахло лесом. Клава сразу вспомнила, как летом они с папой в сосновом лесу собирали грибы. А с сосен падали шишки и одна угодила папе прямо в нос.

Папа убрал с печи кастрюлю, открыл крышку и выпустил скопившийся пар. Потом осторожно снял сетку. Теперь на ней вместо светляков было несколько тусклых кусочков коры. А сама сера блинчиком лежала на самом дне кастрюли.

Папа сказал, чтобы Клава быстренько приготовила стол и поставила в чашке холодной воды. А сам достал большой ложкой серу и подал ее на стол. Сера была мягкая, как пластилин. Он моментом скатал ее шнуром, велел дочке резать ее на палочки и кидать в холодную воду. Они принялись за работу. Клава аккуратно нарезала серу, бросала в воду, но не забывала еще в рот положить чуть не целую палочку. Сера еле-еле вмещалась во рту, но Клава умудрялась с аппетитом переворачивать ее с одной щеки на другую.

Мама пришла, когда папа готовил уже третью партию светляков. Она сразу же взялась помогать Клаве и тоже начала жевать. Мама умела даже щелкать серой, и у нее это по-

лучалось очень вкусно. Клава тоже попробовала щелкнуть, но сразу прикусила язык.

Втроем они быстро управились. Целых пятьдесят палочек получилось. Папа даже пошутил, что Клава завтра поедет на базар серой торговать.

На базар Клава, конечно, не поехала, но в школу серу с собой взяла. Одну палочку положила в карман юбки, две в пальто, третью в школьную сумку. И никак не смогла удержаться, чтобы не начать жевать с первого урока. Вкусной была сера. Но занятно было еще и перебирать ее во рту, перекидывать с одной стороны на другую. А главное, с серой было вовсе не страшно, к примеру, получить двойку. «Двойки — это ерунда, главное серу жевать», — думала Клава. Ей было спокойно. Она глядела в потолок, на стены, на учительницу Людмилу Сергеевну, и жевала, жевала. Ничего вокруг не замечала Клава. Но, когда прозвенел звонок на перемену, увидела все же, что Людмила Сергеевна неотрывно смотрит на нее. Клава удивилась: с чего бы это?

На втором уроке вместе с Клавой серу жевали ее соседка по парте — Люба и Генка — тот сидел впереди. Ту серу, которую Клава жевала на первом уроке, она выбросила, и занималась теперь новой. И опять было вкусно. Именно об этом и думала, что новая сера во сто раз вкуснее старой, когда снова заметила на себе взгляд Людмилы Сергеевны.

На третьем уроке серу жевал весь ряд, на котором сидела Клава.

На четвертом — полностью класс.

На пятом уроке Людмила Сергеевна подошла к Клаве и прошептала:

— Я тоже очень люблю жевать...

Клава облегченно вздохнула и засмеялась:

— Ну-так бы сразу и сказали! А то глядите на меня, глядите...

— Она быстро открыла сумку, достала палочку серы и смело протянула учительнице:

— Жуйте на здоровье, Людмила Сергеевна!

## У моря твои глаза

Морские души похожи на гоголевских мертвецов: съёжившиеся, мрачноватые, лезут они на острые камни, будоражат умы учёных.

Морские волны, словно стадо кучерявых барашков: белые пенистые, пенистые жёлто-зелёные...

— Горячая кукуруза, минералочка, морская вода!

Зазывала не боится предлагать «пир на весь мир». Морская вода стала классикой: пьешь и чувствуешь счастье. Я беру немного воды. Горечь и отвращение.

— Подделка? — интересуюсь я.

— Что вы! Чистая морская вода из глубины морских душ.

Сплеываю. Мне совсем не нравится такое. Может, я не понимаю чего-то?

— Пейте медленно и почувствуете благодать, — заверяет продавец.

А я жду, когда придёт мать с отцом и заберут меня домой.

Мне 5.

Сухие губы, волосы мышинового цвета, картавые согласные и неулыбчивый взгляд.

Мать с отцом не живут вместе очень давно. Отец бил мать. Мать боялась отца. Жертва и палач бегали друг за другом четверть века. Цепочка их отношений рвётся, рвутся союзы, гласные и несогласные. Жизнь косится то одним глазом, то другим. Я кричу им:

— Не бросайте меня!

Мне 13.

Подслушиваю нетелефонный разговор: мать говорит с Ним. Он зовёт её к себе. Она думает, что я сплю.

Мать надела синий плащ, тонкие лосины, высокие каблукки. Зонт-трость качается в бледных её руках.

Цок-цок-цок. Стук каблуков слышен из детской. Бегу в коридор, хватаю мать за руку.

— Мама, ты куда?

— Пошла гулять.

— Но сейчас уже ночь, и идёт дождь.

— Я быстро.

Мать отталкивает меня острым каблуком и садится в лифт. Мне всё ясно: она идёт к Нему.

Сажусь на кафельный пол, глажу руками опухшее лицо. Холодные слезы катятся по гладкой коже.

Отец всё знает: «кровавое воскресенье» наступит очень скоро. Мать уйдёт к себе, заберёт тёплые вещи, зонт-трость и кожаные туфли. Плакать не стоит. Это не стоит того.

Глаза мамы похожи на морские волны. Изменчивые и волнительные, серо-голубые. Жалость? Страх? Ничего этого нет.

Мне снова 5.

Папа ругается с мамой. Папа ударил маму.

— Лю-юди, ловите деньги! — орёт он из окна. На землю падают зелёные бумажки. Это мои рисунки из детского сада.

Сажусь за обеденный стол. Ем суп с морской солью.

В супе вижу отражение глаз цвета моря.

# Зелёная чашка, красные ботинки

## Помидор на подоконнике

Помидор лежал на солнечном подоконнике. Почти с самого рождения он знал, что он — особенный, не такой, как все. На его плодоножке была завязана красная тряпочка, и если собратьев по мере поспевания сразу срывали и уносили куда-то, то он, самый большой и «упитанный», висел на кусте дольше всех. Но вот ночи стали холодны, а дни пасмурны, пришёл и его черёд. Его сорвали очень бережно, так же бережно привезли в этот дом, и вот он, уже переспевший, лежит на солнышке. Но он не просто лежит и ждёт часа, когда хозяйка вспорет ему брюхо и выпустит семена, он, конечно, не подозревает о таком печальном конце. Нет, он лежит с ощущением, что он видел уже всё это: солнце, бьющее сквозь оконное стекло, этот подоконник, стол и шкаф с книгами. Видел, видел! Он уже был здесь! Между тем, быть здесь ранее он не мог, ведь вся его не такая уж длинная жизнь прошла на огородной грядке, но казалось, что был, и всё тут... Кошка вот ходит рядом. «Кошка — опасность... Почему опасность?».

А хозяйка, глядя на красавец-помидор, оставленный на семена, вспомнила о том, как на этом самом подоконнике весной стоял ящик с рассадой, и Муська однажды наделала такой переполох, перерыв землю и обкусав нежные зелёные ростки. «У, змеища», — замахнулась на неё женщина. А потом задумалась: «Господи, время-то как бежит... Вечный круговорот: то рассада, то засолка. Надо выпустить сегодня семена. Готов уже...».

...Наверное, и в наших генах заложено что-то, позволяющее узнавать места, где мы не были ни разу в этой жизни. Когда мне было лет десять, мама решила свозить нас с отцом

в свои родные края, в Кировскую область, где прошло её детство. Мы, как выражался отец, пол-Вятки тогда пешком прошли. Побывали сначала в Яранске, родном мамином городке, потом поехали по деревням, где на попутках, а где пешком.

И вот идём втроем по пыльной широкой дороге, справа — поле ржи, слева — перелески. Устали уже, молчим. И вдруг я чувствую, знаю, что сейчас — за этим поворотом налево покажется дом, большая изба, четыре окна на дорогу. Я не была здесь ни разу в жизни, но я твёрдо знала это, как знала и то, что в этой избе меня хорошо встретят, накормят, обогреют... И только я начала говорить: «Мам, мне кажется, что сейчас...», — как мы уже прошли поворот, и вот он — деревянный старый дом с четырьмя окошками предстал перед нами. Я остановилась как вкопанная, не могла идти, мать стала трясти меня за плечи и испуганно спрашивать: «Что с тобой?».

Потрясение было настолько сильным, что и, войдя в дом, к старенькой маминой тётушке, которая запричитала, заплакала и всё вспоминала, как Санечка в детстве прибегала её проведать, я долго не могла разговаривать. Всё списали на сильную усталость от долгой дороги. А я, лёжа на высокой кровати, разглядывала диковинную обстановку избы — лавки по всему периметру стен, большой стол посередине, иконы в углу, разглядывала и словно вспоминала уже виденное. Когда? Кем?

## Апрель

Сколько мне лет — три, четыре, пять? Я в детстве часто болела. И вот после очередной болезни меня посадили на стульчике на солнечную сторону улицы, противоположную от нашего дома. Весна, видимо, конец апреля. На улице ещё грязь, а здесь, возле какого-то столба, небольшое возвышение и сухая земля. Я не помню, чтобы я шла пешком. Собственно, я и не могла идти, потому что сижу я в валенках, тёплой шапке и зимнем пальто. Видимо, через дорогу меня перенёс отец. Я не помню в этот миг ни отца, ни маму. Помню, как приятно грело солнце, всё вокруг было ярким, слепящим после болезненного забытья. По улице в высоких резиновых сапогах но-

сились мальчишки. Может, они меня и дразнили, а может и нет — слишком «мелкой» я ещё была для их внимания...

Солнце, брызги, наш дом с ярко-синими ставнями... Тогда пришло это ощущение, не слово, а именно ощущение: живу!

## Отчий дом

Для меня это понятие не абстрактное или условное (как, к примеру, называют «отчим домом» квартиру в столице). Отчий дом — это, действительно, дом отца, дом, построенный его руками. Когда родители жили в бараке, на новосибирском авиационном заводе имени Чкалова рабочим стали выдавать земельные участки и ссуды на строительство. Отец начал строить свой дом. Есть замечательная фотография, где они втроём — мать, отец и моя старшая сестра, беззубая Ленка сидят среди стропил и опилок. Родители молодые, красивые и счастливые. Отец всё делал своими руками, на доме и надорвался (плюс «букет» заболеваний, привезённый с восточного фронта), и болел потом всю жизнь. В этом доме по улице Коломенская, 28 я и родилась — то есть сюда меня привезли из роддома.

По рассказу матери, схватки начались у неё 24 апреля. На окраине Новосибирска была страшная грязь, и пока мать (сопровождала её соседка Оня) шла по весенним улицам, это весеннее месиво не раз заливалось внутрь её резиновых сапог. Они дошли «до ближайшего телефона», который был в пожарной части. Но ждать «скорую» было рискованно, и мать повезли в роддом на пожарной машине. Вот с каким комфортом и скоростью доехали мы с мамой в пункт назначения!

Нянечка, которая встречала рожениц в приёмном отделении, взглянув на мамины ноги, ахнула: «Где ж ты, матушка, так уделалась!» — и повела мать под душ.

Вот так, из этой смеси новосибирской грязи, апрельского солнца, людской доброты и материнской любви — и явилась я на белый свет. По словам матери, нянечки в роддоме меня любили за то, что не плакала — и ласково звали «тридцаточкой», такой номер был у моей кровати.



## Белые мухи

В детском саду был тихий час. После обеда мы спали на раскладушках, расставляемых на том месте, где ранее на ковре играли. Отдельной спальной комнаты в нашей группе почему-то не было. До обеда в тот день, как положено, нас вывели на прогулку. Прогулка оказалась какой-то нерадостной: тёмное небо, ноябрьский ветер и голая земля не располагали к играм. А когда, пообедав, мы уже устроились на своих раскладушках, пошёл снег. Хлопьями, крупный, медленный.

— Белые мухи полетели, — задумчиво сказала нянечка.

«Почему белые мухи?» — думала я, глядя в окно (моя раскладушка была крайней). Снег да снег... Но потом, присмотревшись, увидела, что не все снежинки летят вниз, как положено, а некоторые перед окном поднимаются вверх, потом влетают в форточку и опускаются между рамами: «Снежинки ведь не могут так летать! — думала я. — Наверное, есть и правда какие-то большие белые мухи, которые прилетают вместе со снегом! Вот закончится тихий час, посмотрю... наверное, много их между стёкол нападает!»

Долго ещё, пока сон не сморил, наблюдала я за танцем белых мух, всё больше убеждаясь, что так летать могут только живые существа.

После тихого часа, не одевшись, я подбежала к окну. Увы, никаких мух между рамами не было. Зато весь детсадовский двор был укрыт пушистым слоем снега. «Правильно, — подумала я. — Чего бы мухи лежали тут. Они ведь живые. Погрелись немного и вылетели...»

## Зелёная чашка, красные ботинки

сестра любит рассказывать историю о том, какой «чистой» я была в детстве. Лет в пять мне купили новые красные лакированные ботиночки. Я вышла в них на улицу. Тут подбежала кошка и лизнула их! Успокаивали меня долго... Но плакала-то я не из-за того, что ботинки стали грязными. Они, в принципе, и не замарались. Я плакала от впервые осознанного чувства безвозвратности. Ботинки были новыми, пер-

вый раз надетыми. Этот первый раз не повторится никогда. Это было страшно. Над этим раньше не думалось. Мысль вспыхнула, поразила, а потом почти забылась. Но красные ботинки я больше не любила.

Таким же потрясением была чашка. Нежно-зелёная, почти салатная, с крупными белыми горошинами (это сочетание, где бы потом ни встречалось, всегда было связано с детством). Таких чашек в доме было несколько. Чашку уронила мама. Отбилась только ручка, мама подняла осколки с пола и хотела выбросить. Я залилась горьким плачем. Чашка была. И её не будет — никогда. Значит, любая вещь сейчас есть, но она может разрушиться, исчезнуть, и её не будет никогда. Краешек сознания всё цеплял продолжение мысли: значит, так же не будет и людей — и мамы, и папы, и сестры, и меня... Я всё больше мотала головой, отгоняя эту ужасную, непереносимую мысль, и плакала всё горше. И мама не знала, чем меня успокоить. Наверное, она приняла единственно верное решение.

— Я сейчас склею чашку, и она будет как новая, — спокойно сказала мама. Действительно, каким-то клеем она приклеила ручку на место.

— Видишь, цела и невредима!

Каким бальзамом прозвучали эти слова! Значит, всё не пропадает навсегда! Значит, всё можно склеить, вернуть!

Чашку мама поставила в буфет, и ещё долго, проходя мимо, я смотрела на неё с победным чувством: «Можно склеить! Можно вернуть! Можно сохранить!»

И эти страшные слова — «не будет никогда» отодвинулись, спрятались внутрь ещё на какое-то время...

## «Знаю, спасение наше — в любви...»

С луной связан ещё один эпизод моей жизни и ещё одно «открытие». Лучшей «подружкой» в старших классах у меня был мальчик по имени Костя. Потом дружба переросла в нечто большее, но мы всё не осмеливались подойти друг к другу на расстояние меньше вытянутой руки... Так вот, однажды весенним вечером мы гуляли с ним в степи за посёлком (семья наша жила тогда уже под Алма-Атой). Вернее, не гуляли, а сидели на одном из тех огромных камней, которые оставил

в степи много лет назад страшный сель, пронёсшийся с гор. Сначала мы смотрели, как прятался за горизонт огромный оранжевый диск заходящего солнца. Быстро стемнело, как это всегда бывает на юге.

А мы всё сидели и болтали, нам совсем не хотелось расставаться и идти по домам. И вдруг Костя дотронулся до моего плеча: «Смотри!»

На западе, там, где село солнце, появилось что-то непонятное. От горизонта возник полукруг, внутри которого небо гораздо светлее остального, потом очень медленно, постепенно, полукруг начал шириться, расти.

Это можно было сравнить с радугой, которая всё выше и выше поднималась над горизонтом, оставляя за собой почти светлое небо. Зрелище было красивое, но непонятное, а потому страшное. Наше поколение — «дети холодной войны», и первая мысль была: «Всё. Конец. Ядерный взрыв». Мы вскочили с камня, кинулись друг к другу. Костя впервые обнял меня, прижал к себе. И... ничего нам не стало страшно в эту минуту. Пусть пропадёт весь мир, а мы спасёмся! Ведь мы любим друг друга! В голове стучалась стихотворная строчка: «Знаю, спасение наше — в любви...». Я на секунду открыла глаза и зажмурилась вновь — полукруг дошёл почти до середины неба.

...Сколько прошло минут, я, конечно, не помню, но когда мы очнулись, всё было на месте — прекрасная весенняя степь, горы, небо. А на востоке уже взошла и поднималась всё выше над горизонтом огромная луна. Мы расхохотались над своими страхами. Стало понятно, что это какой-то оптический эффект. То ли луна, всходящая на востоке, так освещала западную часть неба, то ли как-то по-особому преломились солнечные лучи, не знаю...

Потом я долгое время, довольно критически, вспоминала эту ситуацию. «Спасение — в любви». Придумала... С юношеским максимализмом решила — ну уж нет, прятаться в объятиях любимого при возникшей опасности — всё равно, как страус прячет голову в песок, это не для меня.

А с годами всё больше убеждалась в правильности этой строки. Действительно, спасение наше в любви. В большом, философском смысле. И каждого человека, и всего мира.

Да и в житейском смысле. Иногда только «спасательный круг» любимых рук и может удержать на плаву...

## Содержание

К читателю . . . . .	3
<i>Светлана Василенко</i> . Город за колючей проволокой . . . . .	5
<i>Ольга Харламова</i> . Про девочку Лялю . . . . .	30
<i>Марина Анашкевич</i> . Лоскутное одеяло . . . . .	37
<i>Рада Полищук</i> . Тишина . . . . .	41
<i>Наталья Сирота</i> . Стена . . . . .	58
<i>Татьяна Третьякова-Суханова</i> . Баба Феня . . . . .	65
Старый дом . . . . .	65
Зимний день . . . . .	66
Рассказ Бабы Фени . . . . .	67
О судьбе Павла . . . . .	69
Цветы на оконном стекле . . . . .	69
<i>Надежда Ажгихина</i> . Детство. Дорога. Сны . . . . .	71
<i>Самира Асадова</i> . Кильвэй — праздник рождения телят . . . . .	82
<i>Елизавета Разинкина</i> . Ночь . . . . .	95
<i>Лидия Григорьева</i> . Сады моего детства . . . . .	99
Вишневый сад . . . . .	99
Санаторий для ТБЦ — с мукой сладкою на лице . . . . .	100
Ван Гог с Гогеном . . . . .	101
Расколотый хрусталь . . . . .	102
Золотая Чукотка . . . . .	103
Неказанская сирота . . . . .	105
Здесь жизнь моя жила . . . . .	107
Кто есть кто . . . . .	108
Город гремит . . . . .	109
Написанному — верю . . . . .	111
Сага саду . . . . .	112
Прекрасная чужбина . . . . .	113
<i>Виктория Иванова</i> . Усатые часы . . . . .	117
<i>Елена Нестерина</i> . Чёрный чекист . . . . .	128
<i>Татьяна Гоголевич</i> . Зеркало, отражающее солнечный свет . . . . .	135

Содержание	397
<i>Александра Свиридова. Birkenstock</i> . . . . .	141
<i>Катя Малиновская. Семейные ценности</i> . . . . .	147
<i>Наташа Оуэн. Баннька</i> . . . . .	154
<i>Светлана Мосова. Грей во рту!</i> . . . . .	159
Любимый . . . . .	159
Счастье Вероники . . . . .	161
Агнел мой . . . . .	162
<i>Арина Обух. Ты — никто, я — никто, никого нет ближе</i> . . . . .	165
<i>Виктория Татур. Бабушкино облако</i> . . . . .	170
<i>Саня Шавалиева. Театр на коленке</i> . . . . .	173
Любимый герой . . . . .	177
Чаплин . . . . .	180
Уходят и не возвращаются . . . . .	184
<i>Мария Косовская. Открытый космос</i> . . . . .	189
<i>Мария Брегман. Школа</i> . . . . .	198
<i>Гульназ Лежнева. Дикари</i> . . . . .	202
<i>Марина Кулакова. Девятиклассницы</i> . . . . .	211
<i>Светлана Брух. Светкино лето</i> . . . . .	216
<i>Ирина Львова. Фотография</i> . . . . .	221
<i>Елена Сомова. Жизнь на воздушном шаре</i> . . . . .	225
<i>Саша Николаенко. Коммерсантка</i> . . . . .	235
<i>Тамара Львова. Светлячки над могилой</i> . . . . .	242
<i>Светлана Смирнова. Река и незабудки</i> . . . . .	246
Поздняя осень . . . . .	246
Детство . . . . .	247
Художник . . . . .	250
Река и незабудки . . . . .	251
Старый каретник . . . . .	252
Тайка: как в лучших домах Филадельфии... . . . . .	253
Чердак . . . . .	255
<i>Галина Смирнова. Зима</i> . . . . .	258
<i>Светлана Рузлева. Явление верблюда...</i> . . . . .	261
<i>Елена Семёнова. Мелок в кошельке</i> . . . . .	271
<i>Галина Кудрявская. Изумрудное пёрышко</i> . . . . .	274

<i>Вера Линькова. Заброшка</i> . . . . .	279
<i>Елена Сафронова. Школа как школа</i> . . . . .	283
«Розовая школа» . . . . .	283
Добрый директор . . . . .	283
Простые принципы . . . . .	284
На человека похож . . . . .	284
Фото мам . . . . .	284
Ни ши-ши!.. . . . .	285
Просто осторожнее . . . . .	286
Чучело и Чапа . . . . .	286
Нечитайка . . . . .	287
Руки из.... . . . .	287
Гренада, гренада, гренада моя.... . . . .	288
Герой . . . . .	288
Пасквиль на историка . . . . .	288
Только не это! . . . . .	288
Пыль глотать . . . . .	289
Выше моих сил. . . . .	289
<i>Наталья Сафронова. Зачем?</i> . . . . .	290
<i>Анна Гедымин. Как мы чуть не стали пограничниками</i> . . . . .	294
<i>Элеонора Панкратова. Наш поезд шел на восток....</i> . . . . .	299
<i>Наталья Иванова. В флибустьерском дальнем синем море...</i> . . . . .	310
<i>Надежда Васильева. Лысаба</i> . . . . .	315
<i>Бахтика Тагирова. Учитель</i> . . . . .	325
<i>Елена Бажина. Несознательная</i> . . . . .	333
<i>Анна Завадская. Уроки музыки</i> . . . . .	340
<i>Жанна Абуева. Дерево</i> . . . . .	345
<i>Елена Громова. Любовью оскорбить</i> . . . . .	352
<i>Ева Меркачева. Детство на кладбище</i> . . . . .	359
<i>Наталья Биттен. По осколкам неба</i> . . . . .	364
<i>Ася Аксенова. Телевизионные помехи</i> . . . . .	371
Предмет роскоши . . . . .	372
Черным по белому и белым по черному . . . . .	373
В коробке не хватало одной конфеты. . . . .	374

Жизнь без мячика . . . . .	376
Клад в саду . . . . .	377
<i>Людмила Ефлеева. Анютина память . . . . .</i>	<i>378</i>
<i>Зулейха Курамагомедова. Мысли вслух. . . . .</i>	<i>381</i>
<i>Надежда Варфоломеева. Жуйте на здоровье. . . . .</i>	<i>386</i>
<i>Юлия Лещук. У моря твои глаза. . . . .</i>	<i>388</i>
<i>Ольга Григорьева. Зелёная чашка, красные ботинки . . . . .</i>	<i>390</i>
Помидор на подоконнике . . . . .	390
Апрель . . . . .	391
Отчий дом. . . . .	392
Белые мухи . . . . .	393
Зелёная чашка, красные ботинки . . . . .	393
«Знаю, спасение наше — в любви...». . . . .	394

Литературно-художественное издание

**ДЕВОЧКА НА ШАРЕ,  
или  
ПИСЬМА ИЗ ДЕТСТВА**

Сборник женской прозы

Редактор *В. Н. Мисюк*  
Дизайн обложки *Екатерина Арт (Омельченко)*  
Корректор *А. Г. Воронин*  
Верстка *Л. В. Васильева*

ISBN 978-5-901511-59-6



Подписано в печать 29.11.2022. Формат 60 × 90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Печ. л. 25. Тираж 1000 экз. Заказ № 3562

Отпечатано в типографии ООО «Контраст»  
192029, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 38, лит. А